

Борис КАМОВ

МАЛЬЧИШКА-КОМАНДИР

Л





Борис КАМОВ

МАЛЬЧИШКА- КОМАНДИР

ПОВЕСТЬ

МОСКВА
„Детская литература“
1987

P2
K18

ОФОРМЛЕНИЕ Г. МЕТЧЕНКО

ФОТОГРАФИИ, ПОДБОР И
РЕПРОДУКЦИЯ
Б. КАМОВА И Д. ПОКАТАЕВА

К 4803010102—535 245—87
М101(03)87

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1987 г

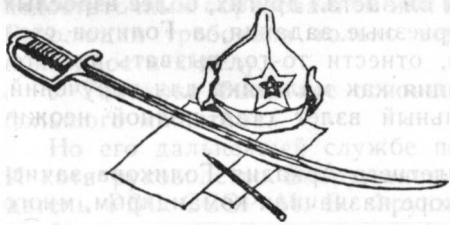
Для гражданской войны. Госюков часто попадал в опасные
 и порой безвыходные ситуации. Памяти Иосифа Ионовича Прусакова —
 погибнуть самому и не дать талантливого редактора детской книги,
 усилить ни погребовали об добрейшего человека, офицера-артиллериста
 валось, что правдивых интеллектуально Великой Отечественной...
 был и дым гетов.

И это — перелом загалка.
 Из дневников А. Н. Гайдара видно: в дни своей боевой
 юности он встречался с Галицкокомандующими всеми Воору-
 женными Силами Республики И. И. Вагетисом, выдающимся
 полководцем революции, командармом М. Н. Тухачевским, с
 прославленным героем гражданской войны ИАДАТАМ
 Г. Н. Котовским.

Вагетиса, Тухачевского и Котовского пятинадцати-семна-
 олицетворял бы только в том, что видел (как В. И. Ленин
 вдала М. В. Фрунзе, но мельком). С этими круп-
 ными военачальниками Аркадий Голиков встречался по
 службе — вместе с ними работал. Разно как с командующим
 войсками по Юго-Востоку Железных дорог Республики Е. О. Ефи-
 мовым и с командующим Орловским военным округом
 А. К. Александровым.

Вот что пишет А. М. Яковлев об этом: «Вот что о нем пишут
 в автобиографии 1929 года. ...»

В автобиографии 1929 года. ...»



Но это — дал... службе помещал...
 и жив...
 чтобы...

ЗАГАДКИ «ОБЫКНОВЕННОЙ БИОГРАФИИ»

*Никогда писатель не выдумает ничего
более прекрасного и сильного, чем
правда.*

Ю. Тынянов. «Автобиография»

Трудно писать о том, что известно всем. А у нас любой школьник знает, что Аркадий Петрович Гайдар в 15 лет командовал ротой.

И хотя нам нелегко представить, что Николай Ильич Подвойский, один из руководителей штурма Зимнего, а летом 1919-го нарком по военным и морским делам Украины, вручил пятнадцатилетнему Аркадию Голикову диплом красного командира и прямо с парадного плаца послал во главе взвода курсантов на передовую,— все равно этим фактом сегодня никого не удивишь.

Однако тут есть над чем задуматься. В детстве Аркадий Голиков даже не мечтал быть военным — он хотел стать матросом: его влекла романтика странствий, манили далекие континенты.

Весной 1917 года тринадцатилетний Аркадий впервые пришел в клуб большевиков. Там он застал других, более взрослых мальчишек. Им доверяли серьезные задания, а Голиков стал посыльным: сбегать туда-то, отнести то-то, вызвать того-то. И для тех, кто помнил Аркадия как мальчика для поручений, его последующий стремительный взлет стал полной неожиданностью.

В том, что четырнадцатилетнего Аркадия Голикова зачислили в Красную Армию и вскоре назначили командиром, много случайного. Не было случайностью только одно.

Шла гражданская война. Голиков часто попадал в опасные, порою безвыходные ситуации, где только от него зависело не погибнуть самому и не дать погибнуть другим. Но каких бы усилий ни потребовали обстоятельства, всякий раз обнаруживалось, что нравственно, интеллектуально и физически Голиков был к ним готов.

И это первая загадка.

Из дневников А. П. Гайдара видно: в дни своей боевой юности он встречался с Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Республики И. И. Вацетисом, выдающимся полководцем революции командармом М. Н. Тухачевским, с прославленным героем гражданской войны комбригом Г. И. Котовским.

Вацетиса, Тухачевского и Котовского пятнадцати-семнадцатилетний Голиков не просто видел (как В. И. Ленина издали, а М. В. Фрунзе вблизи, но мельком). С этими крупнейшими военачальниками Аркадий Голиков встречался по службе, он вместе с ними работал. Равно как с командующим войсками по охране железных дорог Республики Е. О. Ефимовым и с командующим Орловским военным округом А. К. Александровым.

Разумеется, Голиков был много моложе, а должности, которые он занимал, менее высокими. И все равно это были крупные должности: командир полка, командующий боевым участком, начальник боевого района...

Мальчишка-командир был наделен большими полномочиями. Его право в 17—18 лет занимать такие посты каждый раз подтверждала Москва. И здесь, наверное, кроется вторая загадка.

«Все это странно, но все это было», — заметил Гайдар в автобиографии 1929 года.

«Это была обыкновенная биография в необыкновенное время», — написал позже.

Время действительно было необыкновенное. Революция нуждалась в отважных и талантливых людях. Она таких людей искала, находила и выдвигала, не смущаясь их молодостью, недостаточным образованием или дворянским происхождением. Революция требовала только верности трудовому народу и пригодности к делу.

У Голикова были все основания стать военным деятелем большого масштаба.

Но его дальнейшей службе помешала тяжелая контузия. И хотя руководство Вооруженных Сил Республики и председатель РВС СССР М. В. Фрунзе приложили много усилий, чтобы талантливый командир выздоровел и остался в рядах

Красной Армии, неизлечимая болезнь прервала военную карьеру А. П. Голикова.

Под именем Аркадия Гайдара он стал выдающимся писателем и педагогом и героически погиб в октябре 1941-го.

В этой повести рассказано о главнейших событиях первых семнадцати лет жизни Аркадия Петровича Гайдара — не для восторженного умиления, а для уяснения того, как формировался его характер и складывалась его личность. Ведь такие могучие, многогранно одаренные натуры были нужны всегда.

Особенно они нужны сегодня.

часть первая

ПОСЕДИТЬ ХАРАКТЕР...



Красная Армия ищет новых бойцов среди молодежи коммунистическую партию.



ПЕРВОЕ ПОТРЯСЕНИЕ

Обжигаясь и морщась, Аркадий допил из блюдечка чай и взглянул на часы. Это были старинные часы в деревянном футляре фирмы «Мозер». Они висели на стене и отщелкивали секунды массивным круглым маятником. Стрелки показывали без десяти минут девять.

«Опаздываю!» — испугался мальчик. Он сунул в рот тонкий ломтик хлеба, который еще оставался на тарелке, вскочил со стула, сорвал с вешалки сизую форменную шинель с рыжеватым, канареечным кантом, нахлобучил фуражку с гербом, схватил тяжелый, с вечера приготовленный ранец и выбежал на улицу.

Прощаться было не с кем: мама еще не вернулась с дежурства, сестры спали, а тетя Даша затемно ушла занимать очередь.

Аркадий пробежал по Новоплотинной, возле несуразного деревянного дома с колоннами повернул направо. Бежать оставалось минуты две или три, но мальчика удивило, что он не встретил по дороге ни одного реалиста.

«Опоздал!» — понял Аркадий.

Справа появилось массивное трехэтажное здание реального училища. Обычно перед началом занятий у входа целое столпотворение. А сейчас у подъезда было пусто.

«Запишут в балльник! — с тоской подумал мальчик. — Снизят отметку за поведение». С этой мыслью он потянул на себя тяжелую дверь, ворвался в вестибюль, сбросил на пол ранец, кинул на деревянный барьер гардероба шинель и фуражку и... обмер. Вешалка была пуста.

— Доброе утро, — услышал Аркадий и обернулся: по коридору шел училищный сторож, он же гардеробщик дядя Иван. — Видать, вы сегодня дежурный?

Мальчик взглянул на часы — шестиугольные, в деревянном футляре — под самым потолком. Они показывали без пяти минут восемь.

— Да, дежурный, — машинально повторил Аркадий, обрадованный и огорченный: дома часы ушли вперед больше чем на час. И он не опоздал. Но что же делать целых шестьдесят минут?

Аркадий поднялся в класс (на дверях висела табличка «I класс — основной»). Сунул ранец в ящик парты, открыл форточку. Сидеть и читать в громадной пустой комнате не хотелось. Аркадий вышел из класса к просторной лестнице с широкими гладкими перилами. Сам он на них кататься еще не пробовал, но видел, как лихо это делали другие. Ухватившись рукой за балясину, сел на перила боком, слегка наклонился в сторону ступеней, чтобы не свалиться в пролет, разжал пальцы и стремительно заскользил по широкому брусу.

«Будто по воздуху!» — восторженно подумал он.

Но скорость нарастала. Аркадий потерял ориентировку. И ему показалось, что он оторвался от перил и летит в пролет. И не за что было ухватиться и нечем задержать или замедлить падение. Он уже горько жалел, что соблазнился, и с ужасом ждал неминуемого удара.

Тут перила кончились, и Аркадий в самом деле очутился в воздухе, но свободный полет не доставил ему радости — он только усилил страх и ожидание беды. Когда же ноги Аркадия коснулись лестничной площадки, он поскользнулся, не устоял и пребольно шлепнулся на мрамор.

Напуганный тем, что случилось, а еще больше тем, что могло случиться, испытывая легкое обалдение от небывалой скорости, мальчик не спешил вставать, а когда наконец чуть повернулся, чтобы подняться, то увидел рядом со своим лицом идеально отутюженные брюки, темную полу форменного мундира и услышал спокойный, размеренный голос инспектора, приводивший в трепет даже дерзких старшекласников:

— Голиков, на два часа без обеда.

...Его наказывали впервые. Целый день на уроках он был не в себе. Отвечал невпопад, нахватал троек. А после занятий спустился вниз, в вестибюль, и сел на лавку для наказанных. Она стояла справа от лестницы, той самой, на перилах которой он так неудачно прокатился. И каждый, кто уходил домой или открывал дверь в училище, видел прежде всего скамью и провинившихся. И мальчик не знал, куда деться от любопытных, равнодушных, злорадных и сочувствующих взглядов.

На лавке, изрезанной перочинными ножами, Аркадий сидел с рыжим второгодником из третьего «А» (который на уроке

математики нарочно облил чернилами новый костюм соседа, с величайшим трудом купленный матерью-вдовой) и чернявым, быстрым в движениях пятиклассником. Даже здесь, под лестницей, пятиклассник улыбался загадочной опасной улыбочкой: на лавку он попал «за избиение инородца».

Переговариваться наказанным не позволяли: за этим следил сторож, да Аркадию и не хотелось беседовать со своими соседями. Он изнемогал от стыда и мысли: «Как я расскажу об этом маме? И напишу папе?»

Отца Аркадий помнил столько, сколько помнил себя. Это был самый близкий ему человек. Но, часто думая о нем последнее время, Аркадий прежде всего переносился мыслью в паляще жаркий день, на громадную площадь возле Воскресенского собора. Это был величественный пятиглавый храм, воздвигнутый жителями Арзамаса в честь победы России в Отечественной войне 1812 года.

Аркадий смотрел на родное лицо: на высокий шишковатый лоб, глубоко посаженные смелые глаза, аккуратно постриженные, рано седеющие бороду и усы — и не верил, что перед ним отец. Вместо сшитого у лучшего портного костюма с белоснежным бельем и галстуком на Петре Исидоровиче была застиранная гимнастерка, перетянутая кожаным ремнем. Поверх гимнастерки — распахнутая, выдавшая виды шинель, а жаркую серую папаху Петр Исидорович сдвинул на самый затылок. И все равно по лбу и щекам его текли ручейки пота: был август 1914 года.

У ног Петра Исидоровича лежал вещевой мешок, а сильной рукой с тщательно подстриженными ногтями Петр Исидорович держал ствол обшарпанной винтовки со штыком. В другое время Аркадий давно уговорил бы отца дать ему подержать винтовку, но сейчас мальчику было не до этого. Не сводя глаз с отца, словно пытаясь наглядеться надолго вперед, он помимо своей воли видел и слышал, что происходит вокруг.

В воздухе висели плач и стон. Один совсем молодой солдат, высокий, в короткой шинели, идя рядом с плачущей женой, не выдержал, сомлел — закатил глаза и опустился на брусчатку. Парня тут же отнесли к portalу собора в тень, а его жена, повязанная ярким праздничным платком, стала еще громче плакать и кричать:

— Не пуцу, нечего тебе там делать!

«Там» — это она имела в виду войну.

В полу шинели другого солдата, лет тридцати, с расчесанной бородою, сцепились двое детишек — стриженный под горшок

мальчик и девочка в сарафанчике. Мальчик скрутил жгутом край шинели и повторял:

— Папка, идем домой! — и напрягся в надежде сдвинуть отца с места.

— Да нельзя мне уходить, Петюня, — виновато отвечал отец. — Вишь, какое дело — немецкий, значаца, царь обидел нашего. Вообще-то оня братья, но немецкий, вишь, перестал нашего уважать... — И слезы блестели в его бороде. И было непонятно: а где же у этих ребят мать?

А на другом конце площади крики сливались с конским ржанием. И Аркадий увидел, как двое солдат местного гарнизона, которые явно не собирались уезжать на фронт, тянут за узду высокого белой масти жеребца, а старуха за ту же уздечку тянет коня к себе, крича:

— Не дам родимого кормильца!

Конь испуганно ржал и косил на хозяйку синий, налитой кровью глаз, словно прося не отдавать его солдатам.

— Папа, скажи, чтобы они отпустили коня, — взмолился Аркадий.

— Коня ведь тоже берут на войну, — глухо ответил отец, обнял сына свободной рукой за крепкие, еще не развитые плечи и повернул лицом к себе. — Я вот что хочу сказать: ты теперь единственный мужчина в доме...

— Но ты же скоро вернешься, правда?

— Я постараюсь. Но пока меня нет, носи воду, коли дрова, не жди, пока тебя попросят. Все равно, кроме тебя, эту работу делать некому. Береги маму — она теперь единственная кормилица... Не позволяй обижать сестер... И как только появится свободная минута — пиши мне. — И он отвернулся, выпустив плечи сына, и закашлялся, будто ему в горло попала мошка.

Наталья Аркадьевна с девочками и тетя Даша (она приходилась отцу двоюродной сестрой и уже давно жила в семье) остались дома. Отец не хотел видеть слезы на всегда оживленном и красивом лице жены и не мог слышать ликующей голос маленькой, ничего не понимающей Катюшки. Ей понравилась военная форма отца, и она восторженно повторяла:

— Папка — солдат! Папка — солдат!

Петр Исидорович разрешил идти на площадь только Аркадию. И теперь отчаяние и горе душили мальчика.

Сквозь плач и крики прорвалось: «...и-ись!» Отец на минуту передал винтовку Аркадию, неловко закинул за спину увесистый мешок. Вещи в нем были уложены неумело, и мешок топорщился. Отец поспешно и уже отрешенно поцеловал мальчика.

Аркадий ощутил сухость горячих, обветренных на солнце губ, непривычную колючесть плохо выбритых влажных щек.

Снова над площадью пронеслась команда: «Становись!» Отец схватил винтовку, еще раз прижался к лицу Аркадия кольнувшей щекой и побежал. Мешок нелепо прыгал у него на спине, а приклад в ритм шагам хлопал его по бедру. Прежде чем встать в строй, отец обернулся, ища сына, но уже не разглядел его в толпе. Зато Аркадий не выпускал из виду серую папаху и горловину мешка на спине Петра Исидоровича.

Пожилой полковник с белым крестиком на шее, стоя на кожаном сиденье пролетки, махнул платком. Рывкнул оркестр. Колонна тронулась. Отец, запоздало качнувшись (он опять оборачивался), двинулся со всеми. Следом за колонной рванулась толпа.

Аркадий надеялся, что толпа через минуту поредет и он догонит отца и пойдет с ним до станции рядом. Но плачущие женщины, ковыляющие старухи, откормленные и откупившиеся от армии сидельцы¹, желавшие показать свой патриотизм, бежали, ничего не видя, мешая друг другу и закрывая локтями и спинами путь мальчику.

Один призывного возраста купчик в новом картузе толкнул Аркадия и сбил его с ног. Мальчик упал. Его могли затоптать, но он с такой силой испуганно крикнул: «Папочка!», что толпа шарахнулась, мальчик вскочил, еще не чувствуя боли в разбитых коленках.

Голова колонны с оркестром выплыла на Прогонную улицу, которая вела прямо на вокзал. Здесь толпа на минуту остановилась. Аркадий поднырнул под чьи-то руки, пробежал несколько метров вдоль колонны — и опять увидел отца.

— Папа! — кричал он.

Отец не обернулся. А подойти ближе Аркадий не смог. Так он бежал до вокзала, где провожавших от новобранцев отсекло оцепление. Понимая, что через секунду-другую голову и спину отца с нелепым мешком заслонят, Аркадий в отчаянии подумал: «Неужели?! Неужели его могут убить?» — и зарыдал в голос, но в грохоте медных труб и общем плаче его никто не услышал.

¹ Сидельцы — продавец, приказчик в лавке состоятельного купца. Часто сидельцами становились родственники хозяина. Располагая капиталом, купцы за взятку воинскому начальнику нередко освобождали от службы в армии своих сыновей и близких.

«...СОБСТВЕННОСТЬ КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХ»

С вокзала Аркадий вернулся хмурый и повзрослевший. Он вытер нос Талке — Наташе, дал леща глупой Катюшке, которая не уставала радоваться тому, что ее «папка — солдат». Наталья Аркадьевна была опять на дежурстве. Тетя Даша вышла к соседям. Аркадий жаждал деятельности. Он взял ковшик воды, побрызгал на пол и принялся подметать.

— Что ты делаешь! — закричала Талка. Она была младше брата на год. — Нельзя сегодня мести. Папа не вернется.

— Я не верю предрассудкам! — ответил Аркадий. — Так меня учил папа.

Но когда все легли спать, тревожные мысли вернулись к нему. Отец был его самым лучшим другом. Охотно отвечал на любые вопросы. Никогда не сердился. Если Аркадий приходил с улицы мокрый или избитый, отец не ахал, как тетя Даша, и не говорил: «Зачем ты туда полез?», как мама, а внимательно выслушивал.

Если оказывалось, что драки избежать было нельзя, но Аркадий при этом не струсил или что Аркадий нарочно свалился с плота в пруд, чтобы в воду не упал Колька, которого родители наказывали розгами, когда он возвращался домой мокрым, отец сочувственно вздыхал, обнимал сына за плечи и вел к умывальнику или помогал переодеться в сухое. А вечером терпеливо объяснял, что произошло, матери.

— Петя, почему ты Аркадию все прощаешь? — спрашивала Наталья Аркадьевна.

— Жизнь любого мальчика, Наташа, трудна и полна опасностей, — отвечал отец. — И не надо ее бессмысленно осложнять. Ребенок должен знать, что хотя бы дома он найдет понимание и защиту.

Сам Петр Исидорович лишился поддержки близких очень рано. Отец его, Исидор Данилович, родился крепостным. По «ревизским сказкам» семья Голиковых из поколения в поколение считалась «собственностью князей Голицыных». В 18 лет Исидора Даниловича забрали в армию. Там застала его реформа 1861 года, которая отменила на Руси крепостное право, но не отменила каторжную солдатчину. Исидор Данилович отбухал 25 лет — день в день — без наград и повышений. А возвратясь в 43 года в Щигры, женился и занялся щепным промыслом — вырезал из дерева ложки, кружки, миски, скалки для белья, но особенно славились его прялки с изящным узором, который почти никогда не повторялся.

Сын Петр легко перенимал навыки и секреты ремесла,

начиная кое в чем превосходить отца. Исидора Даниловича это радовало. Он мечтал, что с таким помощником семья вырвется из бедности и обретет устойчивый достаток.

Но Петр захотел учиться. Он успешно закончил Шигровское уездное училище, затем сельскохозяйственную школу при сахарном заводе. Преподаватели отмечали его исключительные способности и советовали продолжать образование. Петр стал мечтать о том, чтобы поехать в Курск, поступить в учительскую семинарию. Возможно, и на этот раз старый Исидор Данилович нашел бы средства, но он понял, что Петр к щепному промыслу больше не вернется. И в деньгах сыну отказал.

Петр Голиков выдержал конкурс — пять человек на место — и поступил в учительскую семинарию. За письменную работу по математике ему одному поставили пятерку. А средств не было. Зарабатывал чем мог: колол-пилил с приятелем дрова, разгружал вагоны, давал частные уроки, но жил впроголодь.

Как репетитор Голиков вскоре получил известность, его часто звали к обленившимся балбесам, однако платили мало, и он, случалось, предпочитал, взяв с собой кусок хлеба, провести полдня в библиотеке, чем тащиться пешком через весь город, чтобы заработать полтинник.

Читал он быстро и жадно, выбирая книги по заранее составленному списку. Его ненасытный цепкий ум и могучая крестьянская память мгновенно все схватывали, а по дороге домой он неторопливо осмысливал поступки и суждения людей, о которых только что читал.

Петр спал три-четыре часа, с великой тоской думая, что знает пока мало, а в глуши, где придется работать, разве найдешь нужную книгу?

Больше всего на свете Петр Голиков хотел учить детей

Аркадий помнил: отец приехал однажды со службы на извозчике и взял с сиденья стопку толстых, тяжелых книг, завернутых в плотную бумагу. Книг в доме всегда было много, в том числе и детских, но покупка каждой новой становилась событием — Аркадий и девочки ее листали, разглядывали, и нередко после ужина родители читали только что приобретенную книгу вслух.

Аркадий развязал привезенный отцом пакет. В бумаге лежали шесть томов книги «Великая реформа», посвященной пятидесятилетию освобождения крестьян по манифесту 1861 года. На самом деле «Великая реформа» была историей крепостного права в России.

Аркадий часто потом рассматривал в ней картинки и читал по слогам подписи к ним. Так он впервые узнал о Салтычихе, которая была обвинена в убийстве 75 своих крестьян; об экономке графа Аракчеева Настасье Минкиной — она жгла утюгом лица горничных; о помещике, который приговаривал своих крепостных к 5000 ударам розгами... Из «Великой реформы» узнал Аркадий впервые о Степане Разине, который стал вождем обиженных, поднял народ против помещиков и царя. Степана Разина поймали, обманом привезли в Москву, пытали, а он не проронил ни звука.

Аркадий с трудом дождался прихода отца, чтобы рассказать о стойкости Разина.

— Сейчас иди спать, — ответил отец, помолчав. — А завтра я тебе кое-что покажу.

— Петя, ну зачем ребенку такие страсти? — вмешалась Наталья Аркадьевна.

— Если у людей достало мужества все это вынести, — ответил отец, — то пусть Аркаша хотя бы посмотрит, где это происходило.

Петр Исидорович поднял мальчика на рассвете, и они вышли из дома. Стояла осень. Осыпалась листва, раскисли дороги, глина прилипала к подошвам ботинок. Отец и сын шли на дальнюю окраину города — к Ивановским буграм. Здесь вдоль проселка через каждые двадцать — тридцать метров белели часовенки, похожие на маленькие игрушечные дома. Стены их покрывали рисунки, которые изображали казнь и муки Иисуса Христа. У некоторых часовенок догорали с вечера поставленные свечи.

— Разин и восставшие крестьяне шли брать Москву, — сказал отец. — Но сначала им нужно было взять Арзамас. И под Арзамасом их разбили. Многие попали в плен. Схваченных разинцев привозили сюда, на Ивановские бугры, и вешали. Всего тут было казнено одиннадцать тысяч. На тех местах, где стояли виселицы, и построили эти маленькие часовенки.

Петр Исидорович нагнулся и поднял комок красноватой глины.

— Говорят, что раньше тут глина была желтой, а красной она сделалась после того, как здесь погибло столько народу.

— Папа, — испуганно спросил Аркадий, — а если бы не отменили крепостное право, ты бы тоже был крепостным?

— Конечно.

— И я? Нет, я не мог быть крепостным — моя мама дворянка!

— Если бы я остался крепостным, а мама вышла за меня

замуж, — ответил отец, — она бы тоже стала крепостной. Таков был закон.

После посещения Ивановских бугров Аркадий долго ходил молчаливым и вскрикивал во сне.

ПОБЕГ

Приходя после школы домой, Аркадий кричал с порога:

— Тетя Даша, письмо от папы есть?

И если письмо его ждало, кидал ранец, садился прямо у порога и читал. Петр Исидорович сообщал, что служит под Ригой в резервном полку, их учат разным солдатским премудростям — ходить строем, разбирать винтовку, копать окопы, так что здесь он застрянет надолго. Аркадия это радовало: значит, опасность отцу пока не угрожает. И мальчика начали волновать другие проблемы.

«Папочка, — писал он, — я знаю, что некоторые присылают винтовки с фронта в подарок кому-нибудь, как это делается? Может, можно как-нибудь и мне прислать? Уж очень хочется, чтобы что-нибудь на память о войне осталось»¹.

Всегда внимательный к просьбам сына, отец на это письмо не ответил. Зайдя однажды к соседям, Аркадий увидел на подзеркальнике в прихожей открытку: Петр Исидорович сообщал друзьям, что из резервного полка, где он находится, отбирают добровольцев на передовую. «Шлю свой привет, — заканчивал он, — и бог весть, не последний ли?»^{*}

Аркадий замер. Этого отец домой не сообщал. Так вот с какими мыслями он там живет! Аркадий был ошеломлен. Он сунул открытку в карман: в конце концов, она прислана его папой. Ночью Аркадий долго не спал, а к утру принял решение.

Мальчик потихоньку стал копить деньги, которые мать давала то на тетради, то на кинематограф. Купил карманный фонарик с запасной батареей, складной ножик. Два рубля у него еще осталось. И он прикинул, что на дорогу до фронта ему вполне хватит.

Для окончательных сборов Аркадий выбрал такой вечер, когда мать дежурила в больнице. А то у нее была опасная привычка: мельком взглянув в глаза, она мгновенно угадывала все тайные мысли, садилась рядом, обнимала своей теплой, мягкой рукой и говорила:

— Выкладывай, мой мучитель, чего ты там уже опять придумал?

¹ Здесь и дальше подлинные письма и документы отмечены звездочкой.

И приходилось выкладывать, потому что перехитрить маму не было никакой возможности.

А тут матери дома не было. Тетя Даша укладывала малышей. И Аркадий завел беседу с Наташей.

— Понимаешь, Талочка, начались дожди, а папа сидит в сырых окопах. Наверное, даже с мокрыми ногами. И возле него ни одной родной души. Понимаешь?

Талочка ничего не понимала, но глядела на брата восхищенными и благодарными глазами: Аркаша никогда с ней так серьезно не говорил.

— Не огорчай маму и чаще пиши папе, — наставлял он ее. Девочка кивала: она была послушной сестрой.

Проснулся Аркадий рано.

— Я сегодня дежурный, — объяснил он тете Даше.

Позавтракал, поцеловал спящих сестреночек, долго в прихожей целовал тетю Дашу (она была тронута неожиданной нежностью) и, схватив ранец, выбежал на улицу.

День был холодный: ночью моросил дождь. Аркадий повел плечами, застегнул шинель на верхнюю пуговицу. И пошел — только не направо, к училищу, а налево, к перелеску, возле которого было кладбище.

Аркадий не боялся могил — этому его тоже научил отец. Мальчик прошмыгнул среди крестов и памятников, отыскал заранее выбранный, давно заброшенный склеп, потянул на себя чугунную дверцу, не глядя сунул в темное отверстие ранец с книгами и тетрадями — и побежал дальше. Он хотел до обеда, в крайнем случае до вечера, пока в окопах не лягут спать, попасть на фронт.

Вскоре он был на вокзале и прождал часа полтора, пока не остановился воинский эшелон. Из теплушек начали выпрыгивать солдаты с чайниками и котелками. Солдаты бежали к большим медным кранам, которые торчали из стены пристройки с надписью «Кипяток».

Аркадий не стал никого ни о чем спрашивать: ему и так все было ясно. А кроме того, опасался: если он будет задавать вопросы, то его примут за немецкого шпиона. Газеты сообщали, будто развелось их очень много, и призывали разоблачать вражеских агентов.

Гуляющей походкой Аркадий прошел к последнему вагону. Двери в нем были наглухо заперты, но зато имелась открытая с двух сторон тормозная площадка. Когда ударил станционный колокол, Аркадий стремительно поднялся на площадку, присел на корточки и прижался спиной к стене вагона.

Паровоз гуднул, эшелон дернулся, и Аркадий подумал, что самое трудное позади. Но машинист, казалось Аркадию, трусил

и не спешил на передовую. Состав подолгу останавливался на безымянных полустанках. А если трогался опять, то эшелон мог обогнать и ребенок.

Ветер продувал площадку, где не было даже угла, чтобы спрятаться. Аркадий начал замерзать. Согревался он только тем, что, держась за борт с сигнальным красным фонарем, попеременно крутил руками. На короткое время становилось теплей, а потом Аркадий снова начинал замерзать.

Наконец состав набрал скорость. Мимо тормозной площадки пробегали и лес, и сторожки стрелочников, и дереvушки, которые выглядели совершенно пустыми.

Небо хмурилось, накрапывал дождь. Аркадий начинал ко-ченеть. По его расчетам давно пора было появиться фронту, но не слышалось ни орудийного грохота, ни стрекота пулеметов, а настоящие аэропланы не летали, видимо, из-за плохой погоды.

Стемнело. От усталости и холода мальчика начало клонить в сон. И он с беспокойством подумал: «А как я буду спать? Чем укурюсь?»

К счастью, эшелон замедлил скорость и остановился. «Уже фронт!» — обрадовался мальчик. При слабом свете керосиновых фонарей Аркадий прочитал на деревянном строении: «Кудь-ма». Название показалось знакомым. Оно вроде бы встречалось в военных сводках.

Солдаты опять стали выпрыгивать без винтовок, но с чайниками. «Нет, еще не доехали», — с сожалением понял Аркадий. У него чайника не было, но хотелось есть и пить. «Добежать до буфета? А если не успею обратно?» И он решил перетерпеть, но послышался размеренный металлический стук: три удара, пауза, три удара, снова пауза, и у ступенек площадки появился измазанный копотью осмотрщик вагонов. В одной руке он держал фонарь, в другой — молоточек на длинной рукоятке.

Осмотрщик заметил Аркадия — чистенького, в гимназической шинели и фуражке.

— Тебе чего здесь надо? Нашел где баловаться, — сердито произнес осмотрщик. — Увезет тебя поезд — узнаешь.

Аркадий соскочил с площадки, не чувствуя захладевших ног. Обескураженный, он направился к зданию вокзала и сразу попал в буфет. Здесь было тепло. На прилавке громоздился медный, ведра на три, самовар. А за прилавком полный бритоголовый буфетчик с распаренным лицом накладывал двум офицерам в вошенные бумажные мешочки холодные котлеты и расстегаи. Получив деньги, буфетчик наклонился к Аркадию:

— Что для вас?

— Чай, котлету и булочку, — ответил Аркадий и, краснея, спросил: — А сколько это будет стоить?

— Пятьдесят копеек. Изволите взять?

— Изволю, — растерянно ответил Аркадий: его капитала могло хватить всего на четыре котлеты.

Он выложил серебряный полтинник, взял протянутую тарелку, стакан на блюдечке, все отнес к столику и принялся за еду. Аркадий мигом проглотил котлету, откусил булочку и стал запивать чаем. Тепло разлилось по всему телу. Захотелось спать.

В этот момент ударил колокол. «Поеду следующим, — вяло подумал Аркадий. — Утром». Раздался паровозный гудок, и состав поплыл мимо окон буфета.

Допив чай, Аркадий вошел в темный и тесный зал ожидания. Здесь было полно народу. Пахло потом, махоркой, но топилась печь, Аркадий отыскал на лавочке свободное место, сел, засунул руки в карманы и мгновенно заснул.

Он открыл глаза, когда уже было светло. Аркадий чувствовал себя отдохнувшим и бодрым. Народу за ночь прибавилось. Люди спали даже на полу. Осторожно ступая между спящими, мальчик вышел на улицу. Небо промыло ночным дождем, и светило солнце.

До фронта, по его понятиям, оставались сушие пустышки. И Аркадий похвалил себя, что остался ночевать: где бы он в темноте нашел на передовой папу?

Поскольку обедать он собирался на фронте, из походной кухни, то у того же буфетчика Аркадий взял стакан чая, два свежих бублика и в благодушном настроении расположился за столиком, где лежала только что принесенная газета «Нижегородский листок». Откусив бублик, Аркадий придвинул к себе «Листок», чтобы иметь исчерпывающее представление, как идут дела на фронте. И поперхнулся.

На первой же странице, среди маленьких, в черных рамках, объявлений о том, кто умер и где что продается, было крупно и броско набрано:

ПРОПАЛ МАЛЬЧИК, АРКАДИЙ ГОЛИКОВ. ПРИМЕТЫ: КРУПНЫЙ, СВЕТЛОВЛОСЫЙ, ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА, ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ. НА ЛЕВОЙ ЩЕКЕ УЗКИЙ ШРАМ. ОДЕТ В ФОРМУ УЧЕНИКА РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА. НА ФУРАЖКЕ И НА ПРЯЖКЕ ПОЯСА БУКВЫ А.Р.У...

Испугавшись, что его задержат и вернут, Аркадий схватил с тарелки недоеденный бублик и поспешил на улицу. К станции подходил воинский эшелон. Однако, выскочив из буфета, Ар-

кадий заметил на платформе жандарма, а чуть поодаль — второго. О том, чтобы сесть в поезд, не могло быть и речи.

«Пойду пешком», — решил мальчик. И пока жандармы его не заметили, шмыгнул за угол вокзала и заспешил по усыпанной углем дорожке в сторону ушедшего вчера поезда.

Дорожка сперва весело бежала вдоль полотна, потом вильнула в лесок, который делался все гуще. Аркадия это обрадовало: трудней искать, а потом, фронт на голом месте не бывает.

Между тем наблюдательный буфетчик обратил внимание, как переполошился мальчонка, взяв газету. В «Нижегородском листке» буфетчик без труда обнаружил объявление и выбежал на платформу, чтобы найти станционного жандарма, который уже имел секретное предписание «...задержать и немедленно доставить».

Пока буфетчик бестолково объяснял, что мальчонка без родителей вчера заказал котлету и булочку, а сегодня лишь два бублика и чай, но, как только подошел состав, сорвался и побежал, воинский эшелон тронулся. Жандарму было очевидно, что беглец уехал в этом поезде. И старый служака, придерживая шапку, побежал на телеграф.

Были подняты жандармы на всех последующих станциях, а воинский эшелон тщательно обыскали на очередной остановке, однако найти мальчика не удалось.

Тем временем Аркадий утомленно брел по лесу. Бублик давно был съеден. Во рту остался неприятный деревянистый привкус от найденных под дубами желудей. А фронта все еще не было. Дважды, полагая, что так он сократит путь, Аркадий куда-то сворачивал. Путь не становился короче, зато гуще делался лес.

Уже возникала мысль вернуться, но было стыдно. И потом, на станции, он помнил, стояли жандармы. А с жандармами у Аркадия издавна были натянутые отношения.

«Мама, расскажи мне что-нибудь про пятый год... — нередко просил он. — Тебе тогда уже много лет было, а мне всего год». И мама рассказывала, как жили они во Льгове, и забастовали рабочие сахарного завода, и мама с отцом прятали у себя подпольщиков и листовки, которые те приносили.

Однажды ночью нагрянули жандармы: офицер и несколько нижних чинов. Начался обыск. Шарили везде. «Офицер, — вспоминала мама, — этаким вежливый был. Пальцем тебя пощекотал, а ты смеешься. «Хороший, — говорит, — мальчик у вас». А сам, будто шутя, на руки тебя взял и между тем мигнул жандарму, и тот стал чего-то в твоей люльке высматривать.

Вдруг как потекло с тебя! Батюшки, прямо офицеру на мундир... Мундир новый — и весь насквозь: и на штаны попало, и на шашку. Всего как есть опрудил...»

Аркадий всегда весело хохотал. Мама столько про это рассказывала, что Аркадию казалось, будто он и сам это помнит. Больше того, он считал, что «опрудил» офицера вполне сознательно, — и добровольно идти к жандармам в руки не собирался.

Опять стемнело. Аркадий достал из кармана складной нож, отогнул самое длинное лезвие и включил карманный фонарь. По свету фонаря его и заметил лесник, который тоже возвращался со станции.

Лесник привел его к себе, жена покормила Аркадия и уложила спать на теплую печку. А рано утром лесник ушел и вернулся на дрожках с жандармом.

— Что ж ты натворил? — спросил старый добродушный жандарм, когда они отъехали от сторожки лесника. — Деньги, что ли, чужие взял?

— Ничего я не брал, — зло ответил мальчик.

— Куда ж ты бежал — и на поезде, и пешком?

— К папе на фронт — вот куда.

— Так фронт же, — захохотал жандарм, — совсем... совсем... в другую сторону!

...Когда Аркадия в сопровождении жандарма привезли домой, он больше всего боялся, что мама будет корить и плакать. Но Наталья Аркадьевна, узнав, куда и зачем он ехал, погладила его по стриженной голове и тихо сказала:

— Светлый мой мальчик!

Зато ему здорово досталось от учителя географии. Он вызвал Голикова к доске...

Из повести «ШКОЛА»

«— Тэк-с!.. Скажите, молодой человек, на какой же это вы фронт убежать хотели? На японский, что ли?

— Нет... на германский.

— Тэк-с! — ехидно продолжал Малиновский. — А позвольте вас спросить, за каким же вас чертом на Нижний Новгород понесло? Где ваша голова и где в оной мои уроки географии?.. Вы должны были направиться через Москву... А вы поперли прямо в противоположную сторону — на восток... Садитесь. Ставлю вам два. И стыдитесь, молодой человек!»

...Следствием этой речи было то, что первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, с совершенно необычайным рвением принялись за изучение географии, даже выдумали новую игру, называвшуюся «беглец». Игра эта состояла в том, что один называл пограничный город, а другой должен был без запинки перечислить главные пункты, через которые лежит туда путь...

Другим неожиданным результатом побега явилось то, что Аркадий в глазах реалистов сделался героем. На него приходили смотреть даже ребята из выпускного класса. На улице он нередко слышал за своей спиной: «Гляди, это Голиков, ну, который убегал к отцу».

Среди арзамасских мальчишек возникли даже споры: «А если бы он доехал до фронта — что было бы тогда?»

Скептики полагали: «Ничего бы не было: отослали бы его домой с другим жандармом». Но большинство считало, что Голиков на передовой себя бы показал: «Аркашка, он же отчаянный».

О своем неудачном побеге на фронт Аркадий Петрович Гайдар никогда не забывал. В иронических тонах он рассказал о нем в книге «Школа» и в автобиографиях. Вспомнил писатель об этом приключении, работая и над повестью «Тимур и его команда».

Когда товарищам стало известно, что Коля Колокольчиков собрался бежать на фронт, Тимур его предупредил: «Это затея совсем пустая... крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее».

Гайдар знал по себе, как сложна и опасна жизнь подростка на передовой, и надеялся, что в будущей войне взрослым на фронте не понадобится помощь детей. Но летом 1941 года события повернулись так круто, что Гайдару пришлось написать: «Ребята, пионеры, славные тимуровцы!.. Мчитесь стрелой, ползите змеей, летите птицей, предупреждая старших о появлении врагов-диверсантов, неприятельских разведчиков и парашютистов. Если кому случится столкнуться с врагом — молчите или обманывайте его, показывайте ему не те, что надо, дороги...»

В дни Великой Отечественной войны дети — читатели Гайдара — совершили сотни героических поступков и многое сделали для нашей Победы.

ПРОКЛЯТАЯ ДОЧЬ

В окно тревожно и нетерпеливо застучали. Аркадий проснулся и услышал, как мама в соседней комнате соскочила с кровати, открыла форточку и привычно, негромко, ни о чем не спрашивая, произнесла:

— Да, да, сейчас иду!

И через несколько минут, поцеловав на прощанье сына, который встал ее проводить, с потертым саквояжем в руках ушла в ночь. Аркадий прижался лбом к стеклу, чтобы посмотреть, на чем уехала мама. За ней присылали фамильные кареты с гербами (экипажам было лет по сто!), извозчицы дрожки, крестьянские двуколки. Как-то ночью приехал единственный в городе автомобиль, который принадлежал инженеру Тренину, но чаще всего Наталья Аркадьевна уходила с провожатым пешком.

В семье Голиковых привыкли к ночным вызовам. Если присылали сторожа из больницы, это означало, что привезли тяжелую больную или кому-то стало хуже. А когда у флигеля останавливалась двуколка или сани, то это уже приглашали в дом. И как бы Наталья Аркадьевна ни была утомлена, она никогда не отказывала в помощи. Зато она раньше всех узнавала, у кого кто родился: Наталья Аркадьевна служила фельдшером в родильном отделении городской больницы.

Но случалось, что Наталья Аркадьевна не возвращалась домой день или два и присылала записку, чтобы не волновались. А потом приезжала без кровинки в лице, словно это ей была нужна медицинская помощь. Никого не замечая, точно лунатик, она мылась в кухне из тазика и брела спать. И Аркадий, если у него накапливались вопросы, открывал книгу и садился у порога маминной комнаты, под портретом Льва Толстого. Писатель был изображен босиком, в белой рубашке. Как только мальчик слышал, что мама проснулась (днем Наталья Аркадьевна долго никогда не спала), тут же к ней входил.

— Тебя кто-то обидел? — спросил он ее однажды.

— Почему ты так решил? — Она слабо улыбнулась.

— У тебя заплаканные глаза.

— У меня больная умерла.

— Из-за тебя?

— Нет, из-за Тимофея Ивановича, который оказался трусом.

— Трусы бывают только на войне.

— Трусы бывают везде — даже в больнице.

— А что случилось? Ворвались разбойники и он не заступился?!

— С разбойниками, может, и я бы справилась. А здесь требовалась операция. Он не решился ее делать, из-за этого умерли молодая женщина и ребенок, который должен был родиться.

Аркадий замолчал. Ему в ту пору было семь лет. И на думанье порой у него уходило много времени.

— А ты смелая? — спросил он внезапно. — Тогда почему ты не сделала операцию сама?.. — И он подозрительно, снизу вверх, поглядел ей в лицо.

— Я не умею. Я не врач, только фельдшер.

— Почему же ты не стала врачом? Ты ленилась? Не хотела учиться?

— Хотела. Но женщине в России невозможно стать врачом. И потом, у меня не было средств долго учиться.

— А твои мама и папа? Разве они о тебе не заботились?

— Заботились, когда я была совсем маленькой. Но мама давно умерла, а отец... Он меня проклял.

— В церкви? Он поп?

— Нет, он офицер. Я тебе как-нибудь расскажу. Сейчас не хочется.

...История эта началась давно, когда молодой поручик Аркадий Геннадьевич Сальков стоял со своей ротой в маленьком польском городке. В доме бедных дворян Бегловых, у которых он снимал квартиру, была красавица дочь. Поручик тут же без памяти в нее влюбился. Она — в него. Обоим вскоре стало очевидно, что жить друг без друга они не могут. Через месяц, в полной парадной форме, Сальков явился к родителям девушки просить руки. И получил отказ. Род Сальковых считался древним, но оскудевшим, а родители девушки желали для своей дочери более выгодной партии.

Несчастный поручик хотел застрелиться — на выручку пришли друзья. Невесту, с ее согласия, похитили глубокой ночью. Через два часа молодых обвенчали в сельской церкви. Однако романтическое венчание обернулось скандалом. Молодые поженились не только без согласия родителей невесты и жениха, но и без разрешения командира полка. А это грозило поручику отставкой.

Сальков был вызван для объяснений. Он приехал с женой. Войдя в комнату, где их ожидали полковник с супругой, Сальковы опустились на колени, как провинившиеся дети. Молодая была столь хороша, что порыв отчаянного поручика был понят, а сам он прощен.

Сальковы были совершенно счастливы. Даже скудость

средств не сильно омрачала их жизнь. Вскоре родилась дочь Наталья, а когда девочке было пять лет, ее мать внезапно умерла.

Сальков снова хотел застрелиться, но его остановила мысль о дочери. И Сальков запил. Дом пришел в запустение. Наташа ходила по комнатам неумытая и голодная. И Сальков в антракте между двумя запоями женился на некоей Е. А. Шубинской. Как он уверял, «для блага дочери».

Мачеха оказалась настоящей мачехой. Сказки не врили. В Киеве, в просторном доме, где теперь жили Сальковы, никогда не было порядка. Родились новые дети. Мачеха скандалила с отцом, и с молочницей, и с прачкой. Когда из гимназии возвращалась Наташа, раздавался крик:

— Ты почему опять так поздно?

Наташа нянчила по очереди малышей, водила гулять их на берег Днепра, рассказывала и читала сказки, просиживала ночи, если кто из них заболел, а утром бежала в гимназию.

Для домашних заданий оставалось два-три ночных часа. Выручали Наташу живой ум, дар сосредоточения, когда она целиком погружалась в то дело, которым занималась, и блестящая, стихами и песнями натренированная память, которая позволяла с лету запоминать услышанное и прочитанное.

Отец в отношении Наташи и мачехи не вмешивался. Возвратясь со службы, он обедал и запирался у себя в кабинете.

Наташа закончила гимназию с золотой медалью. Аттестат позволял ей преподавать в младших классах и делал независимой. Остаться нянькой и прислугой в доме, где она чувствовала себя чужой, Наташа не пожелала и ушла из семьи.

Вскоре Наташа познакомилась с Петром Голиковым. Он был старше ее на пять лет. Высокий, плечистый, спокойный, с красивым лицом, с пронзительными бесстрашными глазами, он занимался по восемнадцать часов в сутки, чтобы наверстать упущенное родом Голиковых за два столетия.

Петр был одержим фантастической по тем временам идеей — обучить грамоте всех крестьянских детей в России. Наташа готова была ему помогать. Вскоре Петр объяснился и сделал ей предложение. Наташа, вспыхнув, его приняла. Оставалось получить благословение родителей.

Отец и мать Петра были в восторге от выбора сына, но оба стеснялись Наташи: она им казалась барыней. И мать позволила себе поцеловать будущую дочку, одетую в строгое закрытое платье из кисеи, только в плечико.

Из Щигров под Курском Наташа и Петр отправились в Киев. Увидев старшую дочь после разлуки, штабс-капитан Сальков не потеплел. Глядя куда-то в сторону, спросил, зачем пожаловала.

— За благословением, папа.

Губы и нижняя челюсть Салькова задрожали. В глазах появились слезы. Он обнял дочь, расцеловал ее. Наташа, счастливая, ткнулась лицом в его грудь. Наконец он произнес:

— Показывай своего суженого.

Девушка кинулась на улицу: возле дома, волнуясь, прохаживался Петр.

— Идем, благословляет,— шепнула она ему, сияя.

Увидев жениха своей дочери, который приехал знакомиться не во фраке и атласном цилиндре, а в пиджаке и косоворотке, штабс-капитан почувствовал себя оскорбленным. Кровь кинулась ему в лицо. Однако был он человеком воспитанным. Не подавая руки, пригласил жениха сесть.

— Род ваших занятий, господин...

— Голиков... Петр Исидорович Голиков. Я учитель.

— Ваши средства? Доходы?

— Жалованье. Пока 25 рублей в месяц.

— Как же вы на восемь гривен в день собираетесь содержать семью?

— Я рассчитываю заняться переводами. И потом, Наташа будет работать.

— Моей дочери замуж рано: ей всего шестнадцать лет.

— Ты увез маму, когда ей было пятнадцать,— напомнила Наташа.

— Талочка, я подавал большие надежды. А на что смеет надеяться господин Голиков — на прибавку жалованья в десять рублей? И если ты, моя дочь, осмелишься... без родительского благословения... прокляну!.. И даже на могилу мою — не смей! — высоким фальцетом выкрикнул он, высоко подняв руку с нелепо торчащим указательным пальцем. И ушел из гостиной к себе в кабинет.

Наталья с Петром обвенчались без благословения отца и уехали в Льгов работать в школе при сахарном заводе. Днем у них были уроки. Вечерами они готовились к занятиям, много времени отдавали самообразованию и были счастливы. Когда родился первенец, его в честь киевского деда назвали Аркадием. А когда мальчик немного подрос, его и годовалую дочку Наталью повезли в Киев: Наталья Аркадьевна тосковала без отца, мучаясь происшедшим разрывом, и надеялась на примирение.

Маленький Аркаша был спокойным, рассудительным и приветливым ребенком. Впервые увидев дедушку, о котором мама так много рассказывала, мальчик тут же потянулся к нему. Дед нехотя взял его на руки, следя за тем, чтобы внук не испачкал ботиночками парадный мундир, и через минуту опустил Аркашу на пол. К внуку и даже к внучке — смешной, беспричинно веселой Талочке — Сальков остался внешне безразличен: или в нем говорила оскорбленная гордость, или родственные чувства Салькова ослабило повседневное потребление вина, из-за которого не удалась и его служебная карьера. Голиковы уехали обратно в Льгов.

С той поры киевский дед в доме не упоминался. Лишь однажды вскользь Наталья Аркадьевна сказала сыну, что род Сальковых очень древний.

— Мой прадед был женат на дочке прадеда Михаила Юрьевича Лермонтова. Представляешь?

Но за Натальей Аркадьевной прислали экипаж — разговор прервался. Сколько потом Аркадий ни просил, к рассказу о дальних предках мать больше не возвращалась. Мальчик решил, что она пошутила. В семье Голиковых любили розыгрыши...

ПРОБА СИЛ

Аркадию нравились уроки словесности. Вел их Николай Николаевич Соколов. Выглядел он неприступно и строго: густые темные волосы, зачесанные назад, ровно подстриженные борода и усы, болезненно-бледное, словно истерзанное тайными муками лицо. Сквозь стекла пенсне внимательно смотрели редко улыбавшиеся, полные удивления глаза.

О Соколове говорили, что он объехал полсвета, побывал на Цейлоне, в Индии, в Китае, знал десять языков, мог преподавать в столичном университете, а выбрал Арзамасское реальное. Правда, училище имело добрую славу. Сюда приезжали учиться из многих городов. И конкурс каждый год был велик.

Случалось, на уроках Николай Николаевич рассказывал о своих путешествиях столько диковинного, что мальчишки просто досадовали, когда в коридоре начинал звенеть колокольчик. Разбирая на уроке то или иное художественное произведение, Николай Николаевич читал отрывки из него на память. Но особенно любил он беседовать о судьбах писателей.

— Дарование Александра Сергеевича Пушкина проявилось очень рано,— говорил Соколов на одном из занятий.— В Царскосельском лицее Пушкину была официально заказана ода для прочтения на экзамене по словесности. Лицей должен был посетить Гаврила Романович Державин, в ту пору первый стихотворец России. А с Николаем Васильевичем Гоголем все было иначе. Его первые литературные опыты стали мишенью для насмешек. Стихи Гоголя не принимали даже в рукописный журнал. В Нежинском лицее он так плохо учился, что педагогам не приходило в голову, что перед ними гениально-одаренный человек. Какую же работу над собой должен был проделать Гоголь, какой пришлось ему одолеть путь внутреннего саморазвития, чтобы заслужить своими повестями похвалу самого Пушкина, а после гибели Александра Сергеевича стать первым писателем России. Но с той далекой поры, когда его преследовали насмешки, у Гоголя осталась сутуловатость, точно он всегда спешил пройти незамеченным,— продолжал Соколов.— О нем говорили, что он ходит п е т у ш к о м...

После этого урока самого Николая Николаевича за каркающий смех и подпрыгивающую походку прозвали Г а л к о й. Прозвище мгновенно закрепилось.

Однажды на уроке словесности у Аркадия возникла дерзкая мысль: «А не показать ли Николаю Николаевичу мои стихи?»

Сочинял он их давно. В доме всегда звучали песни и стихи. Вместо колыбельной мать напевала «У лукоморья дуб зеленый...», или «Горные вершины спят во тьме ночной...», или «Плакала Саша, как лес вырубали...». По вечерам родители частенько пели дуэтом «Дивлюсь я на небо...» и «Як умру, то похороните...». У отца был низкий, мягкий баритон. Его приглашали петь в церковь, обещали хорошие деньги, но отец не верил в бога, не любил попов и отказался. А Наталья Аркадьевна писала стихи к каждому семейному празднику и читала, когда все собирались за столом.

Года в четыре Аркадий сочинил свое первое стихотворение и тоже прочел за обедом в присутствии гостей. Получилось оно не очень складным. Однако Наталья Аркадьевна, слушая, беззвучно счастливо хохотала. Петр Исидорович улыбался, но был сдержан. А когда гости ушли, отец предложил:

— Давай, сынок, начнем учиться читать и писать, и тогда ты, надеюсь, будешь сочинять хорошие стихи.

Аркадий легко научился читать, гораздо хуже давалось ему письмо: недоставало терпения выводить палочки и крючочки. Отец сердился. «Писать плохим почерком невежливо»,— говорил он и купил учебник «Русские прописи». Но терпения у мальчика не прибавилось.

Тем временем Аркадий продолжал сочинять стихи. В доме их все знали наизусть, даже маленькие сестры. На рождество Наталья Аркадьевна подарила сыну альбом в сафьяновом переплете и вывела красивыми буквами на первой странице:

*Пусть разгорается ярким огнем
Божия искра в сердце твоём...*

Аркадий вписал в альбом свое новое стихотворение о мотылке и вечером показал его отцу.

— Что же,— спросил отец,— ты советуешь всем порхать, как мотылек?

— Нет,— ответил мальчик,— я хочу сказать: лучше прожить короткую жизнь, но красиво.

Теперь Аркадию захотелось услышать мнение учителя. Нести сафьяновый альбом он не решился. И купил альбом поменьше, переписал в него десятка три стихотворений, которые ему самому нравились, и стал ждать удобного случая.

А тут на уроке Николай Николаевич объявил:

— Нынче у нас будет сочинение на свободную тему. Каждый волен выбрать близкий ему предмет и описать его. Или изложить свои мысли по поводу дорогого ему лица или волнующего события.

Аркадий побледнел: судьба сама шла навстречу. В ушах зазвучало: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил...» Аркадий почувствовал, как внутри возникло удивительное, ни с чем не сравнимое тепло. Оно разлилось по всему телу, от него запылало лицо, сделались горячими руки. В голове начали выстраиваться невесты откуда взявшиеся рифмованные строчки.

Аркадий обмакнул перо в чернильницу. И лишь только занес на бумагу первую вполне готовую строфу, в голове возникли новые четыре строчки, словно он сочинил их давным-давно, а сейчас только вспомнил. Он испытывал счастье и восторг. Глаза застилала слезы радости. Стесняясь их, мальчик хлюпал носом и делал вид, что это попала соринка.

Когда в коридоре залился медный колокольчик, Аркадию оставалось сочинить три последние строки. Но захлопали крышки парт, товарищи повскакали с мест — и вдохновение пугливо исчезло. Все нужные слова пропали. А те, что приходили в голову, не годились и не рифмовались.

Галка не стал ждать и ушел из класса. Что-то наскоро вписав, Аркадий догнал учителя в коридоре.

— Николай Николаевич, вот моя тетрадка.

Галка посмотрел своими широко открытыми удивленными глазами на Голикова: лицо потное, белесые волосы взъерошены,

а ворот гимнастерки распахнут, словно Голиков целый урок возился с приятелями или играл в пятнашки.

— Хорошо,— ответил Галка и положил тетрадку поверх внушительной стопки.

Всю ночь Аркадий не спал, представляя завтрашний урок: Галка возвращает тетради и произносит незабываемые слова, которые со временем тоже станут стихами: «Старик, мол, Галка, нас заметил и, в класс входя, благословил...»

Словесность была предпоследним уроком. Аркадий извелся. На двух переменах он нарочно попадался на глаза Галке, но учитель был чем-то озабочен, на поклон Аркадия едва ответил. Оставалось ждать урока.

В класс Николай Николаевич вошел с журналом под мышкой и связкой тетрадей. Аркадий почувствовал, что от волнения его начинает подташнивать. Называя фамилии и отметки, Галка начал раздавать тетради, время от времени добавляя: «Неплохо, но жаль — много ошибок». Или: «Мне кажется, вы не до конца продумали свою тему. А начальная мысль у вас любопытная».

— Один из ваших товарищей,— наконец сказал Николай Николаевич,— написал свое сочинение стихами.

Класс с грохотом повернулся в сторону Аркадия, которому стало не по себе, словно он переел варенья.

— Факт весьма похвальный,— продолжал учитель,— ибо свидетельствует об известной начитанности и стремлении к творчеству. Но стихи пока что весьма посредственные. В них велико влияние доморощенной альбомной поэзии, а нужно побольше вбирать в себя классику. В любом, даже маленьком стихотворении должна присутствовать мысль. Так сказать, красная нитка... Что с вами, Голиков? Вам дурно? Принести вам воды?

— Не надо, благодарю,— ответил Голиков.

Галка пожал плечами.

— Возвращаясь к проблемам литературного творчества, хочу, господа, заметить, что пишущий должен быть готов к невзгодам. Я уже говорил, что Гоголь начинал с очень плохих стихов. Когда же приятели смеялись над ним, он отвечал: «Не робей, воробей, дерись орлом!» Это сделалось его жизненным девизом.

Но Голиков уже не слушал...

После занятий он отправился на берег Тёши. С обрыва река выглядела ленивой и грязной, словно все кожевники, сколько их было в городе, выплеснули в нее содержимое своих чанов.

«Стихи плохие, стихи плохие...— повторял он.— Ну и пусть. Я в писателю вовсе не готовлюсь. Я буду матросом».

Аркадий сбросил на землю свой ранец и вытряхнул на сухую землю содержимое. Сначала он разорвал на клочки тетрадку со злополучным сочинением, а потом стал выдергивать страницы альбома, который приготовил для Галки и собирался передать после триумфа.

Пока Аркадий кромсал толстые, гладкие листы альбома, в глаза лезли строчки его виршей, и он морщился от их несуразности и корявости.

Ветер дул с реки. Клочки не желали лететь вниз, к воде, и усеяли все вокруг. Но это Аркадия уже не волновало. Он знал, что никто не станет их собирать и склеивать.

«Со стихами покончено, со стихами покончено», — повторял он. И вдруг почувствовал себя очень несчастным и побрел к матери в больницу.

...Этот случай Аркадий Голиков переживал долго и сохранил потом изнурительную способность помнить о былых неудачах во всей их ранящей остроте. Память о неудачах, полагал он, обходится дешевле новых неудач.

«Не забывать о красной нитке, — записал однажды А. П. Гайдар в дневнике. — Если я об этом забуду — горя мне опять будет немало»*.

Это было напоминанием о первом литературном поражении.

МАМИНА ШКОЛА

Аркадий задумал научиться метко стрелять. Ружья у него не было. И он решил, что для начала подойдет и рогатка. Еще с лета у него валялась рогулина, а в школе он выменял за два патрона от австрийской винтовки изрядный кусок крепкой резины.

После уроков Аркадий смастерил отличную рогатку и отправился за дом, чтобы опробовать. Он забрался в дальний угол двора. Там, за дощатым забором, начинался соседский участок, на котором росла старая засыхающая береза. Аркадий уселся на заборе, вынул рогатку, заложил в ее карман круглый голыш, прицелился и попал прямо в середину ствола.

Довольный собой, зарядил опять — теперь уже плоским камешком. Прицелился, натянул резинку — камешек пошел точно в ствол, но в последний миг, вильнув, сделал изрядную дугу и с дребезгом влетел в стекло соседского дома. У Аркадия замерло сердце. В доме жили неприятные люди. Они скандалили из-за любого пустяка. А тут появился серьезный повод.

К счастью, никто не видел. Аркадий соскочил с забора, нырнул в дыру, которая выводила к прудам. Покрутившись часик вдаль от дома, он как ни в чем не бывало отправился делать уроки. А когда вошел в квартиру, услышал, что все комнаты наполнены криком.

— ...Сегодня он выбил стекло, завтра — глаз, а послезавтра пойдет убивать из рогатки людей. — Это кричала соседка Евдокия Ивановна.

— Я пришлю вам стекольщика, — услышал Аркадий громкий, усталый голос матери.

— Ах, нам еще и платить!

— Не беспокойтесь, я заплачу. А теперь извините — я вернулась с ночного дежурства.

Соседка стремительно прошла к выходу. Это была молодая, всегда неопрятно одетая женщина.

Мальчик повесил шинель, вытер ноги о коврик и с виноватым видом открыл дверь в родительскую спальню. Кутаясь в красный халат, мать лежала на кровати лицом к стене. Ноги ее были укрыты стареньким детским одеялом. Она не обернулась. И Аркадий на цыпочках вышел в столовую.

Весь вечер Наталья Аркадьевна не разговаривала с ним. Все в доме знали, что произошло, и даже Катюшка, самая младшая из сестер, смотрела на брата с осуждением. Ночью Аркадий не спал. Он прошел через кухню в столовую. Из-под двери материнской комнаты пробивался свет. Аркадий открыл дверь и остановился на пороге. Он думал, что мать читает, а она лежала в халате поверх неразобранной постели и смотрела безучастным взглядом в потолок.

— Мам, я ж не хотел, — испугался Аркадий. — И потом, Евдокия Ивановна не видела... И только по одному подозрению... А вдруг бы не я — все равно посылай к ней стекольщика?

— Мне жаль не рубль серебром, хотя деньги, ты знаешь, достаются недешево. Я потрясена, что сын мой — трус.

— Неправда, я не трус! Хочешь, я пойду один на кладбище?

— На беду нашу, трус. Иначе бы ты не позволил, чтобы дурно воспитанная женщина пришла кричать к тебе в дом. Смелый человек либо признается, что совершил дурной поступок, либо опровергает, если его необоснованно винят. А ты стоял в прихожей — и не признался, и не опроверг. И если теперь обтрясут на соседней улице яблоню или украдут с веревки белье, покажут на тебя. А когда ты станешь оправдываться, ответят: «Ты и в прошлый раз убежал».

Среди уличных мальчишек считалось доблестью напроказить и смыться. И лопухами обзывали тех, кто попадался.

Неудачника дома ждала порка. В семье Голиковых детей не били. После ухода отца на фронт Аркадия дважды сажали за провинность в чулан, но, что получится такой разговор из-за разбитого стекла, мальчик не ожидал.

— Мамочка, я не стану больше убегать.— Он кинулся к ней и ткнулся головой в ее полное плечо.

С того дня, если был в чем виноват, сразу шел и сознавался. Скажем, играют большой компанией в прятки, он забежит в чужие сени и нечаянно опрокинет молоко. Никто не видел и можно бы удрать, а он уже стучит в горницу и говорит: «Извините, я опрокинул кринку».

И вечером матери: «Прости, мамочка, но произошла неприятность».

Мать все равно бледнела. Продукты дорожали. Кринка молока стоила бог весть каких денег, но мать уже не плакала, не произносила обидных слов.

«Я все уладила,— говорила она ему час спустя.— Спасибо, что не пришлось краснеть».

И хотя было жалко отданной трешки или пятерки, а девчонки давно уже не пили свежего молока, Аркадий гордился, что мама его похвалила.

А через день-другой случалось что-нибудь еще. И он снова говорил: «Извините, это сделал я». И на него опять обрушивалась лавина обидных слов, но поступать иначе он уже не мог.

Приятели над ним, конечно, смеялись. Сами они, если что натворят, тут же удерут или изобразят благородное возмущение на лице: «Бог свидетель, это не я и не мы!» И набожные соседи, слыша такие клятвы, отступались. А хитрые приятели подмигивали Аркадию: «Учись, разиня. Видишь, ни шума, ни полтинников».

И сомнение медленно закрадывалось в душу Аркадия, но однажды он бесповоротно убедился в мудрости матери.

Начитавшись Фенимора Купера, Аркадий задумал сыграть во дворе в индейцев. В напарники он пригласил одноклассника Володю Тихонова. Сначала они смастерили копьа, затем луки и стрелы. Для стрел клеили из плотной бумаги колчаны. Оставалось соорудить головные уборы из перьев. И здесь им под руку попал нахальный, неизвестно чей петух, который каждый день приходил во двор, клевал корм из чужих кормушек и отвратительно орал, когда его гнали.

Чтобы проучить петуха, Аркадий с Володей расстелили возле кормушки сетку. Лишь только появился злодей, они дернули с двух сторон веревку, и петух очутился в ловушке. Мальчишки без зазрения совести надергали перьев из его

хвоста. И головные уборы у них получились на славу. Три синие-зеленых, почти павлиньих пера выпросил себе Володя, зато Аркадию достались три огненно-красных, отливающих по краям желтым пламенем.

Под вечер, на закате, во внутренний двор, общий для нескольких домов, вышло отдохнуть много народу. Кто пил в тенечке под яблоней чай, кто читал газету и обсуждал вести с фронта. В этот момент молча появились два живописных индейца — в головных уборах из перьев, с луками, колчанами и копьями. Их лица, грудь и даже спины, несмотря на вечернюю прохладу, были расписаны акварельными красками. Ничего не объявляя, Аркадий и Володя начали игру, похожую на мимический спектакль.

Сначала они изобразили неподдельное горе по случаю того, что соседнее враждебное племя сожгло их вигвамы, а всех женщин и детей забрало в плен. Аркадий и Володя заметались в полном отчаяния танце. В нем были и горе, и скорбь, и клятва отомстить врагам...

В палисадниках уже никто не читал газет и не обменивался новостями. Лишь наиболее хладнокровные из соседей, не спуская глаз с необычного, красочного зрелища, продолжали отхлебывать чай из блюдец.

А Володя с Аркадием уже показывали, что они вышли на тропу войны и готовятся вступить в решительную схватку. Они поражали из луков цель — это был нарисованный на фанерном листе предводитель враждебного племени, похожий на училищного инспектора. Когда у них кончились стрелы, они метнули в ненавистное изображение копья. И снова не промахнулись.

В этот момент хлопнула калитка и во дворе появилась Евдокия Ивановна — соседка, у которой Аркадий когда-то разбил стекло. Под мышкой она держала зловредного петуха. О том, что это ее петух, Аркадий не имел ни малейшего понятия.

— Что же такое творится на свете? — радуясь большому количеству зрителей, запричитала соседка и подбросила в воздух петуха. Тот неумело захлопал крыльями и с истошным криком, едва коснувшись земли, помчался прочь со двора, что не помешало присутствующим увидеть, что у него обкромсанный, совершенно куриный хвост. — Животную уже выпустить на свежий воздух нельзя?! — продолжала Евдокия Ивановна.

Зрители обоих импровизированных спектаклей еще не вполне разобрались в происходящем. А тем временем Володя, который взял себе индейское имя Бесстрашное Сердце, положил на землю лук и пустой колчан, пригнув голову, украшенную

сине-зелеными перьями, бесшумным индейским шагом — с пятки на носочек — направился к воротам. Здесь он бережно, чтобы не помять, снял с головы и положил на траву свой роскошный убор. Вежливо стукнула калитка. И донеслось, как — шлеп-шлеп-шлеп — кого-то унесут быстрые босые ноги. Это убежал, бросив товарища, бывший вождь индейского племени...

Сгорая от стыда за неожиданный скандал и трусость приятеля, Аркадий, не теряя достоинства, подошел к Евдокии Ивановне.

— Хвост вашему петуху ободрал я,— произнес он громко и внятно.

И под сочувствующими взглядами соседей Аркадий выдержал все, что обрушилось на его голову. А когда казалось, что крику не будет конца, он вдруг засмеялся. Он подумал, что через минуту крик все же кончится, а трусливый вождь Бесстрашное Сердце еще долго будет сидеть в своем двухэтажном вигваме и с замиранием ждать, когда эта женщина со своим бесхвостым петухом придет кричать и к нему.

Позднее Аркадий понял: преодолевая страх наказания, он научился побеждать в себе любой страх. Это не значило, что он перестал всего бояться. Просто у него появились выдержка и воля. Даже если Аркадий допускал серьезный промах, он теперь не слабел от испуга: «Ах, что мне за это будет!» — и не делал тут же нелепых, трусливых шагов, которые бы усугубили его вину. Он не боялся ответственности, но помнил, что за каждую оплошность придется отвечать. И это его порой удерживало от излишне лихих поступков.

...Сколько раз потом, стремительно взрослея, в обстоятельствах далеко не домашних, вспоминал Аркадий с благодарностью и нежностью маму.

РОБИН ГУД ИЗ РЕАЛЬНОГО

В училище в середине года приняли новенького — Костю Кудрявцева, высокого, худого парня с постоянно испуганным выражением лица. На все реальное это был единственный «мужик», то есть выходец из крестьянской семьи.

Костя с восьми лет помогал отцу: пас овец, колол дрова, косил, ходил за плугом, таскал тяжести — и самозабвенно любил стихи и песни. Костю приметил деревенский дьячок. Он обучил мальчика письму, чтению и счету, а затем уговорил

Костиного отца отдать сына в реальное. «То будет второй Ломоносов!» — утверждал дьячок.

Кто такой Ломоносов, Костин отец не знал, но дьячка послушаться не посмел и отправился на поклон к брату-лавочнику. Тот жил в Арзамасе, своих детей не имел, приказчиков не держал: дорого, да и оберут.

Сначала Костин отец перетащил с воза в амбар овечью тушку, два мешка муки, бочонок меду, кадушку брусники, кадушку соленых грибов. Лишь после этого попросил о милости — приютить у себя Костю, если, даст бог, примут мальчика в училище. Талант к счетному делу у него открылся, да и возраст немалый — тринадцать лет уже.

Городской брат, закусывая водку белыми грибочками, неторопливо прикидывал: Костя будет сидеть после занятий в лавке, при этом не украдет, не станет просить жалованья и не посмеет положить в рот за столом лишний кусок.

На этих условиях Костя и поселился у дяди, а в училище сразу сделался предметом для насмешек. Издевались над Кудрявцевым прежде всего «аристократы» — дети дворян, офицеров и состоятельных купцов. Во время урока такой «аристократ» стоял у доски, озираясь в ожидании подсказки. Если шла контрольная, шепотом умолял решить задачку. Но лишь только звенел колокольчик с последнего урока, «аристократ» выходил из подъезда, не торопясь, чтобы все видели, усаживался в конный экипаж, и бородатый слуга, торопливо спрыгнув с облучка, укрывал ему ноги медвежьей полостью, хотя и пешком-то идти было пять минут.

Вокруг «аристократов» вились «подлипалы» — дети мелких торговцев, аптекарей, средней руки ремесленников, владельцев питейных заведений, коих в Арзамасе было не меньше, чем церквей. По наущению «аристократов» «подлипалы» издевались над беззащитными и делали вид, что помирают со смеху, заметив заплату на чьих-либо штанах. «Подлипал» этих звали еще «ухарями». Они-то и не давали проходу Косте.

«Заика! — кричали они ему. — Обезьяна!»

Со своей сутулой спиной и несуразно длинными руками Кудрявцев и впрямь был чем-то похож на обезьяну. Однажды Костя не выдержал:

— В-вы, м-маменькины сынки! П-походите за сохой от з-зари до з-зари, станете не только с-сутулыми — г-горбатыми!

Косте с его недетской силой, обретенной на крестьянской работе, с его цепкими, длинными руками, которые давали преимущество в драке, ничего не стоило проучить обидчиков, но он никогда этого не делал — робел.

Заметив как-то в коридоре, что «подлипалы» пристают к Косте, Аркадий бросил:

— Кто полезет к Кудрявцеву, будет иметь дело со мной.

— У-у-у,— не открывая рта, затагнули «подлипалы». Но от Кости отстали.

Аркадий был невысок и худ: сквозь темную ткань гимнастерки проступали острые лопатки. И предупреждение могло бы вызвать улыбку, если бы у белобрысого, с оттопыривающимися ушами второклассника Голикова не было бы своей твердо сложившейся репутации.

В реальном помнили его побег на фронт. А кроме того, о нем точно было известно, что первым в драку он не полезет, но бить при нем слабого или безответного нельзя: заступится. Голикова били за это самого — не помогало. Его били опять...

По счастью, на книжном развале Голиков купил за двугривенный книгу про английский бокс. Прочитав ее, Аркадий вколотил над дверью в столовой гвоздь, повесил на него обмотанную веревкой подушку и начал трудолюбиво отрабатывать удары. Но подушка была слишком мягкой, и он стал вешать на гвоздь ранец. От ударов по тяжелому и жесткому ранцу обдирались и болели пальцы. Однако со временем Голиков к этой боли привык — зато удар получался точным и сильным.

Как-то после школы Аркадий бежал с кошелкой в лавку и увидел: возле духовной семинарии кучка реалистов-четвероклассников неторопливо тузит Псевича — болезненного и робкого мальчишку.

— Эй, вы, отпустите Псевича! — еще издали крикнул Аркадий.

На него не обратили внимания. А когда он подбежал, истязатели дружно оставили Псевича, который с ревом помчался домой, и накинулись на Голикова.

В первое мгновение он оробел. Мальчишки были явно сильнее, и потом, в руководстве по боксу говорилось о правилах борьбы с единственным противником. Но улица — не ринг. Аркадий бросил кошелку, занял исходную позицию — нога вперед. Левой рукой прикрыл грудь, а правой, для пробы, ударил снизу в подбородок рыхлого парня по фамилии Маслов, который явно был заводилой. Маслов не устоял и опрокинулся на спину. На Аркадия слева и справа кинулись двое других. Аркадий, присев, позволил им столкнуться, а привстав, ударил по скуле того, что оказался ближе, затем второго. Тем временем с земли поднялся Маслов. Из прокушенной губы у него текла кровь. Он пошел на Голикова, выставив вперед кулаки, а двое

остальных вознамерились напасть сзади. Аркадий, не дожидаясь, когда к нему приблизится Маслов, подлетел к нему и снова ударил его в подбородок. У Маслова откинулась голова, и он опять сел на снег. После этого Аркадий обернулся, дал еще по разу тем двоим, которые подкрадывались сзади, и, уже не оглядываясь, отправился по своим делам.

Среди многоопытных училищных драчунов победа второклассника Голикова была расценена как случайная. «Подумаешь, какой Робин Гуд!» И было решено его проучить.

Через день, когда Аркадий возвращался из школы, открылись ворота дома, где жил купец-мануфактурщик, оттуда вывалилась ватага реалистов (среди них Аркадий разглядел троицу, что истязала Псевича), и все они накинулись на Голикова.

Утром в училище он появился с сине-оранжевым фонарем под глазом и широкой ссадиной на скуле. В перемену Аркадий хотел отсидеться за партой, но оставаться в классе разрешали только дежурным. И он вышел в коридор. Здесь Голиков увидел, что участники вчерашнего налета, взявшись за руки, прогуливаются возле его класса. Заметив Аркадия, Маслов громко, театрально воскликнул: «Тихо! Робин Гуд идет!» — и вся ватага с притворным сочувствием стала разглядывать синяк и ссадину на лице Голикова.

Аркадий не стал отворачиваться или закрывать синяк руками. Он позволил недругам насладиться плодами своей коллективной победы. А затем подстерег всех участников налета поодиночке и познакомил каждого с новинкой — удар левой с отвлекающим маневром. Больше трогать Робин Гуда никто не осмеливался.

А месяца через два после появления в училище Кости «ухари» вспомнили, что еще не устроили ему «крещения»: новичков непременно били. В перемену Голиков случайно услышал разговор двух «подлипал». И предупредил Костю:

— Ты в перемену не уходи далеко от класса: «ухари» что-то замышляют.

Два дня Костя был настороже, а на третий, решив, что опасность миновала, отправился в перемену пройти по коридору. К нему тут же подскочил Новицкий, за придурковатость и остроконечные уши прозванный Ослом, а сзади подкрался все тот же тучный и подловатый Маслов. Маслов толкнул Костю на Осла. Осел «обиделся», что Кудрявцев «посмел» его задеть, и ударил Костю по лицу. Быть может, Костя и ответил бы, но Маслов подставил сзади ножку. И «обиженный» Осел снова толкнул Кудрявцева. Тот

упал. Осел и Маслов стали кидать на спину Кости всех, кто проходил мимо. Через минуту посреди коридора копошился немалых размеров холм из мальчишеских тел. Хуже всего было ребятам, которые очутились внизу, особенно Косте. На помощь Кудрявцеву кинулся его одноклассник Коля Киселев, но его тут же отшвырнули в сторону.

— Аркашка! — в отчаянии закричал Киселев. — Аркашка! На помощь!

Голиков находился в учительской — относил карты после урока истории. Услышав, что его зовут, Аркадий бросился к дверям и чуть не сбил преподавательницу немецкого Эльзу Карловну. Когда же он появился в коридоре, то раздался другой испуганный крик: «Атас, Робин Гуд!» — и Аркадий увидел кучу малу.

Из-под груды копошащихся тел неподвижно торчали ноги Кудрявцева в огромных, много раз чиненных, но ни разу не чищенных сапогах.

«Убили!» — испугался Голиков.

Он в два прыжка очутился возле живого холма. Оттащил за плечи и со стуком опрокинул на пол Осла-Новицкого. Киселев и Коля Жуков сделали то же самое с Масловым. Остальные бросились врассыпную. Через минуту на полу продолжал лежать, закрыв голову руками, только Кудрявцев. Голиков присел возле него:

— Костя, вставай. Тебе больно?

Кудрявцев шевельнулся. Киселев с Жуковым помогли ему подняться. Костя длинными нервными пальцами ощупал затылок и в тревоге поглядел, нет ли крови. Последнее время у него появился страх, что от ударов и щелчков по голове он станет дурачком.

«Как тогда учиться? — спрашивал он. — И кормить семью? Ведь батька на меня одного надеется».

— Куда ж тебя понесло? — спросил Аркадий, когда выяснилось, что Костя цел и невредим. — Предупреждал же тебя.

— Я п-пошел тебя искать, — ответил Костя. — Ведьма мне п-поставила т-третью д-двойку и сказала, что оставит на в-второй г-год...

— А ты, Николай, куда смотрел? Они ж могли его покалечить! — обернулся Голиков к Киселеву.

— Я тоже тебя искал, — обиженно ответил Киселев. — У меня большие неприятности: гонят с квартиры.

— Ничего себе денек начинается, — вполголоса произнес Голиков и тихо засвистел, что было у него признаком большой озабоченности.

Зазвенел колокольчик.

— Встретимся на улице после уроков. Авось что-нибудь придумаем,— пообещал Аркадий.

ДИПЛОМАТ

Когда Аркадий вышел из училища, товарищи ждали его на тротуаре. Голиков кивнул им и двинулся в сторону дома.

— Ты что, не выучил урока? — спросил он Кудрявцева.

— Выучил, но она... — От волнения Костино лицо искривилось, будто ему свело рот. — Она с-сказала, что с т-таким произношением она меня н-не п-переведет...

Француженку Ольгу Сергеевну прозвали Ведьмой. И каждый реалист знал: если тебя невзлюбила Ведьма — беги из училища. По фанатической приверженности к своему предмету она могла оставить на второй год и на третий. Вернуть ее расположение можно было только безукоризненно правильной и свободной французской речью.

— Занимался бы побольше,— вяло сказал Аркадий, понимая всю безвыходность ситуации.

— Когда з-заниматься? — вскинулся Костя. — П-прихожу из училища, обедаю — и з-за прилавков. Народ в лавку ходит р-редко. Но книжку открыть не смей! «Вдруг войдет покупатель,— говорит дядя,— и подумает, что в лавку давно никто не заходил».

— Ты же не круглые сутки в ней сидишь,— заметил Аркадий.

— А когда з-запру лавку, д-дядя кричит: «К-костя, самоварчик! К-костя, дровишки накопи! К-костя, у тебя с-свинки не кормлены!» А после ужина: «К-костя, к-керосинчик-то нынче дорогонек». И уроки учу, стоя на лавке при свете л-лампадки. А дядя к-корит: «Богохульствуешь! Лампадка — для освещения лика богоматери!»

Голиков озабоченно покачал головой. В одиночку с этими проблемами Косте было не справиться.

— Я б тебе помог с французским,— сказал Голиков,— но у меня такое произношение, что мама, когда читаю вслух урок, выбегает из комнаты. Обожди... Кисель, ты же у нас свободно болтаешь по-французски.

— Я тебе сказал, что поп гонит меня с квартиры,— ответил Киселев. — Если я за два дня не найду другую, придется ехать обратно в Лукоянов, а там негде учиться.

— А с чего поп тебя гонит? — спросил Аркадий.

— Набрал квартирантов. Дерет бешеные деньги за еду,

кормит все хуже. А у самого в сарае и мясо тухнет, и мука плесенью покрывается, и овощи гниют. Ну, я ему и сказал. А он ответил: «Вон с квартиры. А то еще и от церкви отлучу!»

— Ладно, найдешь другую,— успокоил Аркадий.— У Кости дела посерьезнее.

— Я уже искал,— упавшим голосом ответил Киселев.— С обедами никто не берет. Самим, говорят, есть нечего.

— Я бы, Коля, взял тебя к нам, но ты помрешь у нас с голоду,— сказал Аркадий.— Шесть ртов, а работает одна мама.

Голиков замолчал.

«Где Аркадий найдет квартиру с обедами, если он и сам голодает? — подумали товарищи.— И как он уговорит Ведьму, если в прошлом году ее не сумел уговорить сам попечитель учебного округа?»

Это была нашумевшая история. Ведьма поставила двойку Никишину, у которого по остальным предметам были отличные оценки. И парню пришлось уйти из училища. Отец его был кошмовалом.

Мальчики добрели до приземистого флигеля с резными наличниками, где жил Голиков. «Сейчас Аркашка уйдет,— подумали об одном и том же Коля и Костя,— и мы останемся со своими заботами».

— Обождите меня,— попросил Голиков и скрылся в доме.

Через минуту он вернулся. Ранца на нем уже не было. Глаза Аркадия повеселели, а на худых его щеках проступил легкий румянец.

— Ребята, я вот что придумал,— произнес он.— Надо вас поселить вместе у Костиных благодетелей. У тебя, Кисель, появится жилье. И ты поможешь Косте с французским. Да и постесняется дядя при тебе, Кисель, на нем допоздна каждый день ездить. Кость, ты чего думаешь?

Костя долго не мог произнести ни слова. С гримасой на лице он опускал голову, мотал ею, наконец, выдавил:

— Н-не з-знаю. Д-дядя ж-жмот больно. З-захочет ли еще н-нахлебника?

— Но ты же даром на него работаешь! — возмутился Аркадий.— И сидельцем в лавке, и дворником, и скотником.

— Б-без него я н-не мог бы у-учиться!

— А без тебя ему нужно было бы нанять трех работников. Кормить их и платить жалованье. Рискнем? Коля, ты как?

— Я хоть самого дядю буду учить французскому.

— Я с д-дядей об этом г-говорить не могу. Он з-за обедом к-как зыркнет — я к-кладу кусок хлеба об-братно.

— Ладно, я сам поговорю,— заключил разговор Голиков.

Кудрявцев привел приятелей к двухэтажному облезлому дому с деревянными колоннами, к которому примыкала тесная, в два окошка лавка. В одном окне был выставлен хомут, в другом — чересседельники, потники, веревочные вожжи и иная сбруя. Из приоткрытых дверей пахло гниющей кожей и дегтем.

У крыльца Костя подал знак, чтобы товарищи понезаметней проскользнули в дом, — опасался, что дядя тут же посадит его караулить покупателей. Ребята вошли в полутемную прихожую, старательно вытерли о коврик ноги. Испуганная непривычным шумом, по лестнице стремительно спустилась немолодая женщина в накинута на плечи платке — Костина тетя.

— Здравствуйте, Екатерина Васильевна, — сказал Аркадий, снимая фуражку. — Мы Костины товарищи...

Киселев тоже снял фуражку и поклонился.

— Милости прошу, мальчики, раздевайтесь, — растерянно ответила женщина: гости в этот дом заходили редко.

Ребята прошли в мрачную гостиную с толстыми плюшевыми портьерами на окнах. Плюшевой скатертью с кистями был накрыт и стол. В углу высился массивный, до потолка, буфет. По стенам висели портреты в рамах, где темнели осанистые лики знающих себе цену мужиков с расчесанными бородами и увесистыми медалями на шеях и раскормленных женщин в платьях со стоячими воротниками и золотыми медальонами. В этой галерее Аркадий разглядел снимок самой Екатерины Васильевны в скромной самшитовой рамке. С фотографии смотрела миловидная девушка с бесхитростным, полным ожидания лицом.

— Хороший снимок, — похвалил Аркадий.

— Узнали? — искренне удивилась Екатерина Васильевна. — Это в день окончания гимназии.

— Вы и сейчас очень похожи, — сказал Аркадий. Это была правда.

— Что вы, Аркаша, — залилась краской Екатерина Васильевна. — Я уже старуха. Какой вы, однако... Я вам лучше принесу компот.

И она торопливо ушла.

— А ты говорил, жмоты! — повернулся Аркадий к Косте.

— Т-так то ж т-тетка, она н-ничего.

Екатерина Васильевна возвратилась с подносом, на котором стояли три фаянсовых кружки с компотом и тарелка свежих, домашнего печения кренделей. Аркадий и Киселев переглянулись: таких кренделей они уже не пробовали давно.

— Мы по важному делу, — сказал Аркадий, допив компот и дожевывая крендель.

— Слушаю вас.— Лицо женщины напряглось.

— Нас беспокоит, что Косте трудно дается французский. Его могут оставить на второй год.

— Да что вы! — испугалась Екатерина Васильевна.— И ничего нельзя исправить?

— Вообще-то можно,— ответил Аркадий,— но у Кости не остается времени на домашние задания.

— Вы правы,— смутилась Екатерина Васильевна,— я прослежу, чтобы муж его меньше загружал. Спасибо, мальчики, что пришли. А теперь прошу извинить, я спешу.— И она вышла из комнаты.

Минуты две приятели подавленно молчали.

— Я ч-честно предупреждал,— с трудом выдал Костя.

Киселев опустил голову. Внезапный уход Екатерины Васильевны разбивал его последние надежды, Аркадий тоже был обескуражен провалом своей дипломатической миссии. Костя мог бы еще подождать. Через день Ведьма снова влепит ему двойку — и будет повод вернуться к разговору. Но Киселев ждать не мог. А без него рушился весь план. Впрочем, терять уже было нечего.

В прихожей послышались легкие шаги. Аркадий замер, собираясь с мыслями, и бросился к двери.

— Екатерина Васильевна, можно вас на минуту?

— Аркаша, я приглашена к обеду. И уже опаздываю. Приходите на той неделе: в среду или лучше в четверг.

— Будет поздно,— ответил Аркадий.

— Что поздно? Вы недоговариваете?

Екатерина Васильевна встревоженно вошла в гостиную. Она была в пальто с песцовым воротником и песцовой шапочке. От нее исходил тонкий запах духов.

— Я не успел сказать, что сам Костя с французским не справится. Даже если у него будет много свободного времени.

— Господи,— опустилась на стул Екатерина Васильевна.— Что же делать? Я когда-то знала и французский, и греческий, но уже ничего не помню. А учителя небось нынче дороги?

— Да... но простой репетитор ему не поможет.

— Это почему же? — удивилась женщина и сняла шапочку: ей стало жарко.— Вон у соседей сын балбес балбесом, наняли гимназиста, и он помог по арифметике.

— Ведьма, простите, мадам Языкова невзлюбила Костю. И она ему поставит тройку, только если он будет разговаривать по-французски, как парижанин. А для этого он целый день должен с кем-нибудь болтать по-французски — иначе ему придется вернуться обратно в деревню.

— Как вернуться? — Тетя была искренне взволнова-

на.— Мы к нему очень привыкли. Своих детей нам бог не послал. Мальчики, Коля, Аркаша, посоветуйте. И потом, где я найду такого учителя, чтобы он занимался целый день? Да и денег у нас таких нет.

— Мы и сами не знаем, чем помочь,— сокрушенно произнес Аркадий.

— Что обидно,— добавил Киселев,— способный Костя очень. Преподаватель математики не успевает записать на доске задачу, а Костя уже тянет руку: он ее решил... в уме.

— Да и дяде он помогает лучше любого бухгалтера,— обрадовалась Екатерина Васильевна.— Но вот французский...

— Коля, ведь ты у нас вроде хорошо говоришь по-французски? — будто вспомнил Аркадий.

— Но я не могу каждый день так далеко ходить,— включился в игру Коля.

— Зачем же вам ходить? Переезжайте,— предложила Екатерина Васильевна.— Вам у нас будет спокойно.

— Как ты насчет переезда? — хитро прищуря глаза, спросил Аркадий.— Что тебе у своего попа снимать комнату с обедами, что здесь. Люди тут приветливые, добрые, много с тебя не возьмут.

— Какое «много»! — вмешалась Екатерина Васильевна.— Мы вообще ничего не возьмем. Будете жить, Коля, как родной.

— Даже не знаю,— помялся Коля.— Квартирантов у попа много, вечером весело, играет гармошка...

— Но Косте-то надо помочь? — накинулся на него Голиков.— И потом, пожалей Екатерину Васильевну — где ей найти репетитора, чтобы ходил сюда каждый день и разговаривал с Костей только по-французски?

— Коля, я отведу вам отдельную комнату. А мы с дядей и мешать не будем, только если я зайду компоту принести.

— Ну что, Кисель? — спросил Аркадий, делая неприметный знак, что пора соглашаться.

— Хорошо! — ответил Киселев.

— Только одно меня беспокоит,— заволновалась вдруг Екатерина Васильевна,— едим мы не по-городскому: щи да каша, разве когда что спеку.

— Это ничего,— ответил за Колю Аркадий,— он у нас не избалованный.

...Прощаясь, Голиков хитро подмигнул повеселевшим товарищам.

Наступили холода. Снег уже прочно лег на землю. По дорогам вместо телег ездили на санях.

В воскресенье Аркадий возвращался домой. Он нес от сапожника починенную обувь. Неожиданно ему встретились Коля с Костей. Они теперь всюду ходили только вместе. Несмотря на мороз, приятели были без шинелей. Киселев в курточке, а Костя в старом дядинном пиджаке. Под мышкой каждый держал коньки-снегурки, которые легко привинчивались к ботинкам. Для этого к каблукам прибивали специальные железные подковки.

— Вы куда?! — изумился Аркадий.

— На Тёшу, — с легким вызовом ответил Костя. Он последнее время стал менее робок и уже не так заикался.

— Не рано ли? — спросил Голиков.

— Мы нарочно ходили на речку, — успокоил Киселев. — Костя у берега на льду даже прыгал. Держит.

— Тогда обождите меня, — обрадовался Аркадий.

Он бегом отнес домой чемоданчик, надел под ученическую гимнастерку теплую фуфайку, схватил коньки и вернулся к ребятам. Те обрадовались — не только потому, что с ним было веселей, но и потому, что втроем менее опасно. Между арзамасскими мальчишками и сорванцами из соседних сел Выездное и Пушкарка существовала давняя вражда. Нередко деревенские, подкараулив, вылетали на лед крикливой, беспощадной толпой, сбивали городских мальчишек с ног, отвинчивали коньки, срывали перчатки и убегали. Городские чувствовали полную беспомощность перед многочисленной и хорошо организованной ватагой.

Приятели спустились по крутому склону к реке, надели коньки и, держась ближе к берегу, для пробы сделали короткие пробежки. Лед был чистым и ровным. Держал он крепко. Лишь на середине реки, где было гораздо глубже, лед чуть-чуть прогибался. Но это мальчикам даже понравилось. И они, хорошо разогнавшись, несколько раз пронеслись по этому опасному месту, испытывая робость и радость от сознания того, что не на шутку рискуют. По счастью, все обошлось.

Накатавшись, друзья собрались домой. Аркадий, отвинтив коньки, стал взбираться вверх. А Коля с Костей захотели проехать часть пути по реке. Костя держался ближе к берегу, а Коля, осмелев, выехал почти на середину Тёши. Внезапно ему показалось, что лед качнулся. Он испугался, повернул к берегу, услышал негромкий треск и заметил, что скользит под легкий уклон к темной полосе, из которой выступила вода. Киселев

попытался объехать трещину, но не успел. Ноги и туловище внезапно ожгла вода. Колю накрыло с головой и повлекло сразу вниз и под лед.

Ко дну ташили ботинки с коньками и напитавшаяся водою куртка. А под лед затягивало течение. Киселев хорошо плавал. Проваливаясь, он глотнул воздуха, забил руками и вынырнул на поверхность. Отфыркиваясь, Коля ухватился за край полыньи. Это позволило ему перевести дыхание. Однако, лишь только он подтянулся, чтобы выбраться на лед, снова раздался треск. И Коля плюхнулся обратно. Держась одной рукой за кромку, он снял куртку и попытался отвинтить коньки. Но руки уже теряли чувствительность, и ключ выскользнул из пальцев.

Тут Киселев услышал крик: «Выбирайся на берег!» Кричал Кудрявцев. Увидя, что стряслось с Колей, он прежде всего кинулся к обледеневшим мосткам, на которых женщины летом стирали белье. А когда вскарабкался на них и почувствовал себя в безопасности, испугался, что и он мог провалиться, и окончательно пал духом, не зная, чем помочь другу. Кудрявцев продолжал кричать: «Выбирайся на берег!», точно Киселеву доставляло радость купаться во всей одежде в студеной воде.

Бессмысленные крики раздражали Киселева, но тепла и сил в нем оставалось с каждой секундой все меньше. Инстинктивно оберегая каждую каплю этого тепла, он молча поплыл к другому краю уже немалой полыньи. Однако и здесь, едва Коля попытался вылезти из воды, лед превратился в крошево. Силы оставили его.

Заметив, что Коля перестал барахтаться и плохо гнущейся рукой чуть держится за кромку, Кудрявцев в отчаянии закричал:

— Аркашка, на помощь!

По счастью, Голиков не успел далеко уйти. Услышав надрывный крик, он подумал: кто-то дурачится. «Ухари» и «подлипалы», если считали себя в безопасности, доставляли иногда себе радость его подразнить. Но тут переменялся ветер, и уже отчетливо донеслось: «...на помощь!»

Аркадий кинулся к реке. С обрыва увидел: кто-то барахтается в воде, а по мосткам мечется долговязая фигура. Он понял: тонет Киселев. И, рискуя разбиться, бросился по крутому склону вниз.

Подвернулась нога, Аркадий шлепнулся и съехал на спине, затем, прихрамывая, но не ощущая боли, припустил вдоль берега, крича:

— Кисель, держись!

Когда Голиков достиг мостков и взглянул в сторону полыньи, он увидел, что из воды торчит совершенно седая голова. Волосы Киселева покрыл иней, но Аркадий подумал, что Колька поседел от страха. А Киселев, не моргая и шумно дыша, неотрывно смотрел на него, понимая, что это последняя надежда.

Аркадий почувствовал, что все решают мгновения.

— Кисель, я тебя вытащу! — крикнул Голиков, швыряя коньки и отбрасывая шапку.

Колиных сил едва хватило, чтобы кивнуть.

Аркадий быстро осмотрелся, не валяется ли поблизости доска или бревно, и не обнаружил даже щепки. А чтобы отбить доску от мостков, нужен был топор.

— Кисель, иду к тебе! — снова крикнул Голиков и сошел с берега.

Наст под его ногами мягко качнулся, будто огромный плот. Аркадий лег и пополз. Когда же ему показалось, что он подобрался достаточно близко, он кинул Киселеву конец ремня. Пряжка не достала до края полыньи. Аркадий прополз еще немного и снова кинул ремень. Киселев попытался поймать его на лету, не успел, медная бляха ударила его по кисти, но Коля не вскрикнул, не отдернул руку — он не почувствовал боли — и схватился за пряжку. Аркадий потянул за пояс. Киселев навалился грудью на лед, продвинулся на четверть метра и остановился: больше не было сил.

— Кисель, шевельни ногами, — попросил Аркадий. — Всплыви еще немного, а я тебя подтяну.

Киселев кивнул и действительно чуть всплыл, и Голиков опять подтянул его к себе, но кромка обломилась, и Коля со стоном плюхнулся обратно в воду. В глазах его были слезы, безумное желание жить и полная безнадежность.

— Кисель, не отпускай только ремень. Я тебя сейчас вытащу, — повторил Голиков. — Отгни обломок. Так. Подплывай к краю. Молодец! Вдохни побольше воздуха. Ложись грудью на лед. Хорошо! Теперь не шевелись, а я привстану.

Киселев хотел сказать, что не нужно этого делать, что лучше бы попробовать как-то по-другому, но холодом ему свело рот.

Лишь только Аркадий привстал на колени, присыпанный снегом наст мягко разошелся. Голиков, взмахнув от неожиданности руками, ушел под воду, и половинки льда сомкнулись над его макушкой.

Киселев выпустил ненужный теперь ему ремень и машинально ухватился за кромку полыньи. Он уже не чувствовал своего замерзающего тела и вяло, будто засыпая, подумал

о том, что из-за него утонул Аркашка и помощи им обоим ждать неоткуда. Но тут вода перед Киселевым забурлила. Сначала на поверхности появились красные от холода руки, а потом и голова Аркадия. Выплюнув воду и обтерев ладонью лицо, Аркадий весело закричал:

— З-здесь мелко! П-под ногами д-дно... Я стою! — и хлопал руками над головой. Вода была ему по горло.

Голиков сделал два шага навстречу, схватил Колю за рукав, потащил к берегу, поддевая плечом лед. И они выбрались на сушу. Аркадий стал срывать с Николая одежду и растирать его тело ладонью, хотя вода с него самого стекала ручьями. Вокруг них виновато суетился Костя. Голиков с Киселевым ни словом его не упрекнули, но и помощи его не приняли.

Обо всем этом автору книги рассказал полковник в отставке, участник трех войн, удостоенный за отвагу и мужество многих боевых наград, Николай Николаевич Киселев.

— Если бы не решительность Аркадия, — заметил Николай Николаевич, — моя бы жизнь закончилась в то утро на дне Тёши.

ГАЛКИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

1. Доброта

Кончалась зима, и все свободное время Аркадий проводил на прудах: он достраивал с приятелями флот. Главный его «сверхдредноут» из половинки старых дубовых ворот стоял на берегу. Требовалось поставить на нем мачту, сделать уключину для рулевого весла и прибить крепкие перила, чтобы во время «морского» боя не плюхаться в воду от малейшего толчка.

— На все это нужны были гвозди, доски, скобы, веревки, жесь. Аркадий продал немалую часть своих сокровищ: перочинный ножик с несколькими лезвиями, позеленевшую бронзовую медаль «За взятие Очакова», несколько выпусков сыщицкой литературы, ножны от офицерского кортика с еще сохранившейся позолотой, — но денег все равно не хватило. И он заложил за два серебряных рубля свои коньки. Теперь надо было раздобыть два рубля, чтобы не пропали снегурки.

Просить у мамы Аркадий не мог. Три дня назад, когда он вымолил у нее очередной полтинник, будто бы на кино, мама

предупредила: «С деньгами, сын, плохо. И до будущего месяца я тебе ничего больше дать не смогу».

В самом дурном расположении духа Аркадий явился с прудов домой. Переоделся в сухое, поставил на приступочку русской печки сапоги, чтобы они просохли до утра, поел теплой картошки, выпил два стакана чая с сушеной малиной вместо сахара, рассеянно выслушал жалобы сестер. Обычно он вникал, кто чью взял куклу или почему кошка долго не могла попасть в квартиру, а в это время пищали голодные котята. Но сейчас ему самому хотелось посоветоваться, только было не кем.

— Сестришечки,— сказал он Кате и Оле,— я дослушаю вас завтра. Хорошо? А то мне нужно делать уроки.

Девочки обиженно разбрелись по углам. Аркадий, убрав посуду, разложил на столе книги и тетради. Ко всем бедам он еще сильно запустил уроки. Не хватало только, чтобы маму вызвали в школу.

Сегодня Аркадий рассчитывал приналечь на историю и математику, по которым его давно не вызывали, и заметил в дневнике, в графе «Словесность», маленькими буквами сделанную запись: «Сдать сочинение». Если бы Аркадия сейчас ударили пустым ведром по голове, это бы его ошеломило гораздо меньше.

«Как же я забыл?»

С Галкой у Аркадия сложились непростые отношения. Встречая Голикова, Николай Николаевич вместо привычно короткого и быстрого кивка медленно и уважительно кланялся, внимательно и заинтересованно вглядываясь в лицо мальчика. Такой же взгляд Аркадий ловил и на уроках словесности. И терялся. Ему казалось, что Галка его жалеет. А жалости он не терпел. И потом, во внимательном взгляде учителя крылось постоянное напоминание о сокрушительном провале. А память о том дне Аркадий от себя гнал. И вот нелепейшая история — не написал сочинение «Старый друг — лучше новых двух»

...Галка задал его десять дней назад.

— Прошу не оставлять сочинение на последний вечер,— сказал Николай Николаевич.— Наш мозг обладает замечательной особенностью: он любит возвращаться к проделанной работе и улучшать ее. Сошлюсь на Николая Васильевича Гоголя. Он писал первый вариант повести и прятал рукопись в дальний ящик стола. Через какое-то время извлекал черновик, перечитывал, находил, что у него плохо (это у Гоголя — плохо!),— Галка засмеялся громким, каркающим смехом,— переписывал все от первой до последней строчки и откладывал опять. И так восемь-девять раз!

— Что же, и нам переписывать девять раз? — насмешливо спросил Григорий Мелибеев, сын известного в городе врача.

— Как угодно. Гоголь был гений. В трудолюбии тоже. Просто я советую: сегодня, к примеру, составьте только план. Завтра на свежую голову план свой поправьте и набросайте, не заботясь об отделке, черновик. Дайте черновику денька два полежать, перечитайте, сделайте новые поправки и вставочки и начинайте переписывать набело. А чтобы у вас было достаточно времени, я вам на эти дни ничего не задаю.

В ответ раздалось восторженное «ура!».

Когда Галка ушел из класса, мальчишки восхищенно говорили, что ни один преподаватель не отменил бы домашние задания на десять дней.

— Братва! Чур, не подводить Галку, — вскочив на стул, заявил Борька Доброхотов. Он в классе пользовался немалым влиянием. — Писать, как Гоголь! Иначе — вó! — И показал кулак!

Вспомнив все это, Аркадий заметался в узком пространстве между буфетом, диваном и обеденным столом.

«Галка подумает, что я нарочно, — сокрушался он. — Конечно, я могу честно сказать, что забыл, и он ответит: «Принесите завтра», но он ведь с нами как со взрослыми...»

Аркадий посмотрел на часы, которые тикали на стене. Витиеватые резные стрелки показывали на фарфоровом циферблате без четверти восемь. Бежать в библиотеку (его недавно записала мама — туда полагалось вносить изрядный залог) было поздно. Да если бы даже библиотека и была открыта? Какие книги просить и когда их читать? Посоветоваться с мамой? Но мама набрала ночных дежурств (за них платили вдвойне), была переутомлена, и ее лучше было не беспокоить. И мальчик в который раз пожалел, что нет отца...

Если даже Петр Исидорович долго находился в отъезде и только вошел в дом, а сын сразу кидался к нему, чтобы сию же минуту поговорить, отец отвечал:

— Хорошо, через четверть часа.

И Аркаша ждал, пока отец помоеется в тазике на кухне, переменит рубашку и наденет старенький пиджак, а тетя Даша нальет ему в стакан в серебряном подстаканнике дочерна заваренного чая: если Петр Исидорович приезжал усталый, то сразу не обедал. Он разламывал баранку, делал первый, осторожный, чтоб не обжечься, глоток. И хотя лицо его было серым от долгой дороги и утомительной, не радующей работы, отец все равно улыбался и говорил:

— Ну, пороховая твоя душа, что там произошло — выкладывай!

Аркадий, счастливый тем, что можно все рассказать, торопился:

— Я прочитал «Жакерию»...

— Кто ее написал?

— Я теперь запоминаю писателей — Проспер Мериме. Он из Франции. Но главное, папа, мне опять пришлось подраться.

— Каждый раз одно и то же.

— Не одно. Я не виноват. Я вышел просто погулять. А Гринька с Андрюшкой начали закапывать в песок живото котенка. Он мяукал и не хотел. Я закричал: «Что вы делаете! Вас бы так!» Они сказали мне нехорошее слово. Я стал котенка у них отбирать. Они не давали. Я все же отобрал и принес домой. А теперь они говорят, что это их любимый котенок и я его украл.

— Не беспокойся. Я поговорю. А сейчас возьми книжку, сядь рядышком со мной и почитай ее, а я часок вздремну.

Пока Аркадий ходил за книгой, Петр Исидорович успевал прилечь на диван и заснуть. Мальчик сначала просто сидел и смотрел, как он спит, потому что успевал соскучиться. Постепенно Аркадию делалось спокойно. Он знал: теперь все опять встанет на место...

«Мой лучший друг — папа,— писал Аркадий в новой чистой тетради.— Я знаю, другие мальчики, если напроказят или случится неприятность, стараются свою вину и ошибки скрыть. Я от папы не скрывал ничего. И как бы я ни был виноват, папа никогда не ругал меня, а только говорил: «Худо, Аркаша, худо!» — и это было для меня самым большим наказанием».

...Когда Наталья Аркадьевна возвратилась утром с дежурства, она застала Аркадия спящим за столом. Перед ним мерцал фитилек керосиновой лампы, в которой выгорел весь керосин.

— Аркаша,— встревожилась Наталья Аркадьевна,— почему ты спишь одетый, за столом?

— Мамочка, ты уже пришла? — обрадовался он, с трудом приоткрывая веки.— Это я писал сочинение и нечаянно заснул.

— Тоже мне сочинитель нашелся! — улыбнулась Наталья Аркадьевна.— Поди умойся, попей чаю и беги в школу.— Она поцеловала его в лоб, испачканный чернилами, сняла пальто и пошла будить Талочку, которой пора было в гимназию.

Когда Аркадий прибежал в училище, то выяснилось, что Галка заболел, но прислал записку, чтобы сочинения ему принесли домой. Неделю Галка не приходил, и все уроки перепутались: вместо словесности — закон божий, вместо за-

кона божьего — естествознание. И, ввалившись однажды с обшарпанным глобусом в класс, Аркадий увидел Николая Николаевича: теперь уже географию заменили словесностью. За эту неделю Галка еще больше побледнел. Кожа на его лице истончилась, и только глаза глядели еще загадочней и ярче.

Николай Николаевич расстегнул портфель и вынул стопку тетрадей.

— Наш с вами опыт удался,— произнес он, улыбаясь.— Большинство работ я прочитал с истинным удовольствием, но одно сочинение хочу отметить особо. Голиков написал о своем отце и сделал это бесподобно.

И снова весь класс, дружно грохнув крышками парт, обернулся к Аркадию. У Голикова остановилось дыхание, и он почувствовал, как жар заливает лицо, шею и даже спину, будто он очутился на палящем солнце. А Галка продолжал:

— Я прочитал это сочинение в двух соседних классах. Оно произвело большое впечатление. Я нахожу, Голиков, что у вас есть литературные способности. А рано пробудившиеся способности — большая редкость. Не следует думать, господа, что Голиков непременно будет писателем, но если захочет, то сумеет им стать. Мне было бы приятно, Голиков, если бы вы нашли время посетить меня. Мы ведь с вами соседи? Придете?

Аркадий, не подымая от смущения головы, кивнул. Мелибеев сзади кольнул его остро отточенным карандашом. Голиков вскочил.

— Спасибо. Приду обязательно.

...Галка снимал квартиру в обширном доме священника Никольского. Когда Аркадий потянул шнурок звонка, дверь открыла служанка лет сорока, одетая в серое платье с белым передником.

— Вам сюда,— произнесла она, не дожидаясь вопроса, и показала на дверь, откуда слышались ребячьи голоса. Их перекрывал высокий, знакомый и в то же время какой-то новый, приветливый и домашний голос Николая Николаевича.

Голиков постучался и вошел. В просторной комнате стояла низкая софа, низкий столик, невысокие стулья, как позднее узнал Аркадий, сделанные по чертежам самого Галки. На софе и на стульях, уткнувшись в книги, сидели мальчишки в форме реалистов — Аркадий их встречал в училище. А за столом расположились двое совершенно незнакомых ребят — один в клетчатой рубашке, а другой в пиджаке с подвернутыми рукавами. На Аркадия ребята взглянули мельком, без всякого интереса.

Зато Галка, который сидел за письменным столом, заметив

Аркадия, поднялся навстречу. Николай Николаевич был в белой полотняной рубашке и бархатной куртке.

— Я рад, что вы у меня, — сказал учитель. — Посмотрите, вдруг вас что заинтересует.

Вдоль стен темнели застекленные шкафы. В одних стояли книги: энциклопедия Брокгауза и Ефрона, роскошные издания классики — Шекспир, Шиллер, Гете, Пушкин, Лев Толстой и много других произведений в солидных и пестрых обложках. А в одном шкафу книг не было — там лежали морские раковины, словно обросшие редкой бородой кокосовые орехи, засушенные морские звезды, китайские, темного лака шкатулки с тонкой витиеватой резьбой, позолоченная фигурка индийского бога Будды, кривой нож в деревянных ножнах, резной, из слоновой кости шар и много других диковинных вещей. Галка привез все это из дальних стран. О его путешествиях и коллекции в городе и училище было много разговоров.

Соблазн прикоснуться к этим сокровищам хотя бы пальцем был так велик, что Аркадий спрятал руки за спину.

— Здесь все можно трогать и брать руками, — сказал Галка.

Аркадий схватил нож в деревянных ножнах, потянул кожаную рукоятку. Блеснул кривой, острый, не тускнеющей стали клинок. Но что делать с ножом, если ты не в лесу и даже не на берегу реки, где можно срезать хотя бы ивовый прутик? Аркадий положил на место кинжал и взял костяной прозрачный шарик.

Он был словно соткан из тончайших кружев, какие носила мама, только здесь они были из слоновой кости. Положив шарик на ладонь и поднеся его поближе к висячей лампе, Голиков увидел внутри еще один шарик, только поменьше. А там и третий. Всего он насчитал шесть штук.

Аркадий засмеялся. Он сразу разгадал, в чем здесь хитрость. Дедушка Исидор вытачивал матрешек, каждая состояла из двух разъемных половин. Аркадий попытался разнять и шарик, ему это не удалось, и он подошел к Галке.

— Шарик не разбирается, — ответил учитель, выводя кому-то аккуратную тройку.

— Склеен? — мгновенно сообразил Аркадий.

— Нет, — усмехнулся Галка, отрываясь от тетрадки, — выточен из целого куска.

— Вы шутите, — улыбнулся Аркадий. — Как же тогда эти шарики засунули внутрь?

— Их внутри и вытачивали. Чтобы сделать такой шарик, мастеру иногда требовалось полгода. Представляете, какая нужна воля и терпение?

Аркадию показалось, что шарик стал очень тяжелым, и он положил диковинку на место. Зато в дальнем шкафу он сразу увидел «Приключения Тома Сойера» — эту книгу в Арзамасе невозможно было достать даже в библиотеке — и «Пятнадцатилетнего капитана». И хотя нельзя было читать сразу две книги, Аркадий забрал с полки обе, уселся на низкий диванчик, открыл «Тома Сойера» — и оторвался, лишь заметив, что все давно ушли.

— Ой, который же это час? — вскочил он и покраснел, увидев, что уже начало двенадцатого. Он кинулся к шкафу, чтобы поставить книги на место.

— Если желаете, возьмите их с собой, — сказал, входя в комнату, Галка.

Аркадий стал бывать у Николая Николаевича каждый день. Мама говорила: «Это неприлично», а он не мог ничего с собой поделаться. Когда бы Голиков ни пришел, он заставлял уже пять-шесть учеников. И если Николая Николаевича не было за столом, Аркадий шел в соседнюю комнату, превращенную в столярную мастерскую. Здесь, надев кожаный фартук и перевязав тесемкой волосы, похожий на простого мастера, Галка пилил, орудовал рубанком, стучал деревянным молотком, сооружая этажерки, табуретки, шкатулки. Мальчики, которых увлекало столярное ремесло, смотрели или помогали, вытачивали что-то сами под внимательным взглядом учителя. А закончив дела в мастерской, Николай Николаевич выходил в читальню, где его дожидались другие ребята — книжники, и каждый обращался со множеством накопившихся вопросов.

Все Аркадию было здесь по душе, смущало только одно. Он боялся, что Галка заговорит с ним о его литературных способностях и о том, как становятся писателями. А Голиков не желал больше сочинять стихи и не собирался быть писателем. Эта профессия ему совершенно разонравилась. В ней все было непонятно. Когда Аркадий писал сочинение в стихах, он мог поклясться, что испытывал вдохновение, которое осеняет лишь настоящих поэтов. Он был убежден, что у него рождаются гениальные строки. А Галка небрежно назвал их «доморощенной поэзией». Когда же он, Аркадий, наспех, в один присест написал даже не сочинение, а просто воспоминания об отце, Галка заявил, что это бесподобно. Как же тут понять, когда ты делаешь работу хорошо, а когда плохо?

Или Галка уловил эти мысли, или по иной причине, но к разговору о литературных опытах самого Аркадия он больше не возвращался. Зато охотно беседовал с ним о книгах и судьбах великих писателей. Первый такой обстоятельный

разговор состоялся в тот вечер, когда Аркадий вернул «Тома Сойера» и «Пятнадцатилетнего капитана».

— Понравилось? — спросил Галка.

— Очень.

— А какая больше?

— Обе одинаково. — И увидел досаду на лице учителя. — Разве это плохие книги?

— Нет, очень хорошие. Просто я надеялся, вы уловите различие. Я понимаю, вас увлекли приключения, поэтому я вот что хочу сказать: романы, которые вы прочли, созданы двумя очень талантливыми и разными писателями.

Марк Твен родился в Америке, был наборщиком, лоцманом, солдатом, искал золото. К счастью, золота не нашел и стал писателем. Почти все персонажи Марка Твена — люди, которых он хорошо знал.

Иное дело Жюль Верн. Он служил биржевым маклером, сочинял пьесы, их ставили. А подлинное призвание свое обнаружил случайно. В детстве Жюль Верн заносил на карточки любопытные сведения о разных странах, в которых он не бывал.

Однажды издатель предложил ему сделать небольшую научно-популярную книжку. Тут обнаружилось редкое свойство Жюля Верна: строго научные факты — где что растет, записи об особенностях климата или загадочном природном явлении — рождали в его голове живые образы и множество связанных с ними событий. Он обладал могучим воображением, которое позволило ему создать романы «Из пушки на Луну» или «20 тысяч лье под водой».

— Значит, Том Сойер был на самом деле, а Дик Сэнд выдуман?

— В Томе Сойере много от самого Марка Твена, каким он был в детстве. И его персонажи действуют в тех местах, которые писателю были хорошо знакомы.

А у Жюля Верна события происходят на далеком континенте, на дне океана или в межзвездном пространстве, где автор никогда, разумеется, не был. Обширнейшие познания и воображение заменили ему живые картины. И все-таки совершенно без живых впечатлений писатель работать не может.

Я вполне допускаю, что Жюль Верн был знаком с каким-нибудь молодым и решительным конторщиком или галантерейщиком. Встречаясь с ним, писатель присматривался к нему, а в один прекрасный день, дав ему имя Дик Сэнд, мощью воображения перенес его на палубу корабля. Но я хочу обратить внимание на одно обстоятельство: Жюль Верн умел создавать положения и характеры, которые не вызывали со-

мнения в их подлинности. И обо всем рассказывал с такой убедительностью и точностью, будто сам совершил полет на Луну или опускался в глубь земного шара.

— А как возникает такой дар? — спросил Аркадий.

— Одни с этим рождаются. Другие развивают.

— Его можно развить?

— Конечно. Все можно развить, как мышцы, — и память, и воображение, и быстроту мысли. Но это долгий разговор. Мы к нему еще вернемся. А пока я рекомендую прочесть из романов Жюль Верна еще что-нибудь.

Взяв «Таинственный остров» и «20 тысяч лье под водой», Аркадий стал торопливо прощаться. Глядя на него, начали прощаться и другие ребята. И каждый, уходя, уносил с разрешения Галки кто рубанок, кто кожаный футляр с подозрительной трубой, третьему зачем-то понадобился барометр в деревянной оправе.

Последним с дивана вскочил мальчик в пиджаке с отца плеча. Звали его Васей. Лет двенадцати, с густыми светлыми волосами, он был неумело подстрижен дома, и челка над правой бровью была короче, нежели над левой. Издали казалось: Вася чему-то удивился и это удивление застыло на его лице.

Мальчик был сыном кожевника, в кожу его рук вьелся коричневый дубильный раствор — Вася давно помогал отцу.

Уже в прихожей, надев шапку, Вася вспомнил, что не положил на место прозрачные камушки, которые в зависимости от освещения меняли свой цвет. Вася скинул сапоги, вернулся босиком в комнату, взял со столика три позабытых камешка, которые сейчас, при керосиновой лампе, отливали изумрудно-зеленым, положил их на полку и нечаянно задел закатанным рукавом пиджака раковину — нежно-розовую, со множеством отростков. Шорох в ней напоминал и шум прибора, и стремительное скольжение ветра в натянутых снастях, а иногда в ней слышался далекий пастуший рожок, который выводил одну и ту же простую мелодию.

Раковина упала и разбилась.

— Я не хотел, я не хотел! — в испуге закричал Вася. — Это она сама! — Слезы покатались по его лицу, и он их вытирал все тем же злосчастливым подвернутым рукавом.

Галка, который стоял в коридоре, провожая учеников, увидев, что случилось, внезапно залился своим странным каркающим смехом.

— Спасибо... тебе, Вася... спасибо... а то мне эта раковина сильно надоела. А выбросить... жалко.

Лицо Васи из бледно-зеленого стало пунцово-красным. И счастливым.

— Я соберу,— обрадовался он и наклонился к разбитой раковине.

Галка перестал смеяться и кинулся в комнату.

— Не надо. Я сам. Здесь острые края.

И начал собирать осколки, но не веником и совком, а руками — и каждый осколок отдельно. Один залетел в щель между шкафами. Галка бережно обтер его ладонью и, прижимая к себе остатки раковины, унес их в мастерскую.

«Нет, он не собирался ее выбрасывать,— понял Аркадий.— Она ему очень дорога. Но как же он сумел так весело засмеяться?»

Вася через день пришел с отцом. Васин отец был одет в новое пальто и сапоги с блестящими калошами. У него было бородатое молодое лицо, но того болезненного цвета, когда человек долго не бывает на свежем воздухе или у него больны легкие. Вася, тоже одетый в новое длинное пальто, жался сзади. Отец держал в руках перевязанный бечевкой пакет в нарядной подарочной бумаге.

— Вот, значит, уважаемый,— сказал Васин отец,— Вася мне сказал... Я ездил в Нижний.— И, пошуршав жесткой бумагой, вынул сначала коробку, а из нее раковину — розовую с белым, с симпатичными темными крапинками.— Самая лучшая,— добавил с тревогой Васин отец. Он, видимо, опасался, что раковина учителю не понравится и нужно будет искать более дорогую.

А Галка закричал высоким сердитым голосом:

— Отвезите все это обратно! Мне и та была не нужна! А эта тем более! Заберите! А ты, Вася, идем заниматься.— И, обняв мальчика за плечи, увел его в комнаты.

Васин отец торопливо спрятал раковину обратно в коробку. Вид у него был обрадованный и смущенный: надо полагать, раковина стоила немалых денег.

2. Совет на всю жизнь

— Вы почему долго не приходили? — спросил Галка, когда Аркадий появился у него после значительного перерыва.

— Много забот по дому,— солидно ответил Голиков.— И кроме того, я начал одно серьезное дело.

И он протянул стопку карточек, нарезанных из плотной

бумаги. Они были заполнены его старательным мелким почерком. Галка быстро их просмотрел.

— Зачем это вам?

— Вы сами говорили: у Жюль Верна была картотека. И в ней все про заморские страны, растения, животных, крокодилов.— Заметив скучающий взгляд учителя, встревожился: — Разве это плохо?

— Что и для чего вы собираетесь заносить на карточки?

— Но Жюль Верн...

— Он был ученый и писатель. Ему для работы нужна была абсолютная точность названий, особенностей растений, условий климата... Вы тоже собираетесь сочинять романы?

— Нет-нет,— испугался Аркадий.— Но я хочу точно про насекомых, акул, вулканы...

— Для этого существуют энциклопедия, учебники... А главное — если через месяц я пожелаю взглянуть вот на эту карточку про меч-рыбу, вы ее, скорее всего, не найдете.

— А как же быть, если мне понадобится... про меч-рыбу?

— А для чего же память? Было время, когда не существовало письменности. Все сведения о природе, способах добывания огня, приемах охоты на громадных животных с помощью примитивных орудий, сведения о том, когда сеять, а когда снимать урожай, и о многом другом хранила из поколения в поколение только человеческая память. Если бы случилось такое несчастье, что сразу все люди лишились бы способности помнить, человечество исчезло бы. Оно бы не выжило.

— Но тогда мало знали.

— Ошибаетесь. Нашим предкам было известно такое, о чем мы уже не имеем понятия. Они читали следы зверей и птиц — иначе как же охотиться и выслеживать? Великолепно распознавали запахи — это часто помогало уберечься от опасности. Знали абсолютно все растения: какие пригодны в пищу, какие для лечения, а какие ядовиты, и их нужно остерегаться. В деревнях и сейчас это знают. Там живут старушки, которые, взглянув на небо, скажут, какая погода будет завтра. Или заявят: «Раз сегодня дождь, то лить он будет сорок дней». И действительно, дожди начинают лить без остановки.

Вот здесь, на полках, стоят «Илиада» и «Одиссея». Их, по преданию, сочинил слепой поэт Гомер. Прошло много времени, прежде чем их записали. А до этого тысячи людей запоминали их с голоса, слово в слово.

— Сейчас такой памяти уже не бывает,— вздохнул Аркадий.

— Бывает. У нас в Арзамасе священнослужители помнят

наизусть Библию. Да и не одну только Библию. Много других текстов, которые они считают важными. Наша память нуждается в том, чтобы ее загружали. Она любит работать. И чем больше ей приходится работать, тем лучше она это делает. Поэтому есть люди, память которых изумляет.

Я слышал на Севере сказительницу, которая три дня при мне пела песни, былины, веселые частушки — и ни разу не повторилась. Думаю, она помнила не меньше Гомера. Потому я и говорю: все, что вам может понадобиться, запоминайте — места, где вы побывали, названия растений, повадки птиц, оттенки заката, исторические события, страницы книг, которые вам особенно понравились. И свои толковые мысли запоминайте тоже. Листок или карточка могут затеряться. А голова всегда будет при вас.

Человек с отличной памятью, — продолжал Галка, — богатый человек. То есть денег и драгоценностей у него может и не быть. Зато ни один прожитый день для него не проходит бесследно. Все увиденное, пережитое, услышанное, понятое остается с ним. Мы никогда не знаем, что нам из прошлого опыта понадобится. И чем богаче наша память, тем в сложных и опасных ситуациях мы защищенней. Обратите внимание, как много полезного помнят герои Жюль Верна — и это помогает им выжить.

Аркадий кивнул. Он был растерян. Он испытывал изумление перед могуществом человеческой памяти и сожалел, что у него не будет такой памяти, как у Гомера или хотя бы как у самого Галки, который стихи Гюго на уроках читал на французском, поэму Байрона — на английском, сонеты Петрарки — на итальянском, а восточных поэтов — на японском или китайском языке. Аркадий машинально рвал ненужные ему теперь карточки с выписками. Лоскутки падали на колени и сползали на пол. Галка это заметил, но ничего не сказал.

— А если у меня слабая память? — с тревогой произнес Аркадий.

— Слабая память только у больных, — жестко ответил Галка. — У большинства она бывает просто ленивой.

— Но тетя Даша меня о чем-нибудь попросит, а я забываю.

— Память здесь ни при чем. Вы невнимательны. А у рассеянных людей хорошей памяти быть не может. Чтобы что-то запомнить, надо сосредоточиться. Этому тоже учатся. Я был во время своего путешествия в тибетском храме. — Галка снял с полки позолоченную фигурку Будды. — Там не только молятся, там готовят ученых монахов, в том числе врачей. И врачей

превосходных. И нам показывали, как воспитывают внимание и память у будущих тибетских врачей.

Каждому ученику давали цветок. И за минуту, которую отмеряли песочные часы, нужно было разглядеть и запомнить количество и форму лепестков, тычинок и листьев, их расположение на стебле. Если цветок увядал, то нужно было сказать, сколько лепестков увяло и как изменилась их окраска. Или в комнату входил человек в диковинном одеянии — и за несколько секунд требовалось разглядеть и запомнить, во что он одет, обут, какие на нем украшения и даже число пуговиц на рукавах и груди. Без внимания и предельной сосредоточенности это было бы невыполнимо.

Напоследок я могу только добавить: когда я сам учился в гимназии, мой преподаватель словесности советовал: «Учите каждый день стихи или отрывки прозаического текста. Или иностранный язык. Потраченное время с лихвой вернется к вам. Вам будет легче постигать науки, и меньше усилий потребуется для избранной деятельности...»

Голиков не помнил, когда он ушел от Николая Николаевича. Он только помнил, что ходил по темному городу, не разбирая, где дорога, где лужи. И дал самому себе слово, что разовьет память и наблюдательность еще лучше, чем эти монахи-лекари, и сможет, взглянув на страницу учебника, сразу все понять и запомнить. А если попадет к папе на фронт, то попросится в разведку, обманом проникнет в немецкий штаб, взглянет на их карты — и запомнит расположение линий и стрелок. Глянет на бумаги, оставленные на столе, — и запомнит все, что там будет написано, доставит эти сведения в штаб русской армии. Ему, как и положено герою, седовласый генерал приколет к груди Георгиевский крест. И портрет реалиста Голикова появится в журнале «Нива».

Аркадий принялся старательно учить французский и немецкий, которыми раньше занимался спустя рукава. С немецким все обстояло благополучно, а во французском ему, как и Кудрявцеву, не давалось произношение. Поначалу Наталья Аркадьевна терпеливо исправляла ошибки, но у него оказался плохой слух, и оттенки произношения ускользали. Однако для себя Аркадий решил: «Пусть я не буду говорить по-французски, как парижанин, зато я буду свободно читать и писать».

Обладая отличной зрительной памятью, он выучивал наизусть целые страницы французских книг, которые сам себе читал вслух. Его старание было столь очевидно, что даже Ведыма не ставила ему двоек.

Он любил открыть перед сном синий томик Гоголя. В особенности «Сорочинскую ярмарку». И вскоре обнаружил: то, что

он прочитал накануне вечером, он мог слово в слово повторить наизусть утром. Еще легче запоминались стихи.

Аркадий был полон впечатлений от книг, которые давал ему Галка (так много он еще никогда не читал). Его не покидало радостное возбуждение от того, что он видел результаты своих усилий по развитию собственных способностей. Да и усилия-то понадобились не бог весть какие. Главное, Галка подсказал ему путь.

Аркадий снова стал сочинять стихи. Даже на уроках он вынимал из ранца тетрадку и торопливо заносил в нее пришедшие в голову строки. Товарищи это заметили и стали просить, чтобы он им почитал. Помня злосчастное сочинение, Аркадий краснел и долго отнекивался, но его уговорили. Однажды после занятий, когда в классе собралось несколько человек, Аркадий прочитал восьмистишие, посвященное отцу.

— Здесь недостает одной строфы, — заметил Шурка Плеско. Он был на год старше Аркадия и слыл в училище эрудитом. — Дopiши. В субботу мы проводим благотворительный вечер в пользу выздоравливающих солдат. И ты выступишь. Под музыку.

— Но я никогда не выступал. Тем более под музыку. У меня и слух не того...

— Мы дадим тебе замечательного аккомпаниатора. Адька Гольдин у нас играет на рояле, как Паганини.

— Паганини вроде был скрипачом, — робко напомнил Аркадий. — Играл на одной струне.

— А у нас Гольдин, как Паганини, играет на рояле, — авторитетно заметил Шурка: он не любил, когда с ним спорили.

Страх выступления в переполненном зале, да еще под музыку, боролся в душе Голикова с желанием помочь собрать деньги для солдат. И потом, вдруг какой-нибудь выздоравливающий вернется в полк, где служит отец?..

— Хорошо, — согласился Аркадий, — только пусть Адька играет не слишком громко.

Вечер состоялся в городском театре. Аркадий впервые увидел свое имя на афише. Правда, оно было набрано самыми мелкими буквами.

Аркадий и Гольдин поднялись на сцену. Аркадий был невысок, а Гольдин еще меньше. И оба выглядели со сцены совсем маленькими. Голиков и Адька неумело поклонились. В зале раздался доброжелательный смех. Гольдин сел к роялю и взял первый аккорд. Аркадий от волнения его не услышал. Гольдин, нажимая для громкости на педали, повторил — в зале снова зашумели. Наконец Аркадий совладал с собой и прочитал стихи хорошо, а Гольдин вообще показал себя виртуозом. Мальчиш-

кам долго аплодировали, но у них был подготовлен всего один номер. Пришлось исполнять его второй раз.

С этого дня Аркадия приглашали на все благотворительные вечера. Он читал не более двух-трех своих стихотворений, но, если публика его не отпускала, начинал декламировать Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко. А со временем включил в программу прозу Лермонтова, отрывки из повестей Гоголя и Льва Толстого.

Однажды Голиков дежурил в классе. Во время перемены через приоткрытую дверь он услышал спор, который возник в коридоре.

— Да не помнит он всего наизусть,— говорил одноклассник Мешалкин.— Он пересказывает Толстого и Гоголя близко к тексту.

— Нельзя так точно пересказывать, легче запомнить.— Аркадий узнал голос Борьки Доброхотова, сына владельца городской типографии. Он был мальчишкой начитанным.

— Я докажу,— не унимался Мешалкин.— В следующий раз на Аркашкино выступление я возьму книгу и буду следить... Пари?

— Со мной,— распахнул дверь Голиков.— Спорим на «американку».

Мешалкин побледнел: проигравший «американку» был обязан выполнять любые желания победителя. Многие реалисты таким образом надолго попадали в рабство к одноклассникам.

— Разрешаю взять свои слова обратно,— великодушно предложил Аркадий.

— Нет.— Лицо Мешалкина покрылось круглыми пятнами: отступать ему было поздно.

— Тогда «американка».

— На три желания,— поспешно уточнил Мешалкин.

— Согласен. Проверку устроим после уроков. Книги принесешь сам.

После занятий остался почти весь класс. Мешалкин принес из школьной библиотеки однотомник Гоголя.

— Проверяй по «Сорочинской ярмарке» или «Мертвым душам»,— предупредил Аркадий.

Он стоял у доски. Мешалкин с раскрытой книгой сидел за первой партой. Вокруг него сгрудились остальные, чтобы следить по тексту.

— «Прежде, давно, в лета моей юности...» — начал Мешалкин.

— «...в лета невозвратно мелькнувшего моего детства,— подхватил Голиков,— мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту».

— Это потому, что начало главы,— торопливо произнес Мешалкин и раскрыл книгу в другом месте.— «Слова хозяйки были прерваны странным шипением...» — стал он читать снова.

— «...так что гость было испугался,— продолжал без малейшего усилия Аркадий,— шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить».

Слушатели восторженно зашумели: одно дело, когда ты сидишь в зале и выступает декламатор, а другое, когда идет такое состязание. Но Мешалкин решил не сдаваться. Он снова перелистнул изрядное количество страниц.

— «Между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность»,— начал он.

— «...показался из последней комнаты Ноздрев,— подхватил Голиков.— Из буфета ли он вырвался, или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волею, или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени...»

— Считаю проверку законченной,— заявил Борька Доброхотов.— Мешалкин проиграл. Аркадий, твое первое желание. Брат, между прочим, прислал Мешалкину отличный карманный фонарик и полдюжины батареек. Вечером включишь на улице — всю улицу видно.

— Да, фонаря у меня нет,— признался Аркадий,— свой я отдал матери. Она часто поздно возвращается.— И посмотрел на Мешалкина — у того был совершенно несчастный вид.

И Голиков подумал: как бы он себя чувствовал, если бы отец прислал с фронта подарок, а он, Аркадий, этот подарок проспорил бы?

— Фонаря у меня нет,— с сожалением повторил Аркадий.— И первое желание у меня такое...— Он выдержал длинную паузу.— Мешалкин, за месяц ты должен выучить «Сорочинскую ярмарку». А если не выучишь, заберу фонарь.

Весть о необычном пари разошлась по городу. Голикова стали приглашать в другие школы. И он особенно был польщен, когда явилась делегация из женской гимназии. Проверять Аркадия по книге, как Мешалкин, в других школах стеснялись, но зато во время выступлений его просили из зала:

— Прочтите, пожалуйста, из «Тамани».

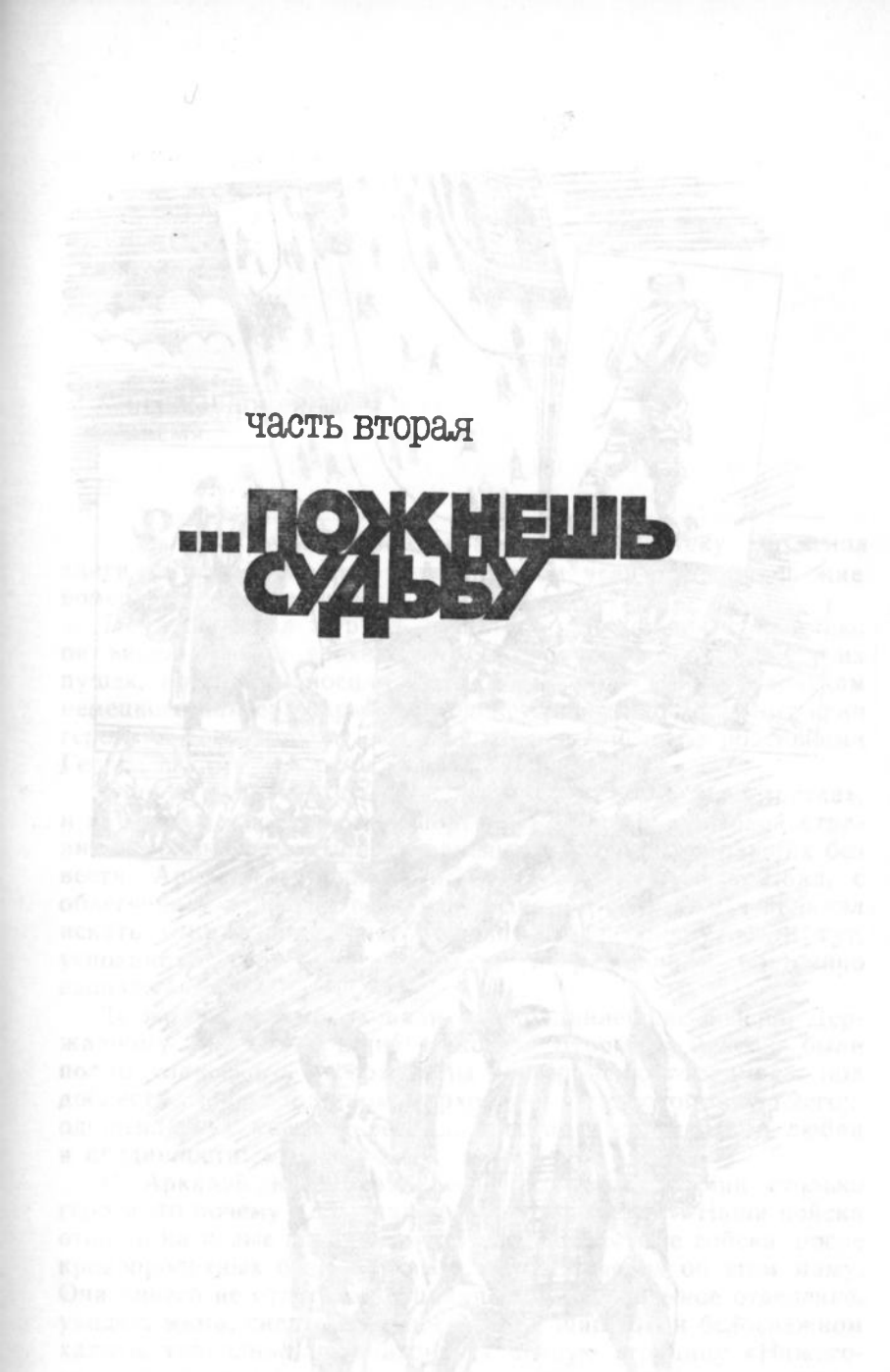
— Из «Капитанской дочери».

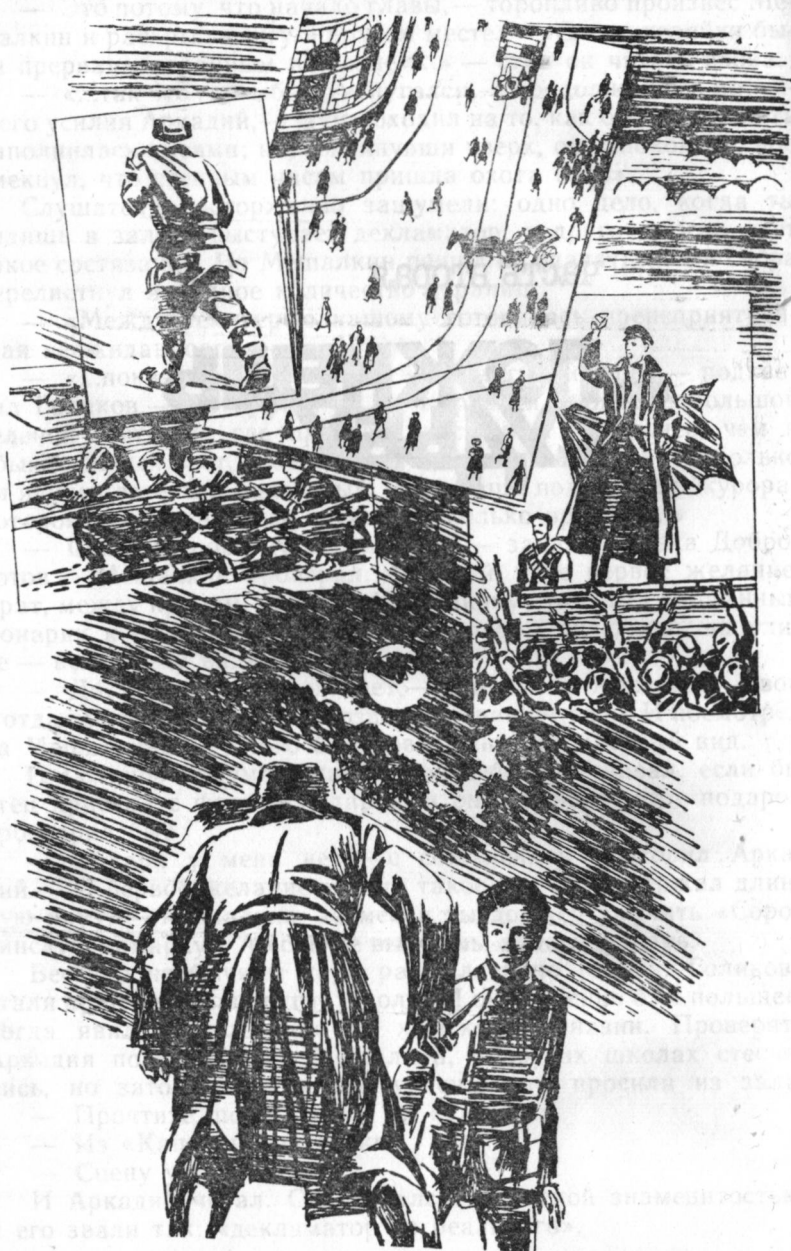
— Сцену у Манилова.

И Аркадий читал. Он сделался городской знаменитостью, и его звали так: «декламатор из реального».

часть вторая

...ПОЖНЕШЬ СУДЬБУ





НЕОБЫКНОВЕННОЕ ВРЕМЯ

Раз в неделю Аркадий ходил в библиотеку. Он менял книги, а потом садился в темноватом углу и читал свежие номера журнала «Нива» и газеты.

Пока он читал журнал, душа его наполнялась гордостью: он видел снимки грозных русских бронепоездов и могучих пушек, которые наносили сокрушительные удары по войскам немецкого кайзера. Аркадий подолгу разглядывал фотографии героев — разведчиков, летчиков, артиллеристов с новенькими Георгиевскими крестами на гимнастерке.

Однако стоило взять подшивку «Нижегородского листка», и настроение моментально портилось. На самой первой странице публиковались списки раненых, убитых и пропавших без вести. Аркадий торопливо и с опаской их проглядывал, с облегчением вздыхал, не найдя знакомой фамилии, и начинал искать отца в числе награжденных. Не обнаружив и тут, успокаивал себя, что указы о награждениях постоянно запаздывают.

Те же газеты публиковали «всеподданнейшие депеши Державному Вождю» — царю Николаю Второму. Депеши были полны словесного мусора: «Мы восторженно гордимся... под доблестным руководством Верховного Главнокомандующего... одушевленные твердой верой... чувства беспредельной любви и преданности...»

И Аркадий недоумевал: если в русской армии столько героев, то почему в сводках то и дело читаешь: «Наши войска отошли на новые позиции...», «Наши доблестные войска, после кровопролитных боев, оставили...». Он спросил об этом маму. Она ничего не ответила. А придя к ней в приемное отделение, увидел: мама, сидя в накрахмаленной шапочке и белоснежном халате, торопливо просматривает первую страницу «Нижегородского листка»...

Вечером Аркадий спросил о том же Галку. Учитель встал из-за стола, прошелся вдоль книжных шкафов, плотно прикрыл дверь в прихожую.

— Мы не были готовы в 1904 году,— произнес он наконец,— когда началась война с Японией. Мы оказались не готовы и теперь. Помимо этого возникла опасная и двусмысленная ситуация. Наша царица, Александра Федоровна,— родная сестра кайзера Вильгельма. Вряд ли она желает поражения своей родине — Германии. И ходят слухи, что она тайком переписывается со своей родней.

— А царь знает, что его жена — немецкая шпионка?!

— Аркадий, не так громко,— предостерег его Галка.— Известно только одно: если царь уезжает, как главнокомандующий, на фронт, то многие дела внутри страны вершит Александра Федоровна. И что она делает для блага России, а что для блага Германии...— Галка развел руками.

Арзамас наводнили беженцы. Они прибывали из мест, захваченных противником. Снова сильно подорожали продукты. Тетя Даша уходила в очередь за крупой и хлебом с ночи. А как-то в класс, где учился Аркадий, один из купеческих сынков явился с опозданием. И на левой его щеке запечатлелась пятерня.

— В чем дело? — спросил преподаватель математики.— Вы дрались на улице?

— Это отец...— Лицо мальчика скривилось от обиды.— Я хотел, он не пускал...

В перемену выяснилось, отец оставлял сына считать деньги — выручку в дом носили мешками, а мальчику это надоело.

И вдруг в марте семнадцатого года в реальном после занятий накрепко заперли двери на улицу. Ребята, уже одетые в шинели, бегали по вестибюлю и коридорам. А сторож объяснял, что выполняет распоряжение инспектора Лебязьева.

Площадь перед училищем заполонили толпы. Они несли красные полотнища на длинных палках. Никаких демонстраций в Арзамасе отродясь не было. Один из старшеклассников крикнул:

— Братва, айда в туалет! Оттуда вылезем на улицу!

В туалете на первом этаже с треском открыли закопаченное окно, и ребята стали прыгать в снег. Аркадий прыгнул тоже.

С высокого крыльца дома, что напротив училища, выступал человек в солдатской папахе и запачканной мазутом шинели железнодорожника.

— Граждане,— говорил рабочий,— поздравляю вас с небывалым праздником: царь Николка, Николай Второй, по

прозвищу Кровавый, который велел расстреливать рабочих в 1905 году, царь, из-за которого мы несем столько поражений, отрекся от престола. Теперь у нас будет Временное правительство!

Люди закричали «ура», мальчишки от радости засвистели. А. Голиков подумал: «Раз не будет царя, то не будет и царицы. Это ясно. А когда же кончится война и вернется папа?»

В училище после митинга началось невдобразимое. Реалисты собрались в актовом зале, начали свистеть и кривляться перед портретами царя и царицы, кидая в физиономию Николая и Александры Федоровны карандаши и резинки. Конец беспорядку положил директор, который велел сторожу унести портреты.

В городе замелькали люди в красных рубашках. Они называли себя эсерами. А затем появились другие — в черных. Они именовались анархистами. Кроме того, появились кадеты и трудовики. И все они призывали на митингах рабочих и мужиков окрестных сел пополнять их ряды. Народ недоумевал: какая же партия самая стоящая? На помощь пришел отец Павел. В своей проповеди в Воскресенском соборе он объяснил, что социалистом и революционером был еще Иисус Христос. И арзамасские обыватели повалили записываться в эсеры.

✓ Аркадий старался не пропускать ни одного митинга. Он хотел понять главное: когда же закончится война?.. Но ораторы говорили в своих речах о чем угодно, кроме этого. А в газетах он прочитал: без свергнутого царя народ освобожденной России будет воевать с удвоенной силой.

Но одно объединяло всех ораторов: они дружно ругали большевиков и Ленина. Да и газеты писали о большевиках недоброжелательно и странно.

Совершенно сбитый с толку, Аркадий обратился к отцу.

«Милый, дорогой папочка!

Пиши мне, пожалуйста, ответы на вопросы:

1. Что думают солдаты о войне? Правда ли, говорят они так, что будут наступать лишь только в том случае, если сначала выставят на передний фронт тыловую буржуазию и когда им объяснят, за что они воюют?

2. Не подорвана ли у вас дисциплина?

3. Какое у вас, солдат, отношение к большевикам и Ленину? Меня ужасно интересуют эти вопросы, так как всюду об них говорят.

4. Что солдаты, не хотят ли они сепаратного мира?

5. Среди состава ваших офицеров какая партия преобладает?.. Какой у большинства лозунг? Неужели — «Война до

победного конца», как кричат буржуи, или «Мир без аннексий и контрибуций»?..

Крепко целую. Твой сын Аркадий Голиков.

Пиши мне на всё ответы, как взрослому, а не как малютке»*.

Но письма с фронта шли долго. Не дождавшись ответа, Аркадий пошел к Галке.

— За что,— спросил он,— все ругают большевиков?

— Кого же вы слушаете? — спросил Галка. — Выездных лабазников, мясников, семинаристов, мечта которых поскорее стать попами? Вот погодите, я отведу вас вечером в клуб большевиков.

Они пришли в деревянный дом на Сальниковой улице, окруженный густым садом. Еще по дороге Галка сообщил, что большевиков в городе всего двадцать человек.

— А вы? — спросил Голиков.

— Я тоже большевик,— улыбнулся Галка.

Народу в клубе набралось битком: солдаты из госпиталей, расконвоированные пленные австрийцы, рабочие с кошмоваляных и кожевенных заводов. И вдруг среди шинелей и темных пальто Аркадий заметил канареечный кант шинелей реалистов. У дальней стены, за столом с красной скатертью, сидели выпускники прошлого года — Колька Березин и Женька Гоппиус. А между ними — маленькая женщина в темном шелковом платье. Это была Мария Валерьяновна, мать Женьки.

Гоппиусы жили на окраине, возле самого перелеска и кладбища. Существовали они уроками и тем, что сдавали в аренду сад и огород, которые не могли обрабатывать сами. Обыватели говорили, что на окраине Гоппиусы поселились неспроста, и если вечерком возле ихнего дома тихо постоять, то много любопытного можно заметить: и народ к ним загадочный ходит, и свертки носят, — не иначе как мама с сыном скупают краденое, а потом на базаре в Нижнем перепродают.

— А мать Женькина тут чего делает? — неприязненно спросил Аркадий, вспомнив обывательские разговоры.

— Что делает? — Галка загадочно усмехнулся. — Мария Валерьяновна Гоппиус — самый главный наш большевик. А Женя и Коля Березин — ее главные помощники. Пойдемте, я вам все расскажу.

В тот же вечер Аркадий узнал, что Мария Валерьяновна Виноградова родилась в семье чиновника, вышла замуж за состоятельного инженера-путейца Гоппиуса, который, между прочим, строил арзамасский вокзал. А судьбу свою Мария Валерьяновна связала с революцией. Ее арестовывали и ссылали. В тюрьмах, во время переездов она потеряла троих детей.

От нее ушел муж. Но Мария Валерьяновна продолжала революционную работу. Живя в Арзамасе в ссылке, она тайно создала большевистскую организацию.

Голиков стал ходить в клуб на Сальникову улицу каждый день и однажды услышал то, что ему всего важнее было знать.

— Наша партия и Ленин,— заявил один из ораторов,— стоят за то, чтобы крестьяне получили землю и чтобы солдаты разошлись из окопов по домам!

Аркадий хотел подойти и спросить: «А когда она кончится, эта война?», но постеснялся. Зато его заметила Мария Валерьяновна и подозвала к себе.

— Мальчик,— спросила она,— ты чей? И что ты каждый вечер у нас делаешь?

Вопрос ее прозвучал холодновато, будто она Аркадия в чем-то подозревала. Аркадий растерялся. На помощь пришел Женька.

— Мать, это Аркашка Голиков, сын фельдшерицы из родильного отделения. Его привел Соколов.

— А где, Аркаша, твой отец? — уже мягче, потеплевшим голосом спросила Гоппиус.

— На войне. Мы получили вчера от него письмо: солдаты избрали его командиром полка.

— Поздравляю,— сказала Мария Валерьяновна.— А ты бы не согласился нам кое в чем помочь?

— Конечно. А что нужно? — обрадовался Аркадий.

«ПОНЕМНОГУ СТАЛИ ОНИ ДОВЕРЯТЬ МНЕ»

Первое задание оказалось неожиданным. Аркадий возвращался из библиотеки домой и встретил Марию Валерьяновну и Софью Федоровну Шер. Они были чем-то возмущены. А Софья Федоровна к тому же придерживала рукой край широкой юбки. Аркадий заметил, что юбка порвана.

— Здравствуйте. Что случилось? — спросил он, останавливаясь.

— Он спустил на меня и Марию собак! — возмущенно произнесла Софья Федоровна.— Он кричал: «Вы — ленинские шпионки». И собаки нас кусали.— Шер правильно строила фразы и неправильно ставила ударения. Она была немка.

Лет десять назад Софья Федоровна приехала в Россию гувернанткой. Вышла замуж. У нее родилось четверо детей. Это

не помешало ей вступить вместе с мужем в революционную организацию. В доме Шеров в Ярославле обнаружили склад динамита. И своего пятого ребенка Софья Федоровна едва не родила в тюрьме. По счастью, учитывая многодетность, котор-гу ей заменили ссылкой в Арзамас. Теперь она помогала Гоп-пиус.

— Кто спустил собак? — не понял Аркадий.

— Фабрикант Мочалов, — ответила Мария Валерьянов-на. — Мы хотели провести у рабочих митинг.

— И он не дал?! — возмутился Аркадий. — Обождите. Я сейчас.

Когда Аркадий прибежал к воротам фабрики, они были закрыты. А возле проходной на длинном поводке бегали две быстрые собаки и нервно прохаживался молодой конторщик с охотничьим ружьем. Голиков не стал с ним разговаривать. Он обогнул ограду, нашел в ней лаз и, быстро миновав двор, вошел в грязный, закопченный цех, где от испарения из чанов и за-старелых запахов нечем было дышать.

— Товарищи рабочие! — громко крикнул Аркадий. — Я от комитета большевиков. Для проведения митинга к вам шли две женщины. Им поручили потребовать, чтобы заводчик Мочалов ввел восьмичасовой рабочий день. Но Мочалов их не пустил. Больше того, он натравил на них собак...

— Травил женщин собаками?! — произнес пожилой рабо-чий, вытирая фуражкой вспотевший лоб.

— А ну, мальчонка, покажи, где эти представители... Мы их сами на завод проведем... — выкрикнул молодой парень, откатывая тележку с пустыми ящиками.

Митинг состоялся. Мочалову пришлось ввести восьмича-совой рабочий день вместо десятичасового, сохранив прежнюю зарплату.

...Политическая обстановка в городе становилась напря-женной. Перед выборами в Учредительное собрание началась борьба за голоса. Большое влияние приобрели кадеты — кон-ституционные демократы. Они выступали за возвращение на трон царя, власть которого следовало, по их мнению, ограничить парламентом и конституцией. В Арзамасе у кадетов нашлось много сторонников, которые желали видеть во главе страны «помазанника божия» из дома Романовых.

В реальном училище кадетов активно поддерживал ин-спектор Лебяжьев, тот самый, который оставил Голикова на два часа без обеда за катание на перилах. Вся учительская была завалена увесистыми пачками листовок на голубоватой бумаге. Лебяжьев приглашал к себе учеников из поповских или купеческих семейств, вручал им листовки и посылал раздавать

на улицах. Ослушаться Лебяжьева никто не смел, поэтому реалистов с листовками видели и на базаре, и в торговых рядах, и возле кинотеатра. Каждому прохожему они норовили вручить голубоватый листок.

Среди дня в кабинет Лебяжьева постучался Аркадий.

— Голиков, вы что хотели? — официальным тоном спросил инспектор.

— Дмитрий Николаевич, я бы тоже хотел раздавать листовки.

— Вы? — Инспектор был озадачен.— Но я прошу это делать лиц, коим содержание и программа близки по духу. А вы, я полагал, вместе с господином Соколовым, с которым у нас...

— Я с Галкой, извините, с Николаем Николаевичем не во всем согласен...

— Приятная неожиданность.— На неподвижном лице Лебяжьева появилась неумелая улыбка, Аркадий видел ее впервые.— Возьмите, сколько сочтете нужным,— и показал на развязанную пачку, в которой оставалось менее половины.

— Я хочу целую. Я собираюсь на митинг...

— Пожалуйста. Ежели вам не хватит, милости прошу, приходите еще,— произнес Лебяжьев: такого старания среди учеников еще не проявлял никто.

Голиков унес за день пять полных пачек. Они были сожжены во дворе дома Гоппиусов.

ЖАРКАЯ ОСЕНЬ

В сентябре 1917 года начались занятия в реальном. За лето Аркадий подрос, стал наливаясь силой, в его движениях появились уверенность и спокойствие. Он аккуратно ходил на уроки, собранно и споро выполнял домашние задания, по всем правилам, как советовал Николай Николаевич, готовил и писал домашние сочинения. И много читал. Именно в эту осень он открыл для себя Шекспира, «Анну Каренину» и «Казаков» Льва Толстого, «Обрыв» Гончарова, «Преступление и наказание» Достоевского, а так же задиристые, бесстрашные в готовности ниспровергнуть любые авторитеты статьи Писарева. Галка дал ему «Путешествие на корабле «Бигль» Чарлза Дарвина. После этой книги Аркадию захотелось непременно прочесть «Историю цивилизации в Англии» Бокля.

Аркадия заинтересовала судьба автора. Оказалось, что Герберт Томас Бокль ни дня не учился в школе. Путем

самообразования за короткий срок овладел 19 языками и основами многих наук, став выдающимся ученым. Аркадия всегда волновали судьбы людей, которые проявляли исключительную волю и замечательные способности.

Между тем революция коснулась и училищных порядков. Была уволена преподавательница французского по прозвищу Ведьма, которая покалечила столько мальчишеских судеб. На ее место пригласили молоденькую учительницу Софью Владимировну Бернатович. Одного из преподавателей отстранили от работы за оскорбительное высказывание в адрес Льва Николаевича Толстого. Была отменена общая молитва перед началом занятий. Посещение уроков закона божьего стало добровольным. «Я не хожу на уроки закона божьего!»* — записал Аркадий в дневнике. В семье Голиковых в бога не верили.

В училище прошли выборы классных комитетов. В своем классе Аркадий получил двадцать голосов. Его соперник, Борька Доброхотов, набрал только четырнадцать. Остальные и того меньше. Как председатель комитета, Аркадий имел теперь право высказывать администрации пожелания учащихся, и администрация была обязана к мнению учеников прислушиваться. Когда руководству училища однажды показалось, что мальчишки слегка зарвались и не обязательно выполнять их требования, Голиков посетил директора и очень вежливо предупредил: возможна забастовка. Чем она могла закончиться, предвидеть было трудно. И администрация пошла на уступки.

Справедливость требует сказать, что в своем классе Голиков навел порядок. Он добился полного спокойствия на уроках, включая закон божий.

— А у попа-то чего тихо сидеть? — возмутился неугомонный Гришка Мелибеев.

— Можешь не ходить к нему на уроки — это дело твоих убеждений, но, если пришел, веди себя, как положено революционному учащемуся.

Той же осенью Голиков организовал в своем четвертом классе рукописный журнал «Свет». Не менее половины каждого номера заполняли его стихи и статьи. А когда Аркадий узнал, что в школе готовится постановка пьесы Гоголя «Игроки», он выпросил у Галки роль обманутого обманщика Глова.

После того как в училище заканчивались занятия, для Аркадия начиналась еще более напряженная жизнь. По заданию большевистского комитета он не пропускал ни одного эсеровского митинга, потому что эсеры начали приобретать влияние в уезде. Голиков посещал лекции, которые устраивала

кадетская партия, присутствовал на крестьянском съезде. А через день ходил с кружкой по вокзалу и собирал деньги в пользу раненых.

Большевики вели работу в лазаретах и знали, что раненые сильно нуждаются. Их лечили и кормили, но денег на личные расходы не давали: негде было взять. Аркадий часами стоял со своей кружкой на перроне, объясняя публике, которая проходила мимо: «Граждане, у каждого из нас кто-то на фронте. И любой из наших близких может быть ранен». Люди вздрагивали от его проникновенного голоса, и в кружку Аркадия сыпались медяки, серебряная мелочь и даже ассигнации. Голиков приносил собранное в комитет, и Мария Валерьяновна просила:

— Аркаша, ты уж не поленись, пособирай завтра еще. Уж больно хорошо тебе подают.

Тем временем большевики стали выпускать «Молот» — первую газету за всю историю существования Арзамаса. Редактором ее назначили Галку. Секретарем к себе он пригласил Аркадия.

— Я не знаю, что делать. Не умею,— искренне испугался Аркадий.

— Я тоже не был редактором,— ответил Галка.— Будем учиться газетному делу вместе.

Под редакцию отвели две маленькие комнаты при типографии Доброхотова. В одной Николай Николаевич правил заметки и статьи, планировал номера, в другой Аркадий занимался подпиской, разбирал почту, вырезал из центральных газет статьи, которые считал нужным перепечатать в «Молоте». Когда выходил очередной номер — случалось это не каждый день,— Голиков садился на подводу и развозил тираж по деревням. Вскоре Галка, обремененный многими обязанностями, доверил ему и правку заметок. Править Аркадий не умел и просто их переписывал.

Когда в редакции заканчивался рабочий день, Аркадий брал недавно полученную винтовку со штыком и в паре с кем-нибудь шел патрулем по городу. Контрреволюция все активнее подымала голову, и нужно было принимать меры по охране Арзамаса.

Домой Аркадий возвращался на рассвете, часа два спал, оставлял винтовку, хватал ранец и бежал на занятия в школу. Как председатель классного комитета, он не имел права опаздывать или пропускать уроки.

Со дня на день в городе ожидались уличные бои. Большевистский комитет постановил наладить в срочном порядке военные занятия для всех членов организации. Хотя Голиков

в партии не состоял, ему позволили пройти обучение тоже. Под руководством Туроносова, покалеченного солдата первой мировой войны, Аркадий по-пластунски ползал, окапывался, учился стрелять из винтовки.

В ноябре 1917 года власть в городе перешла в руки Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Во главе его встали большевики. Это привело к объединению против Совета представителей всех остальных партий. Возникли слухи, что в городе готовится восстание, а для руководства им из Нижнего придут переодетые офицеры.

Мария Валерьяновна пригласила к себе Аркадия.

— Мы отдаем тебе под наблюдение Большую улицу, — сказала она. — Будь внимателен ко всем незнакомым и приезжим. Особенно к людям в полувоенном или с хорошей армейской выправкой. Это могут быть офицеры, прибытия которых мы опасаемся.

Голикова на время освободили от других обязанностей, а Галка даже сказал:

— Надо освободить и от посещения школы.

Но воспротивилась Гоппиус.

— Это покажется странным, — объяснила она, — Аркадий не появляется на занятиях, но целый день торчит на улице. Нет, в школу пусть ходит. На первую половину дня мы найдем ему замену.

Началась утомительная работа. После училища Аркадий забегал домой, бросал ранец, наскоро обедал и шел на Большую. До глубокой темноты он будто бы гулял то по одной, то по другой стороне улицы. Он внимательно оглядывал возчиков на санях. Почти всегда это были мужики в солдатских шинелях или овчинных шубейках. Реже возами управляли женщины. Аркадий научился мгновенно схватывать взглядом, что везут. Он спокойно пропускал, когда видел возы с мешками, но зато его настораживали дрова и в особенности ящики. По счастью, ящики на возах попадались нечасто, но если они казались ему подозрительными, он шел, а иногда бежал за возом — предполагалось, что в Арзамас будет доставлено большое количество винтовок. Добежав за санями до торговых рядов, он чаще всего убеждался, что в ящиках привезли антоновские яблоки или репчатый лук, и спешил обратно на свою Большую улицу.

Город был невелик, и добрую половину жителей Голиков знал в лицо. Он помнил физиономии купцов, приказчиков, сидельцев в лавках, целовальников из трактиров, рабочих с фабрик. Помнил в лицо и даже по фамилиям многих выздоравливающих солдат из лазарета, пленных австрийцев, часть

которых сочувствовала революции и Советской власти. Это все облегчало наблюдение.

На четвертый или пятый день, под вечер, Голиков заметил рослую мужскую фигуру в темном пальто и новом картузе. Мужчина нес в руке докторский саквояж.

Аркадий прогуливался по той стороне улицы, что прилегала к перелеску, а мужчина с саквояжем шел по противоположной. Он неумоимо и споро отмерял шаги, словно ему предстоял еще долгий путь. И вдруг, повернувшись, нырнул в дверь кафе «Черная кошка», которое помещалось в двухэтажном доме с балконом. Дверь звякнула колокольчиком и закрылась. Голиков остановился. Он не знал, что делать: войти в кафе, ждать на улице? Бежать к Марии Валерьяновне? А что, если человек с саквояжем тем временем уйдет?

Раздумья Голикова прервал еще один прохожий в длинной солдатской шинели, с котомкой за плечами и хромовых, до блеска начищенных сапогах. Солдаты таких не носили. Правда, на базаре можно было купить какие угодно, даже красные сафьяновые, но сапоги, в которых шел человек с котомкой, были сшиты по ноге. И, одевшись солдатом, незнакомец не забывал их каждый день чистить ваксой и полировать бархоткой.

«А этот куда пойдет?» — с беспокойством подумал Аркадий.

Человек с котомкой остановился, словно желая разглядеть, тот ли перед ним дом, который ему нужен, а на самом деле мгновенно оглянулся и тоже толкнул дверь кафе.

«Надо бежать к Марии Валерьяновне, — понял Аркадий. И заволновался: — А если они уйдут? Как их тогда искать?»

Тут Аркадий заметил худенького, невысокого реалиста. Мальчишка буквально волок большую, как чемодан, папку для нот. Голиков узнал одноклассника и своего аккомпаниатора, сына зубного врача Адьку Гольдина. Адька жил на соседней улице, в просторном деревянном доме, известном по множеству фотографий, которые печатались в газетах и журналах: находясь в ссылке в Арзамасе, этот дом арендовал Алексей Максимович Горький. Адька по этому поводу сильно воображал. Но сейчас Аркадий обрадовался Гольдину.

— Адька, — крикнул он, — ты чего такой печальный?!

По привычке Гольдин насторожился: его часто дразнили, а случалось, и били, но по лицу Аркадия он увидел, что Голиков рад ему, и Адька заулыбался.

— Да училка по музыке: «Мало работаете... с вашими способностями...» — начал рассказывать Гольдин.

— Не грусти, Адька, — перебил его Аркадий. — Хочешь кофе с пирожным?

— Хочу! — весело засмеялся Гольдин: он любил и понимал шутки.

— Идем в кафе!

— Да ты что?.. Откуда у тебя деньги? — Взгляд Адьки стал отчужденным и подозрительным.

— Отец прислал, — соврал Аркадий. — Да одному идти неохота. Идем, угощаю.

Они пересекли улицу. Аркадий толкнул дверь в кафе¹ и поманил Гольдина. Тот несмело двинулся за ним.

Помещение было небольшое. Голиков сразу заметил незнакомца с саквояжем и второго, в надраенных сапогах. Они сидели в офицерских кителях без погон в компании, которая собралась за двумя сдвинутыми столиками. Несмотря на дороговизну, перед ними поблескивали графинчики с водкой, стояла рыба, икра, колбаса. Аркадию сильно захотелось есть. И даже Адька, которому жилось посытней, не мог оторвать взгляда от пирующей компании.

Приятели отыскиали свободный столик в углу. К ним тут же подошел официант.

— Что прикажете?

— Два кофе с пирожными, — ответил Аркадий. Он бы заказал что-нибудь посущественней, но не знал, что здесь сколько стоит.

Официант вернулся с двумя чашечками натурального кофе и двумя тарелочками с настоящими эклерами. Адька продолжал недоверчиво улыбаться. Ему казалось, что Аркашка сейчас расхохочется, вскочит и убежит, а его оставит. Но Голиков подвинул одну чашечку Гольдину, другую взял себе, размешал сахар и, показывая на пирожные, произнес:

— Ешь!

— А ты знаешь, сколько сейчас стоит кофе с пирожным? — на всякий случай спросил Гольдин.

— Какая тебе разница? Я плачу, — ответил Аркадий, которому нужно было любой ценой задержаться в кафе, и он смело надкусил свой эклер.

Пирожного на чистом сливочном масле Голиков не пробовал, наверное, года два. Он мигом доел эклер, потому что был очень голоден, после этого принялся за кофе.

Снова звякнула дверь. Вошел мужчина в шинели без погон и в офицерской фуражке. Вся компания, которая сидела за сдвинутыми столиками, дружно встала и вытянулась.

— Добрый вечер, господа, — произнес вошедший. Он был старше всех, с седыми, коротко постриженными усами.

Вошедший отдал подлетевшему официанту шинель, о чем-то негромко заговорил с человеком, у ног которого стоял саквояж

(Аркадий не расслышал ни одного слова), после чего компания поднялась и скрылась в комнате за буфетом.

— Адька,— сказал Голиков,— я скоро вернусь, ты посиди до моего прихода.

— Я так и знал! — воскликнул потрясенный Гольдин. На глазах его появились слезы.— Не останусь! Я с тобой...

— Сиди! Я вернусь и рассчитаюсь,— тихо, но жестко ответил Аркадий.— Честное слово, я вернусь.

Аркадий побежал к базарной площади — там теперь помещался Совет. Марию Валерьяновну он не застал, но зато дежурил Женька.

— Женька,— почти с порога крикнул Аркадий,— в кафе «Черная кошка» собрались офицеры! К ним пришел еще один, с седыми усами. И они шепчутся.

— Минутку! — сказал Женька и стал накручивать ручку большого деревянного телефона, висевшего на стене.— Штаб? Это Евгений Гоппиус. Пошлите патруль в кафе на Большую. Там люди, которых мы ждем. Сведения совершенно точные.

— Деньги мне нужны,— сказал Аркадий, когда Женька повесил трубку.— Заплатить за кофе с пирожными. Два кофе, два эклера.

— Ты что, с барышнями ходишь по кафе, а Совет плати?

— Я не с барышней — я с Адькой Гольдиным. Из него официант уже, наверное, душу вытряхивает.

— Ничего, когда мы всех там заберем, им будет не до пирожных.

— Официант ни при чем, ему надо заплатить.

— Нет у меня денег,— ответил Женька.— Получил сегодня, купил мешок картошки — вот и все мое жалованье. Считаю, что кофе с пирожными — экспроприация у буржуазии.

— Я без денег не пойду. Если бы я отбирал фабрику у Мочалова — другое дело. А я съел пирожное, значит, я должен заплатить.

— Чтоб тебя муха укусила! — закричал Женька.— Это революция, а не рождественская елка! — И выбежал в соседнюю комнату.

Оттуда он вернулся с несколькими ассигнациями.

— На! Можешь съесть еще один эклер. Только беги. Там уже скоро будет патруль.

Когда Аркадий ворвался в кафе, несчастный Гольдин сидел перед пустой чашкой, а с него не спускал глаз официант, который опасался, что Адька тоже убежит, не заплатив.

— Я думал, ты меня разыграл,— произнес с запинкой Адька, через силу улыбаясь.

— Я ж тебе обещал,— солидно ответил Аркадий.— Давай

съедем еще по одному пирожному... Будьте добры,— обратился он к официанту,— еще по эклеру и чашечке кофе...

Официант принес, недоверчиво поглядывая на мальчиков. В этот момент звякнула дверь. Вошли несколько красногвардейцев. Начальник патруля вежливо произнес:

— Граждане, подготовьте ваши документы.

— А у меня документов нет,— встревожился Адька.

— Сиди спокойно, ты со мной,— ответил Аркадий.

Красногвардейцы быстро проверили бумаги у всех, кто сидел в зале. И начальник патруля спросил у владельца за стойкой:

— А еще какого-нибудь помещения у вас нет?

— Имеется совсем небольшое, но исключительно для служебных целей.

— Позвольте ознакомиться,— произнес начальник патруля и откинул крышку стойки, пригласив с собою двух бойцов.

Через несколько минут из комнаты за буфетом сначала появился красногвардеец с винтовкой на весу, за ним участники недавнего застолья. Последним шел начальник патруля, держа по нагану в каждой руке.

Патруль с задержанными проследовал на улицу.

— Получите с нас,— сказал Аркадий, обращаясь к официанту.

Но тот не слышал: он взволнованно беседовал с хозяином. Аркадий сунул, как он это видел в кино, две бумажки из трех под блюдечко, и они с Адькой тоже вышли на улицу.

— А знаешь, Адька, это я вызвал патруль,— сказал Аркадий, когда они отошли от кафе.

На другой день Мария Валерьяновна, встретив Голикова, пожалала ему руку:

— Ты большой молодец, Аркаша, только ни о чем не спрашивай — секрет...

УДАР НОЖОМ

В январе восемнадцатого года Аркадию исполнилось четырнадцать, но выглядел он старше своих лет. Аркадий ходил в черной, сдвинутой набок папаше, в солдатской, по мерке сшитой шинели, присланной отцом. Ее перепоясывал широкий ремень, на котором висела кожаная сумка. В ней, за неимением кобуры, Аркадий носил маузер. Не тот, тяжелый, длинноствольный, для которого требовался деревянный футляр, а небольшой, размером с браунинг.

Маузер этот Аркадий купил на базаре, у солдата с деревянной ногой, продав тайком от мамы и тети Даши свою шинель с канареечным кантом, из которой он уже вырос.

— Хороший пистолет,— похвалил солдат, отдавая маузер и пряча в карман деньги.— Я его в германском окопе нашел. По нынешним временам всегда пригодиться может. Я бы себе его оставил — не хватает денег доехать до дому... На вот еще две запасные обоймы.

Сначала Аркадий таил свою покупку от всех, в первую очередь от мамы, потому что, если бы она спросила: «Где ты взял револьвер?», пришлось бы ей сказать правду. А за продажу шинели она бы его не похвалила. Больше того, она бы расстроилась. Не потому, что ей было жаль старую шинель, а ее огорчила бы сама мысль о том, что ее сын стоял, пусть всего только четверть часа, на базаре, молча предлагая свой т о в а р. В доме никогда ничего не копилось впрок, и ко всякого рода торгово-финансовым операциям в семье относились с презрением.

Но шло время. Аркадий получил винтовку и уже мог себе позволить, уходя на задание, опустить пистолет в полевую сумку. А потом, осмелев, он засовывал маузер просто за ремень. И однажды с маузером за поясом сфотографировался. Когда мама увидела пистолет у него в руках, она не стала ничего спрашивать. Только сказала:

— Сын мой, не сломай себе голову.

— Мамочка, не беспокойся, все будет хорошо,— ответил он ей. И подошел поцеловать ее.

Она посадила его на диван и долго гладила по лицу своей ладошкой, от которой пахло йодоформом и еще какими-то лекарствами, хотя, возвращаясь из больницы, мама всегда тщательно мылась. Часы, поскрипев шестеренками, ударили пять раз. Аркадий, как в детстве, потерся щекой о мамину щеку и встал.

— Ты куда? — спросила Наталья Аркадьевна.

— Мы с Колькой Березиным патрулируем по городу. Я к десяти вернусь.

Он торопливо надел шинель, натянул папаху, схватил винтовку и выбежал из дома. Захлопнув дверь, Аркадий по привычке сунул руку в почтовый ящик — каждый день ждал вестей от папы — и вытащил письмо: «Местное. Новоплтинная, 25. А. Голикову». Почерк был незнакомый. Надорвав конверт, Аркадий вынул листок с рисунком: череп, под ним скрещенные кости. «Охота кому-то дурачиться», — подумал Аркадий со снисходительностью взрослого.

Прочитав «Остров сокровищ» Стивенсона, Аркадий и сам

послал двум-трем приятелям листок с нарисованным кружком — «черной меткой». То была пора игр в индейцев и пиратов. Сейчас же ему казалось, что все это происходило в какой-то иной, далекой жизни.

Аркадий разорвал в клочки дурацкое письмо, а назавтра вынул из ящика другое. Оно состояло из единственной фразы: «Если не бросишь своих большевиков, будет плохо». И снова череп и кости. А третье попало в руки к сестрам. Они перепугались, хотели показать его маме, чтобы она отнесла в милицию. Аркадий с трудом их отговорил:

— Это у нас игра. Помните «Остров сокровищ»? Я скажу ребятам, чтобы таких писем больше не присылали.

А письма шли. Он их перехватывал. И даже стал забегать на почту: «Мне писем нет?» И случалось, ему протягивали по два-три конверта.

Не на шутку встревоженный, он решил посоветоваться с Алешей Зиновьевым. Бывший реалист, ученик Марии Валерьяновны, Алеша теперь при военном отделе уездного Совета ведал контрразведкой. Завидев на Соборной площади Алешу, который торопливо шел, прихрамывая на покалеченную в детстве ногу, Аркадий ринулся было к нему и остановился.

«Засмеет он меня,— подумал Аркадий.— Расскажет Женьке, тот Марии Валерьяновне, и меня, как труса, отстранят от задания». И повернул обратно.

Шло время. Письма с угрозами больше не приходили. Аркадий успокоился. Возвратясь как-то с уроков, он с порога крикнул:

— Тетя Даша, покормите, пожалуйста. Я очень спешу!

В ответ из девичьей выбежали все три сестры с красными, нареванными глазами и кинулись к нему. За ними, всхлипывая, вышла из кухни тетя Даша.

— Вы чего? — обмер он.— Что-нибудь с папой?

Талка молча протянула ему листок с черепом и костями. Под черепом разнокалиберными буквами, вырезанными из газет, было написано: «За помощь большевикам — С М Е Р Т Ь!»

Аркадий почувствовал, что кровь отлила от лица и в теле возникла слабость, будто он стоя засыпал. Такое с ним уже случалось, когда в первом классе их повели делать прививки. Увидев больничные халаты, иглы и шприц, он ощутил необоримую сонливость и грохнулся в обморок. И сейчас он был близок к этому.

«Смертный приговор... Смертный приговор...— билось в его мозгу.— Но чей? Кто меня приговорил?» Тут он снова увидел заплаканные, искаженные страхом и оттого некрасивые лица сестер и тети Даши. «Нужно их успокоить,— подумал

он. — Лучше бы всего рассмеяться». Но для притворного смеха у него не достало сил. Аркадий глубоко вздохнул и задержал дыхание, как учил его папа, который многое знал и умел. Сердце сильно забухало, сонливость прошла, и вернулась решительность.

— Я набью морду Володьке Тихонову, — весьма натурально рассердился Аркадий, — чтобы он перестал вас пугать своими дурацкими письмами.

— Да кто же так шутит? — возмутилась тетя Даша. — Ты задержался, и мы уже думали: тебя убили. Садись обедать. А к Володьке пусть сходит мама и поговорит с его родителями.

— Лучше я сам.

Тетя Даша принесла обед, но суп и хлеб застревали у Аркадия в горле, хотя он был очень голоден.

Получив первых два письма, Аркадий подумал, что это пакостят «аристократы» или «подлипалы» из училища. Когда же анонимные угрозы начали приходить пачками, Аркадию сделалось очевидным, что хотят запугать весь дом. Но, увидев на листе почтовой бумаги слово «смерть», он ощутил, как на него пахнуло холодом и затхлостью могильного склепа.

Аркадий летом часто забегал с приятелями на кладбище. Здесь они играли в прятки, слушали птиц, ставили силки, за что им, случалось, и попадало. Заросшие сиренью могилы, покосившиеся памятники с жалостливыми надписями, заброшенные усыпальницы не трогали, не волновали Аркадия. Он еще не терял близких, а мысль о собственной смерти казалась ему до смешного нелепой. И вдруг он скорее ощутил, нежели понял, что может сам оказаться под могильной плитой.

«Кто же прислал письмо?» — лихорадочно искал ответа Аркадий.

Он перебрал в уме своих недругов. Самым непримиримым был сын разорившегося помещика Костя-кадет. Доходило у них до жестоких драк, но Костя с мамочкой недавно уехали на юг. Вспомнил Аркадий, что недавно по распоряжению городского Совета проверял купеческие лавки и обнаружил в мануфактурном магазине Бебешина укороченные аршины. Бебешин был арестован. Суд приговорил его к штрафу в десять тысяч рублей.

«Бебешин?.. — спрашивал себя Аркадий. — Нет. Бебешин нажил миллионы, поставляя гнилое сукно и непрочную кожу для царской армии. Десять тысяч для него мелочь. И заниматься шантажом он не станет — побоится потерять все».

И вдруг Аркадий поперхнулся: «Офицеры!.. Это месть за офицеров, которых я выследил в кафе!.. — И тут же успокоил себя: — Нет, если бы заговорщики, которые остались на сво-

боде, знали бы, что я выследил их товарищей, они бы просто меня застрелили. Тогда кто же?!»

Ответа он не находил, но у него появилось ощущение, что разгадка близка. Адрес на сегодняшнем конверте и текст письма были слеплены из букв, вырезанных из газеты. Значит, человек опасался, что его узнают по почерку. И Аркадий пожалел, что изорвал предыдущие послания, написанные от руки.

Затем его мысль почему-то перенеслась к недавней встрече в Совете, когда в комнате у Марии Валерьяновны он столкнулся с Сашей Рязановым. Могучего сложения парень, Саша выглядел измученным и похудевшим, глаза его были воспалены, словно он неделю провел без сна. На плече у Рязанова висел карабин, а за спиною — вещевой мешок.

Мария Валерьяновна расцеловала Сашу. Он смутился, неловко чмокнул Гоппиус в щеку, кивнул Аркадию и выбежал из кабинета.

— После концерта в вашем училище совсем затравили парня,— сказала Мария Валерьяновна Аркадию.— Пришлось отпустить на фронт, хотя самим не хватает людей.

Саша Рязанов, сын фельдшера, закончил реальное училище в 1917 году, вступил в большевистскую партию и стал одним из главных помощников Марии Валерьяновны. Последнее время он заведовал организационно-агитационным отделом уездного военкомата.

В то утро, когда уезжал Рязанов, Аркадий был утомлен ночным двухсменным дежурством, его подташнивало от голода и клонило в сон. Слова Гоппиус скользнули мимо сознания. А сейчас до него внезапно дошел их смысл.

...Месяц назад, в январе, известный в Арзамасе богат инженер Тренин обратился в Совет за разрешением провести в реальном училище, которое славилось отличным актовым залом, благотворительный вечер с участием приезжих артистов. Поскольку весь сбор, за вычетом расходов, должен был поступить в пользу раненых солдат, то цену за билеты назначили очень высокую. Публика победней попасть на концерт не могла. Это и навело на мысль, что вечер преследует не только благотворительные цели.

Аркадий и еще двое реалистов были посланы Марией Валерьяновной на вечер «для соблюдения порядка». Голиков уже давно ходил в полувоенном — так ему больше нравилось, да и вырос он уже из ученической гимнастерки и форменных брюк. Но тут пришлось все достать из сундука, отпарить, надеть ремень с вензелем «АРУ».

На таком роскошном вечере Голиков никогда не был. Дамы приехали в вечерних туалетах, вызывающе поблескивая дра-

гоценностями. Мужчины явились в черных фраках или парадных мундирах своих ведомств. На мундирах недоставало только царских орденов, упраздненных революцией. Сотни людей в Арзамасе голодали, а в буфете (правда, по невысказанным ценам) продавали водку, коньяк, бутерброды с черной икрой, белой и красной рыбой, свежайшим сыром и копченой колбасой. В высоких вазах стояли пирожные и фрукты. Торговля шла бойко, словно все стоило копейки.

Несмотря на множество народу, царил исключительный порядок. Он ничем не нарушался и во время концерта. Программа была чисто художественной, «без политики». Артисты из Нижнего Новгорода с воодушевлением читали стихи русских поэтов, замечательно исполняли сцены из пьес Островского и проникновенно пели романсы.

Голикова эта демонстративная чинность насторожила. Он знал многих зрителей по собраниям и митингам. Там те же лощеные джентльмены, не стесняясь в выражениях, нападали перед огромной толпой друг на друга или внезапно объединялись, убеждая слушателей в необходимости для России «просвещенного государя», который на каждом шагу «будет советоваться с Учредительным собранием».

И Аркадий усомнился, что все они прибыли сюда, чтобы только послушать романс «На заре ты ее не буди», выпить рюмку водки и закусить балыком. Аркадию хотелось досмотреть концерт: таких знаменитых артистов он еще никогда не видел, но он выскользнул из зала, заглянул в безлюдный буфет, а затем поднялся на третий этаж. Здесь было совершенно темно, и только из-под двери кабинета химии едва пробивался свет. Аркадий легонько потянул дверь на себя — она оказалась запертой изнутри. За ней раздавались приглушенные голоса. Голиков выскочил на улицу. Ведь если в классе люди, окна должны быть освещены. Однако на третьем этаже было совершенно темно. И Голиков понял, почему был выбран кабинет химии: там на окнах висели плотные шторы.

Аркадий побежал в Совет. Дежурила Мария Валерьяновна.

— На третьем этаже собрались заговорщики! — крикнул он ей, вбегая.

Мария Валерьяновна, похоже, несколько не удивилась. Она позвонила по телефону: «Наши подозрения подтвердились». И велела Аркадию немедленно вернуться в училище и наблюдать, что будет дальше.

Вскоре под командой Саши Рязанова прибыл патруль. Концерт прервался. Одна группа красногвардейцев проверяла документы в зрительном зале, другая поднялась в кабинет химии.

Аркадий стоял на улице, когда ярко осветилось и распахнулось окно третьего этажа и в снег полетели наганы, пистолеты, обоймы с патронами и даже две гранаты без взрывателей. Двадцать с лишним человек было арестовано.

Сейчас Аркадий припомнил, что вскоре после этого и началась травля Рязанова. Саша стал получать письма: «Как ты, наглец, осмелился поднять руку на самых уважаемых людей города?! Тебе это даром не пройдет». И Рязанову пришлось уехать...

В те дни историю с Рязановым Аркадий никак не связал со своей, которая, поначалу выглядела злою полуигрой. Только увидев слово «смерть», слепленное из разнокалиберных букв, он догадался, что это всерьез.

Аркадию сделалось одиноко и неуютно. Лишь теперь он понял, какую сморозил глупость, ничего не сказав про письма Зиновьеву или Марии Валерьяновне. А если бы сказал, что изменилось бы? Тоже уехал бы с Рязановым?.. Но Саше — восемнадцать, а ему месяц назад исполнилось только четырнадцать. Кто бы его взял на фронт?

Аркадий взглянул на часы. Без пяти минут шесть, а к половине седьмого нужно было поспеть в Стригулинские номера и найти там Софью Федоровну.

Выходить на улицу не хотелось. Но поручение было очень важным. «И потом, я посоветуюсь с Софьей Федоровной», — приободрил он себя. Но как выйти из дому? Хотя сестры и тетка вроде бы поверили, что присланные письма — глупая игра, они все же всполошатся. «Нужно сказать им в последнюю минуту», — решил он.

Часы пробили четверть седьмого. Аркадий спохватился, что опаздывает. Он надел вместо шинели верблюжью курточку — теплую, но легкую, схватил папаху и остановился: брать ли винтовку? С одной стороны, конечно, стоило. С другой — после письма это означало бы, что он испугался. А по своему нелегкому мальчишескому опыту Аркадий знал: если твой противник заметит хотя бы тень испуга, пощады не жди.

«Возьму маузер». Пистолет не был зарегистрирован, и Аркадий опасался, что маузер у него отберут. Но тут он достал пистолет из нижнего отделения буфета, куда редко заглядывали, взвел затвор, шелкнул предохранителем, сунул маузер в сумку, которая висела на поясе, и сразу успокоился. Из своего маузера он еще ни разу не стрелял: берег патроны. У него их было всего двадцать штук. И где достать еще, он не представлял. Но массивный, ладный пистолет, рукоятка которого удобно ложилась в ладонь, всегда рождал чувство защищенности.

— Тетя Даша, — как можно спокойнее произнес Аркадий, выходя в коридор, — я на полчаса.

— Куда? — выбежала в коридор тетка. — Без мамы я тебя никуда не пушу!

— Я до Володьки Тихонова и обратно. — И он выскочил на улицу.

Было темно. От луны, краешек которой выглядывал из-за туч, на снегу лежали синие полосы. И хотя Аркадий был тепло одет и не боялся холода, его сразу же зазнобило. Он с опаской огляделся, никого не заметил и припустил вдоль Новоплотиной. Потом свернул направо, миновал просторную, в этот час совершенно пустынную площадь с давящей громадой собора, сбежал вниз под горку вдоль торговых рядов и, наконец, увидел гостиницу.

Это было тяжеловесное строение, которое больше напоминало крепость. В его окнах мерцал слабый свет коптилок. Всякий раз, приближаясь к Стригулинским номерам, Аркадий вспоминал, что в них останавливался Лев Толстой. Или Толстому было неуютно в гостинице-каземате, или еще почему, но впечатление от пребывания в Арзамасе Лев Николаевич увез самое мрачное, о чем позже и написал.

Аркадию это было обидно. Он любил Арзамас, особенно летом. И потом, Толстого у них чтили в семье, как близкого человека. Аркадий помнил: отец однажды пришел домой без фуражки, вицмундир на нем был расстегнут.

— Петя, что случилось?! — вскрикнула мама.

Отец прильнул к ней, как маленький.

— Какое горе, Наташа, какое горе для всей России — умер Толстой...

И Аркадий в первый и последний раз видел, что отец плачет...

У входа в гостиницу Аркадий остановился. Сердце билось быстро-быстро — от бега и от радости, что вот он уже здесь, а с ним ничего не случилось. И не случится.

Он поправил папаху (она съехала на затылок), передвинул за спину сумку, которая всю дорогу хлопала его по бедру, толкнул тяжелую дубовую дверь с медным кольцом и очутился в переполненном вестибюле. Здесь толпились солдаты в русских и австрийских шинелях, мужики и рабочие в суконных пальто и дубленых полушубках.

У дальней стены, на возвышении, стояла Софья Федоровна. Коротко стриженная, она была одета в строгое синее платье с белым кружевным воротничком — такие носили гувернантки и классные дамы. На переносице поблескивало золотое пенсне. Софья Федоровна с ужасным акцентом произнесла несколько

фраз по-русски и тут же перевела на немецкий — чтобы ее поняли военнопленные.

Пленные закивали головами, а Голиков вдруг встревожился, что мужики из окрестных сел и наши солдаты засмеются, услышав ее исковерканные русские слова. Но никто даже не улыбнулся, а солдат с повязкой на глазу произнес:

— Ишь ты, немка, а ругает своего Вильгельма. Немка — а с нами.

Шер была комиссаром почты и телеграфа. Этот внешне малозначительный пост давал большевикам громадные преимущества. Софья Федоровна первая узнала, что большевики захватили власть в Петрограде, на ее имя поступали секретные грузы — винтовочные и револьверные патроны, запалы для гранат (гранатами без запалов были завалены два вагона, что стояли в тупике), их получение хранилось в строгой тайне, потому что по-прежнему существовала опасность контрреволюционного мятежа. И к нему следовало быть готовым.

Сегодня ожидалось, что прибудет несколько ящиков. В одном из них, в разобранном виде, должен был поступить ручной пулемет. И Аркадию поручили узнать, когда понадобятся подводы и люди.

Софья Федоровна закончила речь. Кругом захлопали, но протиснуться к ней Аркадий не сумел. Помост окружили плотной стеною. Никто не расходился. Софья Федоровна спустилась с возвышения, толпа двинулась к выходу, и Аркадия, словно напором воды, вынесло на улицу. Но и здесь к Софье Федоровне было не подступиться. Люди слушали ее, задавали вопросы. И тогда Аркадий крикнул:

— Софья Федоровна!

Шер повернулась в его сторону, заметила Аркадия, досказала что-то высокому австрийцу и затем четко и громко произнесла по-немецки:

— *Arkascha, morgen früh, um neun!* — И добавила по-русски: — Аркаша, вы поняли?

— Понял! — ответил он. Первый раз в жизни ему пригдилось знание иностранного языка.

Шер повернулась к австрийцу. Но Аркадию надо было еще посоветоваться. Крикнуть ей об этом он не мог и ждать, пока она освободится, тоже: он должен был срочно сообщить в Совет, в военный отдел, чтобы подготовили подводы.

«Поговорю в Совете», — вздохнув, решил Аркадий.

Поправив сумку, которая все время сползала по ремню на живот и мешала идти, Аркадий заспешил к торговым рядам.

¹ Аркаша, завтра утром, в девять.

Луну совсем закрыло тучей. На снег ложились только желтые, едва приметные полосы света из окон Стригулинских номеров. И хотя Аркадий еще слышал голос Софьи Федоровны и знал, что рядом много народу, ему внезапно стало не по себе. Появилась луна, но тревога не прошла.

Эти приступы одиночества и беспричинной робости возникали чаще всего в темноте. А появились они в далеком детстве, когда набожная дура нянька пугала его: «Не будешь слушаться — тебя в темноте схватят черти». Однажды угрозу услышал папа. Няньку в тот же день рассчитали, а страх остался. Понемногу взрослея, Аркадий приучал себя к мысли, что чертей нет и темнота сама по себе опасностью не грозит. И все же он не любил оставаться в полумраке один.

Теперь он спешил уйти от давящей громады гостиницы. Там, где два ее крыла смыкались углом, начинались торговые ряды, освещенные редкими уличными фонарями. От них уже близко до Совета, а в Совете он точно с кем-нибудь поговорит.

Эта мысль придала ему бодрости, Аркадий прибавил шагу — и чуть не упал: новые подковки, которые он сам прибил к сапогам, чтобы не снашивались подметки и каблуки, скользнули по льду тротуара. Он удержался на ногах, но такой пустяк — подумаешь, поскользнулся — его расстроил и показался дурной приметой.

До поворота к торговым рядам оставалось метров десять, когда от стены гостиницы отделилась тень. Она пересекла поблескивающую льдом дорожку. Сердце Аркадия оборвалось и полетело вниз. И в следующую секунду уже не тень, а плотная массивная фигура в малахае с опущенными ушами перегородила дорогу.

«Письмо!»

Первым желанием Аркадия было метнуться обратно, к вестибюлю, — там Софья Федоровна, там люди, но тут же понял: не успеть. И еще он знал, как беспомощен человек, который показал неприятелю спину.

Между тем незнакомец в малахае стоял, широко расставив ноги. Он ждал. Значит, он шел следом от дома?

Аркадию показалось: он слышит торопливое тяжелое дыхание, словно этот, в малахае, долго бежал и резко остановился.

В темном пространстве между Аркадием и неизвестным блеснул луч. Он скользнул по хорошо отполированной стали. И пропал.

«Нож!»

Испуг, жалость к себе и раскаяние, что он полез в дела взрослых, — все перемешалось в душе Аркадия. На миг перед его взором мелькнул актовый зал реального во время недавнего

концерта и массивная фигура дряхлеющего инженера Тренина. Закрыв глаза широкой ладонью, Тренин рыдал, слушая, как молодая высокая певица выводила низким печальным голосом:

Были когда-то и вы рысаками,

И кучеров вы имели лихих...

С Шуркой Трениным, сыном инженера, Аркадий учился еще в подготовительной школе Хониной. После прерванного концерта Шуркин отец, который не был арестован, исчез из города. «Неужели это он подослал?!»

«Сын мой, не сломай себе голову», — вспомнилось Аркадию мамино предостережение. И он чуть было не заорал: «Мамочка, почему я тебя не послушал!»

Но все эти месяцы, наполненные тяжелой работой — дежурствами, патрулированием, повседневным риском, — не прошли даром. И кто-то внутри Аркадия, более взрослый, чем он, крикнул: «Не смей! Соберись с духом! У него нож, а у тебя на плечах голова. Ищи выход!»

Странное дело: испуг сразу куда-то исчез. Мысль заработала стремительно и четко. Сначала он подумал: «Надо выбить нож боксерским ударом». Но для этого нужно было подойти вплотную, а человек в малахае был выше ростом и сильнее. Снова навалился страх. Растворялись, уходили последние доли секунды, когда он еще сам мог что-то предпринять. Но что?! Что?!

И снова внутренний голос ответил: «Притворись: ты не знаешь, кто он и зачем здесь стоит. Ты не заметил, что у него в руке». И вдруг Аркадий понял: чтобы избежать удара ножом, надо... идти прямо на нож.

Напротив гостиницы стоял магазин-склад. Окна его были закрыты ставнями. Между мужиком и домом со ставнями серел узкий проход. Аркадий уверенным шагом двинулся к этому проходу и увидел: мужик отводит руку с ножом назад, готовя ее к удару.

До мужика оставалось не более двух метров, когда Аркадий метнулся резко вправо, к гостинице, где оставалось более широкое пространство. Пока бы этот, в малахае, сообразил, что мальчишка его провел, пока бы поворачивался, срывался с места и набирал скорость, Аркадий успел бы вильнуть за угол, а там попробуй догони его.

Но, повернув резко вправо, Аркадий ощутил, как его ноги заскользили почти на одном месте, — новые, не стершиеся подковки помешали спасительному рывку. Мужик, сделав несколько торопливых шагов, очутился рядом. Аркадия обдало

запахом самодельного вина, лука и гниющих зубов, он услышал устрашающее «ИИЫХ!», словно мясник обрушивал топор на голову быка, увидел совсем рядом искаженное гримасой ненависти и страха широкоскулое лицо, почувствовал сильный, колкий удар в бок, под сердце, вскрикнул: «Ай!» — и ноги его оторвались от земли. На какое-то время Аркадий ощутил себя в воздухе, будто он маленький и его высоко подбросили, чтобы на лету поймать, затем упал, стукнулся затылком об лед. И потерял сознание.

В беспомощности он пролежал недолго, потому что, очнувшись, услышал тяжелые, поспешные шаги — это наверх, к собору, мимо торговых рядов убежал его убийца...

Слева, под сердцем, оставалась тяжесть и тупая боль. Аркадий захотел поглубже вздохнуть, но что-то мешало это сделать. Он положил на больное место руку. Ладони стало влажно и тепло, будто он облил ее остывающим чаем.

«Откуда здесь чай?» — удивился он и поднес ладонь к глазам. Из окон гостиницы сочился слабый свет. Аркадий разглядел, что пальцы потемнели. «Это не чай, это кровь, — испугался он. — Я ранен. А может, убит?»

Ему стало жалко себя, маму, сестришек, тихую, безотказную тетю Дашу. И папу, которого он любил больше всех. Аркадий всхлипнул и ненароком вздохнул поглубже. В боку кольнуло, но не так сильно, как он опасался.

«Я ранен, я только ранен, — обрадовался он. — Нужно скорее домой».

Он перевернулся на правый бок, неловко надавив бедром на сумку. Сразу же заболел затылок. Аркадий машинально поправил папаху и подумал: «Хорошо, что шапка на ватной подкладке. А то бы я, падая, сильно расшиб голову».

Аркадий поднялся. Снова остро кольнуло под сердцем, и теплая струйка поползла по боку вниз, но Аркадий уже стоял на ногах и чувствовал, что может идти.

«А если мужик ждет меня там? — подумалось ему. Кричать он не мог. Ждать Софью Федоровну тоже. — Пойти к ней? Но я могу истечь кровью... Нет, мужик меня не ждет. Он думает, что убил меня. Иначе бы он сразу не убежал. Надо скорей домой».

Держась за бок, пошатываясь от головокружения, Аркадий двинулся к Новоплотинной.

...Когда Аркадий показался в дверях столовой, семья ужинала. Ярко горела керосиновая лампа с голубым абажуром, ее зажигали теперь очень редко: берегли керосин. Сестры доедали овсяный кисель, тетя Даша, которая все делала очень быстро, сидела над пустой тарелкой. А Наталья Аркадьевна, розовая

от холода, только что причесанная, с веселым оживленным лицом, наливая из самовара чай, досказывала что-то веселое. Под рукой у нее стоял наготове стакан в серебряном отцовском подстаканнике. Теперь в нем подавали чай Аркадию: он был единственный мужчина в доме.

— Явился,— осуждающе произнесла Талка, завидя брата, и решительно забросила за спину свою толстую косу.— Обещал, что скоро вернешься.

Но мама была наблюдательней дочери. И хотя Аркадий, войдя в квартиру, перестал держаться за бок и спрятал за спину руку, перепачканную кровью, она мгновенно заметила пятно на куртке, бледность щек и глаза сына с огромными от испуга зрачками.

— Что с тобой? — Наталья Аркадьевна вскочила со стула.

— Мамочка, не волнуйся,— как можно будничнее произнес он.— Меня ранили ножом.— И он показал то место, куда его ударили.

Румяное с мороза лицо Натальи Аркадьевны сделалось блее скатерти. Тетя Даша выронила фарфоровую чашку, донце которой цокнуло о блюдец. А сестры, как гусята, вытянули шеи. Внезапно Наталья Аркадьевна спокойным, незнакомым, больничным голосом произнесла:

— Девочки, к себе! Аркаша, на диван! Тетя Даша, таз, горячей воды, два чистых полотенца. В шкафчике у моей постели бинты и спирт.

Девочки одна за другой, оглядываясь, покинули столовую. Тетя Даша бросилась к бельевому шкафу, Наталья Аркадьевна мыла руки. Аркадий расстегнул солдатский ремень с подвешенной к нему сумкой и опустил его на пол. Было больно наклоняться, поэтому, не снимая сапог, он лег бочком на диван.

Наталья Аркадьевна появилась, держа перед лицом тщательно отмытые руки.

— Тетя Даша, разденьте его и распустите ремень на брюках.

Когда сняли куртку, то все увидели, что по рубашке расплылось темное, со свекольным отливом пятно. Аркадий снова заметил на мамином лице испуг, но она тотчас взяла себя в руки.

— Не волнуйся, я с тобой.— И приподняла запачканный край рубашки.

Аркадий поморщился: рубашка успела прилипнуть к телу.

— Извини,— спокойно сказала мама.

Она обмакнула край полотенца, принесенного тетей Дашей, в тазик с теплой водой и начала осторожно отмывать бок. Ее

движения становились все уверенней. Аркадий засмеялся.

— Ты что?! — испугалась Наталья Аркадьевна.

— Щекотно!

Наталья Аркадьевна, обхватив его за шею, заплакала.

...Нож попал в ребро и только располосовал кожу.

Через полчаса, перебинтованный, в чистом белье, Аркадий лежал под одеялом на том же диване, а мама поила его с ложечки чаем. Тетя Даша по такому случаю дала малинового варенья.

Когда сын допил чай, Наталья Аркадьевна поднялась с дивана и споткнулась, чуть не разбив чашку. Поставив ее на стол, Наталья Аркадьевна наклонилась и подняла с пола сумку.

— Ты что там, гири носишь? — Она запустила в сумку руку.

— Осторожно, мамочка!

Но Наталья Аркадьевна уже вынула письмо-приговор и маузер.

— С этим письмом в сумке ты отправился к Стригулинским номерам? — спросила она. Глаза ее были полны слез.

— Я же обещал. А ты сама говорила: «Если обещал — сделай. Чего бы это ни стоило».

— Значит, ты понимал, что тебя хотят убить? — Наталья Аркадьевна взяла пистолет за ствол и потрясла им в воздухе. — Почему же ты не стрелял?!

— Мамочка, я забыл.

— Как стрелять — забыл?

— Нет, про маузер забыл. И потом, как бы я начал стрелять, пока мужик меня не ранил?

— Но ты бы хоть вынул револьвер, чтобы убийца его увидел, он бы тогда не посмел...

Засипели и заскрипели часы и неспешно пробили девять раз. Аркадий сел и спустил с дивана ноги.

— Тебе нельзя так резко вскакивать, — сказала Наталья Аркадьевна. — Сползет повязка. Если тебе нужно в туалет, я принесу от девочек горшок.

— Я должен уйти.

— Куда?!

— В Совет.

— Ты никуда не пойдешь! Кончились твои хождения! Читай, делай уроки, занимайся спортом...

— Мамочка, мы еще поговорим. А сейчас я должен передать важные сведения.

— Я пойду в Совет.

— Мамочка, я тебя очень люблю. И верю тебе. Но сведения секретные. Я не могу их никому доверить...

— Да ведь тебя могли уже убить!.. А если этот с ножом ждет тебя возле Совета?

— Не ждет. Он убежал. Я слышал.

— Хорошо. Пойдем вместе. И там же заявим. Ты возьмешь винтовку, а я револьвер. Только покажи, как из него стрелять.— И Наталья Аркадьевна нечаянно сдернула пальцем предохранитель.

— Мапочка, не шевелись, он сейчас выстрелит. Затвор взведен.

Аркадий вскочил и мягко вынул у нее из руки пистолет.

— Провожать меня не надо — меня ж засмеют.

Лицо Натальи Аркадьевны стало серым. Она в изнеможении опустилась на диван, понимая, что не в силах переубедить сына.

— Мапочка, я скоро вернусь. И если что по дороге замечу — тут же выстрелю в воздух. Честное слово.

— Капель... дай мне.

Морщась от боли в затылке и боку, Аркадий налил в чашку остывшего чая, достал с верхней полки аптечного шкафчика пузырек и, не считая капель, плеснул из него в чашку. Запахло мятой, валерьянкой и увядающими ландышами. Наталья Аркадьевна выпила и протянула чашку обратно.

— Возвращайся скорей,— попросила она.

...Уже ночью, когда в доме все спали, Аркадий занес в дневник: «15 февраля 1918. Меня ранили ножом в грудь на перекрестке... Был в Совете».

«СНАЧАЛА ПОДРАСТИ...»

Утром 16 февраля слух о покушении на Аркадия Голикова распространился по городу. В реальном говорили, что он тяжело ранен, в очередях за хлебом и на базаре передавали, что он весь исколот ножом и вряд ли выживет.

На экстренном заседании уездкома партии было решено во что бы то ни стало отыскать скуластого человека в малахее, а в особом постановлении говорилось о необходимости победить мальчишку.

Шел ли теперь Аркадий проводить беседу, развозил ли по селам свежий номер «Молота», его непременно кто-нибудь сопровождал. Но длилось это недолго. Людей не хватало. И вскоре Голиков снова ходил и бегал всюду один. А в начале августа произошло событие, которое стало решающим в его жизни.

Аркадий направлялся на вокзал. Приближаясь к станции, он заметил, что в тупике стоит эшелон — с теплушками, из приоткрытых дверей которых высовывали морды лошади, с платформами, на которых высились спрессованные тюки сена и стояли короткоствольные пушки.

А на площади перед кирпичным зданием вокзала бойцы образовали круг. И в центре его под гармонь лихо плясал мальчишка в красноармейской форме. Бойцы, глядя на плясуна, прихлопывали в такт и кричали:

— Давай, Пашка, давай, Цыганок!

И Пашка «давал» — только видно было, как вслед убыстряющейся музыке взлетали, на мгновение отрываясь от земли, Пашкины ноги в тяжелых сапогах со шпорами.

Наконец Пашка замер, поставив одну ногу на носочек, а другую на каблук, широко вскинул руки, изобразив цирковой «комплимент». Ему захлопали. Он серьезно, как артист, поклонился. Плясуну тут же протянули портупею с саблей и револьвером. Парень кивком поблагодарил и, на ходу пристегивая ремень с оружием, вышел из круга, который перед ним уважительно разомкнулся.

Пашка, ревниво отметил Аркадий, был невелик ростом, не старше, чем он, а, судя по экипировке, уже служил.

Голиков направился следом за Пашкой.

— Цыганок! — позвал Аркадий, думая, что это его фамилия.

Тот нехотя обернулся:

— Чего?

— Давай познакомимся.

Цыганок устало взглянул на незнакомого парня: высокий, спина прямая, плечи широкие, крепкие. Ученическая гимнастерка, перетянутая поясом с вензелем «АРУ». За поясом пистолет, как бы небрежно засунутый, без кобуры.

— Никитин, Пашка, — протянул он руку. — А Цыганок — это мое прозвище. За пляску.

— Голиков, Аркадий.

Они обменялись рукопожатием.

— Ты служишь? — спросил Аркадий.

— Служу.

— А как тебя взяли?

— Долгая история, — ответил Никитин.

— Я не спешу.

Они расположились на траве.

— Из Торжка я родом, — начал Никитин. — Работал в цирке. А когда пришли белые, занялся извозом. Чтобы прокормиться. И была у меня девушка. Подруга детства. Постарше

меня. Но это дружбе нашей не мешало. Я ее уважал. Очень берег. И мы с ней договорились: когда подрастем, поженимся.

А тут подвернулась выгодная поездка. Я воротился, мне говорят:

«Шла твоя Оля по улице вечером (а она статная, выше меня, косы золотистые, толстые, до самого пояса), ехал мимо начальник ихней контрразведки. Велел ее арестовать и в кабинете у себя снахальничал над нею...»

Пашка замолчал, сорвал одуванчик, дунул на него и долго смотрел, как разлетаются крошечные парашютики.

— Я достал берданку,— продолжал Пашка,— и поклялся, что его убью. А ночью приходит ко мне подпольщик, матрос Гладильщиков.

«Паша,— говорит,— мы знаем про твои планы, поскольку ты неосторожен. Начальник контрразведки, фамилия его Котов, нужен нам живой. А потому замани его в свои санки...»

Прождал я Котова у ресторана целый вечер, а он на других санях уехал. То же получилось и на следующий день. А зима, холодно, одежда плохая. Опять пришел ко мне Гладильщиков.

«Паша, ты делаешь ошибку — стоишь возле самых дверей. А ты местечко в сторонке найди. Пока остальные офицеры выходят — не высывайся, а как увидишь Котова — подлетай, расталкивай всех, кричи: «Это мой седок!»

Отправился я ждать в третий раз. Мороз еще сильнее, а мне жарко, как в горячке. Уже ночь. Замечаю, в главном зале ресторана тушат свет: сперва в левом окне, потом в правом — это наш человек сигнал мне подает.

Выходят офицеры, а моего нету. А мне его точно обрисовали. Я жду. Гляжу — вышел: молодой еще, а с бородкой, серая папаха, золотые очки, шинелка в талию, на поясе маленький пистолетик. И держит под руку даму. Она в мехах. У меня сразу слезы: «Мало,— думаю,— тебе которые в мехах. Ольга тебе еще моя понадобилась!» И такая злоба... А я ж тебе говорил — в цирке работал. Акробатика. Вольтижировка. То да се. Выбирать не приходилось, потому как жрать надо. И наш хозяин, сам весь перебитый, бывало, говорил: «Артист — человек особенный. У него мамаша дома помирает, а он к публике веселый выйти должен».

Вспомнил я эти слова, улыбнулся через силу, словно на арену выхожу, и со свистом, с гиканьем — к подъезду.

«Ваше превосходительство,— кричу,— прошу в мои санки. Прокачу и вашу даму и вас, как на крыльях». Сунулся было к нему другой извозчик, да я ему кулак показал. «Это,— говорю,— мой всегдашний седок».

«Ладно,— говорит Котов,— прокати. Только,— говорит,— я тебя что-то не припоминаю. А память на лица у меня неплохая».

«Запамятовали,— говорю,— ваше превосходительство, я вас возил. И вы мне золотую пятерку пожаловали». (А это он другому извозчику так заплатил.)

«Ну,— ответил он, усмехнувшись,— если хорошо прокаатишь, то нынче я и десятки не пожалую». — Поцеловал ручку своей даме и посмотрел ей в глаза.

Соскочил я с облучка. Помог им усесться в санках. Накрыл ноги медвежьей шкурой. Офицер мой, гляжу вполглаза, уже с дамой беседует, на меня и не смотрит. Я дернул поводья да как припушу. Один поворот, другой.

«Ты,— спрашивает,— куда это меня везешь?»

«А вы,— говорю,— прокатиться желали».

Тут за меня дама заступилась.

«Пусть,— говорит,— везет, куда хочет. Вечер сегодня замечательный. Я с удовольствием покатаюсь. А то в ресторане было душно».

А мне еще с полкилометра проехать нужно. Я их пулей эти полкилометра провез — и резко повернул. Санки опрокинулись. Они в снег.

«Мерзавец! — закричал на меня Котов.— Я без зубов тебя оставлю!»

«Ой, я сумочку потеряла», — пожаловалась его дама.

Но тут подоспел Гладильщиков с товарищами. И зубы мои остались целы.

Когда пришли красные, Гладильщикова назначили комиссаром отряда, который едет сейчас на Восточный фронт. Вспомнил он и про меня. Взял разведчиком.

— А меня возьмет? — спросил вдруг Аркадий.

— А почему бы и нет,— ответил Пашка.— Пойдем, попрошу.

«Папа ведь тоже на Восточном фронте,— вспомнил Аркадий.— Вдруг встретимся...»

Они направились к эшелону, что стоял в тупике. В середине состава было два пассажирских вагона, возле которых прохаживались часовые. Пашка подошел к одному из них. Пропустив Цыганка, часовой винтовкой преградил путь Аркадию.

— Семенов, парнишка со мной,— не оборачиваясь, произнес Никитин.

Мальчики поднялись на площадку. Пашка открыл тяжелую дверь.

Такого вагона Аркадий никогда не видал: стены и

двери были голубые, а ручки, замки на дверях блестели позолотой.

Пашка постучал, дернул вбок позолоченную ручку. Дверь откатилась.

В голубом купе с голубого дивана поднялся высокий мужчина. У него было молодое, обветренное лицо и седые, коротко постриженные волосы. Флотский френч облегал плечи и торс молотобойца.

— Товарищ Гладильщиков, — взял под козырек Пашка, — разрешите обратиться?

— Обратись! — кивнул Гладильщиков, при этом глаза его смотрели на Пашку ласково и насмешливо.

— Товарищ комиссар, парнишку возьмите в отряд, — жалобно попросил Цыганок. — Хороший парнишка.

Гладильщиков внимательно посмотрел на Аркадия. Голиков сразу почувствовал себя в чем-то виноватым и сник, пожалев, что затеял никчемный разговор.

— Ты кто такой? — грубовато спросил Гладильщиков.

— В укоме партии служу делопроизводителем. А в большевистской газете «Молот» — секретарем... Прошел курс военного обучения...

— Документ есть?

— Только этот. — Аркадий вынул из кармана мандат, что революционным штабом Арзамаса ему разрешено пребывание на улице в ночное время.

— А кто твои родители? — спросил Гладильщиков, возвращая бумажку и заметно смягчая тон.

— Отец был командиром, а сейчас комиссар 35-го полка. На Восточном фронте. Мать — фельдшерица. Ее весь город знает.

— На фронт-то тебе зачем?

— Хочу... за светлое царство социализма...

— А мать отпустит?

— Нет, но я все равно уеду.

— Ишь ты какой решительный! Ладно. Принимай, Павел, себе нового товарища, — сказал Гладильщиков. — Скажи, чтобы поставили на все виды довольствия. Уезжаем, Аркадий, мы нынче ночью.

— Спасибо, товарищ комиссар! — почти заорал Пашка.

— Большое спасибо, — повторил, не смея поверить своему счастью, Аркадий.

Гладильщиков пожал им обоим руки. Аркадий, когда комиссар стиснул его пятерню своей большой ладонью, чуть не вскрикнул, но стерпел. Голикову показалось, что комиссар и тут его проверяет.

Мальчишки уже открыли дверь на площадку, когда Гладильщиков высунулся из купе и спросил:

— А лет-то тебе, Аркадий, сколько?

— Четырнадцать! — ликующим тоном ответил Голиков.

— Четырнадцать? — изумился Гладильщиков. — Тогда, брат Аркадий, сначала подрасти... Я думал, тебе хотя бы шестнадцать. Как Пашке.

Аркадий прыгнул на землю, усеянную окурками и крошками антрацита, и ему хотелось закричать от горя. Ведь он целую минуту был уже бойцом отряда, который направлялся на Восточный фронт, где отец.

— Соврать не мог?! — напустился на него Пашка. — Пачпорт у тебя он требовал, что ли?

Аркадий боялся, что если он откроет рот, то расплачется. Он махнул рукой и направился к дому.

Голиков не знал, что с Пашкой Никитиным он еще встретится...

МАМИНА ХИТРОСТЬ

Аркадий долго переживал неудачу. «Если бы я состоял в партии, — думал он, — как Женька Гоппиус или Колька Березин, Гладильщиков бы мне не отказал. Я бы ему ответил: «Да, мне четырнадцать, но вот мой партийный билет...»

И, набравшись храбрости, отправился к Марии Валерьяновне. Секретарь уездного исполкома, она сидела в тесной комнатке возле приемной, и очередь к ней выстраивалась затемно.

Гоппиус внимательно выслушивала каждого посетителя и лучше всех умела объяснить, к кому и куда следует обратиться.

Когда Аркадий проник в переполненную приемную, он услышал, как мужик в лаптях и домотканой рубахе, сидя на стуле у распахнутой двери (Мария Валерьяновна вела прием при открытых дверях), спрашивал:

— Про закон мы читали. Все так. А как же ее брать-то, землю? Чтобы получилось по справедливости?

Беженка в летнем пальто, с ребенком на руках говорила:

— Мы голодающие. Паек, спаси вас бог, получила. А вот одежду где взять? Видите? — И распахнула пальто: под ним не было даже рубашки.

Австриец-военнопленный во френче с накладными карманами (шинель он держал в руках) спрашивал по-немецки:
— Могу я получать посылки из дома через Красный Крест?

И Мария Валерьяновна негромко, но четко, чтобы ее слышали и поняли все, кто собрался в приемной, отвечала на вопросы. И многие приходили сюда просто ее послушать.

Аркадий терпеливо сидел возле кабинета, надеясь, что Гоппиус освободится, но количество посетителей не уменьшалось.

— Граждане,— произнесла, наконец, Мария Валерьяновна,— товарищ Голиков наш сотрудник. Я побеседую с ним несколько минут, затем продолжу прием.

Аркадий сел на стул для посетителей и вынул из кармана вчетверо сложенный листок.

«З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять меня в Арзамасскую организацию Российской коммунистической партии (большевиков).

А. Голиков»*.

Мария Валерьяновна положила листок перед собой, разглаживая, провела по нему тыльной стороной своей маленькой ладони.

— Мы давно, Аркаша, считаем тебя своим,— произнесла она.— Ты был с нами в самое трудное время. И мы это помним. Но не сердись на меня, детей в партию не принимают. Сейчас создается молодежная партия. Обещаю, ты будешь принят в числе первых.

— Я хочу в ту партию, в которой вы.

— Еще не было случая, чтобы принимали в четырнадцать лет.

— Давайте напишем, что мне шестнадцать.

— Аркаша, партию обманывать нельзя.

— Но я же не жалованье, не паек прошу.

— Я поговорю с Вавиловым.

Она вышла из кабинета и вернулась минут через десять.

— У Вавилова тоже нет возражений. Но мы не можем тебя принять по уставу. И потом, куда тебе торопиться?

— Мне нужно,— упрямо ответил он и, выйдя из приемной, не постучав, открыл дверь в другой кабинет.

Председатель уездного комитета партии Федор Алексеевич Вавилов вступил в РСДРП в 1904 году. Участвовал в первой русской революции, скрывался от преследований, много раз его жизнь висела на волоске, но он сохранил приветливость и добродушие сильного и абсолютно здорового человека.

Когда Аркадий вошел к нему, Федор Алексеевич торопливо писал, прижав телефонную трубку плечом к уху. Завидев Голикова, жестом пригласил сесть, а закончив разговор, сказал:

— Не можем мы тебя, Аркадий, принять. Не проси.

— Я читал устав,— ринулся в атаку Аркадий,— там сказано: принимать надо тех, кто согласен с целями и поддерживает. А я согласен и давно поддерживаю.

Вавилов засмеялся:

— Губком нам не утвердит.

— А вы примите, там посмотрим.

— Ладно, созвонюсь с губкомом. Зайди завтра к Марии Валерьяновне.

Аркадий не спал всю ночь и пришел к зданию исполкома, когда все еще было закрыто, но у дверей уже толпилось человек двадцать.

Мария Валерьяновна появилась без пяти минут восемь. Кивнув Голикову, она сказала:

— Напиши новое заявление. Там должны быть такие слова: «Ручаются за меня Гоппиус и Вавилов».

Через два дня, 29 августа 1918 года, Арзамасский уездный комитет РКП(б) постановил: «Принять А. Голикова в партию с правом совещательного голоса по молодости и впредь до законченности партийного воспитания»*.

...В сентябре у Натальи Аркадьевны оказалось два свободных дня.

В воскресенье утром все рано встали, чтобы позавтракать и отправиться на Тёшу. За город, на берег реки, часто выезжали, пока был дома Петр Исидорович, а с тех пор как он ушел на войну — ни разу.

Дни стояли теплые, солнечные, лето не кончалось, только листва была почти сплошь золотой и сильно похолодали вечера.

Готовясь к долгожданной прогулке, девочки заплели в косы самые нарядные ленты, Аркадий погладил брюки, начистил сапоги и надел свою любимую рубашку в клетку. Наталья Аркадьевна, наконец, отоспалась после дежурств, была оживленной и приветливой, какой ее давно не видели.

— Встретила Петра Петровича,— сказала она за столом, отрезая маленький кусочек мяса и отправляя его в рот. Наталья Аркадьевна необыкновенно красиво ела: девочки старались ей подражать, но у них так красиво не получалось.

— Какого Петра Петровича? — спросила тетя Даша. Она, по обыкновению, закончила еду и ждала остальных, чтобы убрать со стола.

— Цыбышева. Идет по улице, как лунатик. Я его остановила и спрашиваю: «Вы не здоровы?» — «Здоров,— отвечает,— Петьку своего только что на войну проводил».

— Но Петька с Аркадием нашим учился,— встрепенулась тетя Даша.— Разве ж таких берут?

— Петька на два года старше,— уточнил Аркадий.— Но я тоже чуть не уехал, да в последнюю минуту меня не взяли.

— То есть как это чуть не уехал? — изумленно и гневно спросила мама.— А нас ты спросил? Или мы для тебя ничего не значим?

Наталья Аркадьевна сердилась редко.

Последнее время она была особенно утомлена работой, выступлениями на митингах по «женскому вопросу» и переживаниями, о которых в доме старались не говорить.

Аркадий привык, что мама считает его самостоятельным и не вмешивается в его дела. И был по наивности уверен, что она и тут ему ничего не скажет.

— Mamочка, не сердись, но я уже твердо решил.

Наталья Аркадьевна, прервав завтрак, поднялась, чтобы уйти к себе в комнату. Аркадий поднялся вслед за ней. Она его остановила:

— Адик, я хочу побыть одна. Ты нисколько о нас не думаешь.

О прогулке не могло быть и речи. Долгожданный праздник сорвался.

Поплакав у себя в комнате, Наталья Аркадьевна решила, что не позволит мальчишке своевольничать. Она причесалась, надела свое нарядное, жемчужного цвета платье, которое носила много лет и которое ей было очень к лицу, и ушла из дома. Она хотела посоветоваться с Чувыриным.

Горвоенком Чувырин был высок, моложав, носил густые темные усы, кончики которых во время разговора задумчиво крутил. Зимой и летом он ходил в одном и том же светлом макинтоше и тяжелых солдатских сапогах.

Чувырин встретил Наталью Аркадьевну во дворе, где он чинил сарай. Был он в рубашке навыпуск, закатанных брюках и опорках.

Военком извинился за неказистый вид и пригласил гостью в комнаты.

— Понимаете, Михаил Евдокимович,— сказала Наталья Аркадьевна,— муж воюет с четырнадцатого, а если на фронт уйдет Аркашка, я вовсе с ума сойду.

Чувырин закурил.

— Мы создаем в городе коммунистический батальон,— ответил он.— Командовать им будет Ефим Осипович Ефимов. Вы знакомы? Нет? Командиру положен адъютант... И Аркадий никуда от нас не убежит под страхом военного трибунала.— Чувырин засмеялся.

В понедельник военком вызвал к себе Аркадия Голикова и сообщил:

— Как член партии, хотя и с совещательным голосом, ты мобилизован и назначен адъютантом командира коммунистического батальона.

Через час Аркадию выдали новую гимнастерку, галифе, сапоги, кобуру к пистолету, сухой паек, то есть хлеб, воблу, пакетик пшена, кусок конины и денежный аванс из расчета 250 рублей в месяц. Вечером по этому поводу был торжественный ужин. Особенно радовалась Наталья Аркадьевна.

Но шла война, и ничего нельзя было загадывать вперед.

В Арзамасе стоял штаб Восточного фронта. Он располагался в здании духовной семинарии. Командующего фронтом Иоакима Иоакимовича Вацетиса Аркадий несколько раз видел на улице в сопровождении охраны. А вскоре Иоаким Иоакимович стал Главкомандующим Вооруженными Силами Республики.

Узнав, что в городе сформирован батальон из проверенных, надежных людей, Вацетис тут же нашел ему применение и назначил Ефимова командующим войсками охраны железных дорог Республики. Вместе со своим батальоном Ефимову было приказано отбыть в Москву. А Голиков получил сразу два повышения: стал адъютантом командующего и начальником узла связи штаба Ефимова с новым окладом в 1100 рублей.

— Даю тебе два часа на сборы,— сказал Ефимов Аркадию.

Голиков побежал домой, отыскал в чулане чемодан, с которым ездил в командировки отец, кинул на дно две рубашки, синий томик Гоголя, чистую обшую тетрадь, чтобы записывать впечатления о войне. И щелкнул замком. Присев перед дорогой, он тут же вскочил, расцеловал зареванных сестер, обнял тетю Дашу и выбежал на улицу.

Наталью Аркадьевну он нашел в больнице, она ассистировала во время операции и вышла в марлевой маске.

— Мамочка, я уезжаю с Ефимовым в Москву,— негромко и виновато произнес Аркадий.

— Когда?

— Сейчас.

Наталья Аркадьевна сорвала маску, обняла сына и принялась иступленно целовать его, будто прощалась навек. Аркадий прижался к ней, как в детстве, когда его что-нибудь пугало. Стоило, бывало, только прильнуть к маме, и любой испуг проходил.

И, чувствуя, как подступают к горлу слезы и слабеет его решимость ехать, Аркадий рванулся из материнских объятий и кинулся к двери...



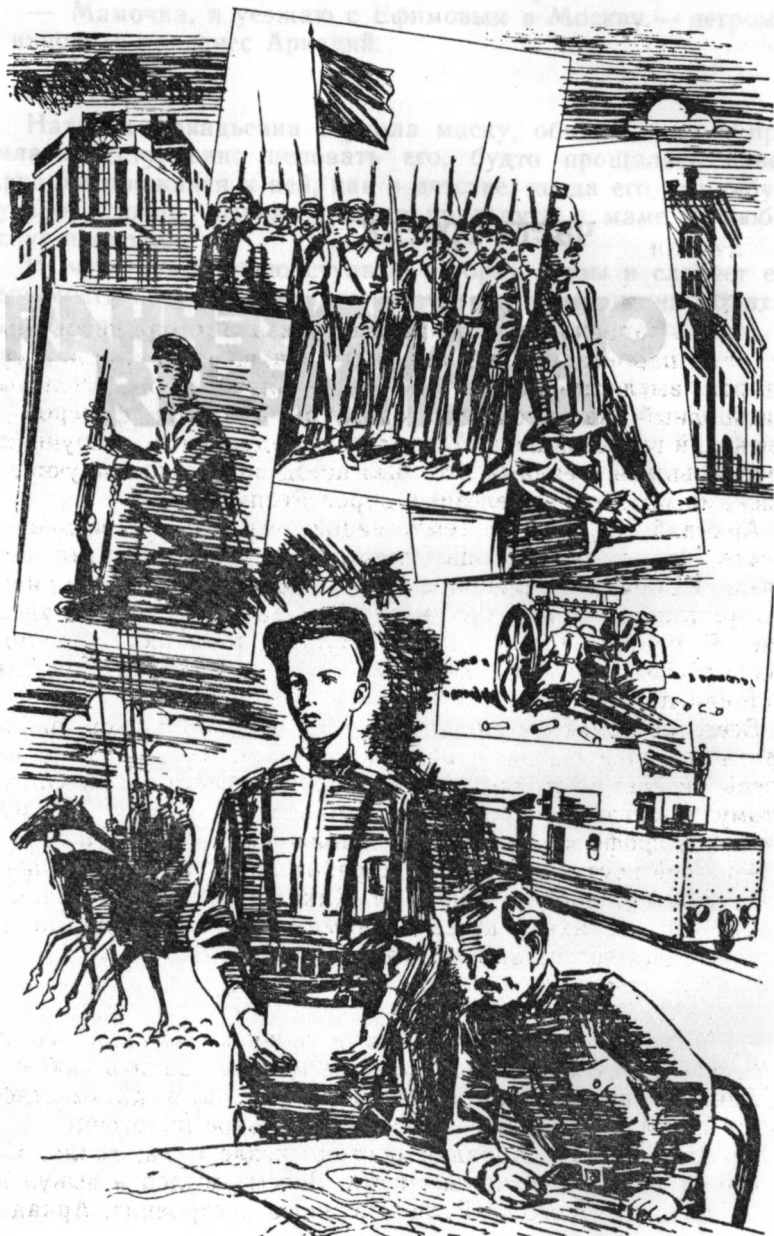
часть третья

ОБЫКНОВЕННАЯ БИОГРАФИЯ



Наташа Аркозюшу не шила и былинки, она распустила
голова во время сражения и вышла в марлевой маске.

Мамочка, а вот Ефимович!



Ваша
Людмила

ОТЪЕЗД

На запасном пути, справа от вокзала, стоял необычный состав — паровоз и три вагона: теплушка, из распахнутой двери которой выглядывали лошадиные жующие морды, зеленый пригородный, часть окон которого была забита фанерой, и новенький темно-вишневый с медными надраенными поручнями и зеркальными стеклами. Это был поезд нового командующего войсками по охране железных дорог Республики.

Аркадий подошел к темно-вишневому, кивнул часовому, вместе с которым проходил военное обучение, ухватился за сияющий поручень и поднялся в вагон. Длинный узкий коридор был застлан ковровой дорожкой. Справа шли дубовые двери купе. В одном из них тяжело стучала машинка, и оттуда доносился глуховатый, уверенный голос Ефимова, который диктовал приказ.

Всего несколько месяцев назад, вспомнил Голиков, он потерпел сокрушительное поражение в таком же вагоне. И вот теперь он едет в столицу, а там, судя по всему, и на фронт, потому что извлек урок из случившегося летом — во всех анкетах в графе «возраст» он трудолюбиво писал: «16 лет».

Аркадий постучал в купе, где работала пишущая машинка.

— Ефим Осипович, я прибыл. Какие будут распоряжения?

Ефимов распахнул дверь и внимательно посмотрел на печальное лицо своего адъютанта:

— Чаю хочешь?

— Спасибо, я поел дома.

— Тогда почитай что-нибудь и ложись пораньше спать. В Москве будет много работы. Купе можешь занять любое.

Аркадий выбрал самое дальнее. Оно было двухместное, в углу стоял рукомойник и висело вафельное полотенце.

Поезд тронулся. Аркадий постоял возле окна, глядя, как уплывают во тьму знакомые места. Затем умылся и вынул из чемодана томик Гоголя. Если портилось настроение, Аркадий

всегда перечитывал «Сорочинскую ярмарку», но сейчас вместо строчек он видел перед собой только мамино лицо в то мгновение, когда она сорвала марлевую маску.

Голиков задул керосиновую лампу, укрылся шинелью с головой. Он впервые надолго уезжал из дому. Ему было жалко маму. И себя. Засыпая под мерное покачивание поезда, ощущая лицом влажную от слез кожу полевой сумки, которая заменяла ему подушку, Голиков еще не знал, что детство кончилось. А заодно, не успев начаться, кончилось и отрочество. Уже больше часа шла взрослая, самостоятельная, солдатская жизнь.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ

Литерный поезд шел почти без остановок. Когда Аркадий рано утром проснулся, за окном мелькали пригороды Москвы.

На площади у вокзала Ефимова ждала открытая машина, и шофер повез их на Арбат, где на бульваре, за высокой чугунной оградой, стоял приземистый трехэтажный особняк: здесь помещался штаб частей по охране железных дорог Республики. Аркадию отвели для работы узкую комнату на втором этаже — возле приемной и кабинета командующего. В ней Голиков мог и спать.

Через час после приезда Ефимов пригласил Аркадия к себе завтракать. На инкрустированном столике в углу большой комнаты дымилась две тарелки каши, был нарезан хлеб, и веяло жаром от медного чайника на подставке.

Аркадий со вчерашнего обеда ничего не ел и с завтраком справился быстро, после чего они с Ефимовым поднялись наверх. Командующий постучал в обитую железом дверь. Им открыл средних лет боец в очках. Заметив, что Ефимов намерен войти, боец строго произнес:

— Товарищ, входить сюда нельзя.

— Я новый командующий. Моя фамилия Ефимов, а это мой адъютант.

— Здравствуйте, товарищ Ефимов, я старший телеграфист Новиков,— спокойно ответил боец в очках и уступил дорогу, пропуская гостей.

В зале с высокими окнами и лепным потолком работало шесть телеграфных аппаратов.

— Товарищи телеграфисты,— сказал Новиков,— к нам пришел новый командующий.

Пятеро тут же прервали работу и встали, а шестой, вежливо

покивав головой, продолжал отстукивать ключом телеграмму.

— Хочу вам представить,— сказал Ефимов,— Аркадия Петровича Голикова. Он будет начальником узла связи. На первых порах, я надеюсь, вы ему поможете. А там он, верно, станет помогать и вам.

Аркадий поздоровался с телеграфистами за руку — это теперь были его подчиненные.

Когда Ефимов с Голиковым спустились в приемную, командующий спросил:

— Ты в Москве впервые?.. Дарю тебе день для знакомства. Другой такой возможности у тебя, скорей всего, не будет.

Выйдя из штаба, Аркадий через несколько минут попал на Знаменскую улицу, где высилось светлое здание с колоннами — бывшее Александровское офицерское училище (чего Голиков не знал), а теперь у тяжелых дверей висел фанерный щит, на котором масляной краской были выведены буквы: «РВСР». Что-то загадочное и грозное заключалось в этом обозначении: здесь помещался Революционный военный совет Республики — главный военный штаб революции.

Аркадий счел неудобным задерживаться возле здания, он двинулся вдоль Знаменки. В конце ее Голиков разглядел высокую кирпичную башню, зубчатую стену и мост через какую-то речку. «Да ведь это же Кремль!»

Дома он хранил альбом с открытками. Там были фотографии экзотических стран и людей в диковинных нарядах, но больше всего собралось открыток с видами Москвы. Аркадий подолгу рассматривал их.

И вот он подходил к Кремлю. Значит, где-то рядом Красная площадь с памятником Минину и Пожарскому и храмом Василия Блаженного. Внезапно Аркадия поразило еще одно открытие: в Кремле — правительство; Реввоенсовет — возле Кремля; штаб Ефимова — в ста метрах от Реввоенсовета, а он, Голиков, адъютант Ефимова.

...Когда Аркадий в час ночи вернулся в штаб, дежурный сухо ему сказал:

— Подымитесь к командующему, он дважды про вас спрашивал.

Аркадий повернул к лестнице, но его ноги заплетались. Он ухватился за перила. Дежурный заметил это движение. Голиков почувствовал, что краснеет.

Ефимов сидел в кабинете без френча, в чистой белой рубашке и читал при свете керосиновой лампы.

— Аркадий,— сердито произнес он,— я отпустил тебя знакомиться с городом, а ты загулял, как молодой купчик. Погляди, тебя ноги не держат. Ты что, пил где-нибудь?

— Пил, товарищ командующий. Купил бутылку без этикетки. Оказалась ужасная гадость: сидро на сахарине. От него еще больше захотелось пить.

— Где ж ты был до глубокой ночи? — Ефимов улыбнулся.

— Вы сказали, другой возможности не будет. Я обошел Кремль, Красную площадь, был в Третьяковской галерее и Музее изящных искусств. А напоследок попал в Художественный театр. Я не знал, что так поздно кончится.

— Хорошо, расскажешь утром. Здесь в котелке твоя каша. Поешь и отправляйся спать.

Ночью положение на фронте ухудшилось. Ефимову было не до впечатлений Аркадия о Москве. А Голиков при всей лавине дел, которая на него обрушилась, ни на час не забывал, что в жизни его случилось неповторимое.

Он видел золотистый, сияющий тайным незримым огнем полумрак картины Рембрандта; его слепило солнце и неправдоподобно яркая зелень на картинах Ван Гога; он ощущал стремительность и плавность танца на нежно-голубых полотнах Дега. А в Третьяковской галерее его потрясли Суриков и Репин. Он впервые видел не черно-белые рисунки в «Ниве», а стоял возле самих картин. И пока не зазвонил колокольчик, извещающая, что музей закрывается, не мог оторвать взгляда от двух полотен: «Иван Грозный и сын его Иван» Репина и «Боярыни Морозовой» Сурикова.

Командующий оказался прав: другого такого дня у Голикова никогда в жизни больше не было.

ТЯЖЕЛА ТЫ, ШАПКА АДЪЮТАНТА

Аркадий вставал раньше Ефимова — ровно в пять. Обливался в ванной комнате холодной водой. Затем шел к дежурному по штабу и выслушивал, какие сведения поступили за ночь по телефону с ближайших железнодорожных узлов и станций. Все это он коротко заносил в блокнот. Затем подымался к телеграфистам, где его ждали уже рассортированные депеши.

В шесть утра к себе в кабинет проходил Ефимов, розовый и бодрый от утренней гимнастики по системе Мюллера, которой он занимался много лет. Не очень новый френч сидел на полноватой фигуре командующего без единой морщинки. Белый подворотничок он каждое утро пришивал себе сам.

После того как Ефимов, пожав ему руку, скрывался в ка-

бинете, Аркадий начинал волноваться и ждал вызова. Когда штаб еще только создавался и людей не хватало, утренний отчет о поступивших за ночь сообщениях делал Аркадий. Эта обязанность за ним осталась. Ефимов требовал от Голикова краткости, четкости и умения выделить главное. При этом он говорил:

— Аркаша, не забывай о мелочах. На войне мелочей не бывает.

Хотя еще в реальном считалось, что Голиков умеет хорошо рассказывать, Ефимов докладами Аркадия поначалу был недоволен. У командующего возникло впечатление, что Аркадий пропускает или упускает что-то очень важное. И несколько раз Ефимов сам перечитывал все телеграммы.

— Голиков, у вас отменная память,— говорил командующий, переходя на «вы»,— но я предпочитаю, чтобы у вас четче и взвешенней работала мысль. Вы на час раньше меня получаете сведения, но за час на фронте многое может произойти...

После каждого неудачного доклада Аркадий находил время, чтобы тщательно разобраться, где он допустил промах. Вспоминать, как было стыдно перед Ефимовым, Голикову было мучительно, но он заставлял себя переступить через эту муку, чтобы избежать замечаний на следующее утро.

Вот почему в ожидании вызова Аркадий чуть заметно шевелил губами, быстро проговаривая новости по степени их значимости и вновь проверяя себя, не упустил ли чего-нибудь... Если Аркадий успевал эти новости про себя повторить, то уже никакие записи ему не были нужны — он помнил географические названия, номера поездов, количество пострадавших паровозов и вагонов, время, потребное для ликвидации аварии на том или ином участке разветвленной железнодорожной сети.

Из кабинета доносился звон настольного колокольчика. Аркадий брал папку с телеграммами — на тот случай, если Ефимов пожелает сам их просмотреть,— и открывал дверь.

Ефимов сидел под громадной, во всю стену, картой железных дорог. На ней были обозначены линии фронтов, районы действия банд, которые мешали или угрожали нормальному движению. Особыми значками были отмечены повреждения мостов, водокачек, железнодорожного полотна. Черными фишками — места, где поезда были пущены под откос.

Утренние доклады Аркадия состояли из двух частей: общее положение на фронтах и обстановка на железных дорогах.

— По сообщению, которое поступило в четыре утра,— рас-

сказывал Аркадий, — взорван мост через реку. Как быстро он может быть восстановлен, сведений нет. — И прикалывал значок. — В пяти местах за ночь оказались разобраны рельсы. В результате потерпели катастрофу два эшелона. Один — с хлебом, другой — с войсками. Имеются жертвы, количество не сообщается.

По мере того как Голиков докладывал о происшествиях и разрушениях, Ефимов все глубже погружался в мягкое кресло, словно взлетевшие в воздух мосты, оторванные от шпал рельсы и сваленные взрывом под насыпь локомотивы и теплушки своей тяжестью наваливались на его неслабые плечи.

— Чья работа? — случалось, спрашивал он.

— Мост и два участка полотна повреждены анархистами. Они оставили записки: «Стыдно пользоваться железными дорогами, построенными эксплуататорами». Эшелон с хлебом пущен под откос бандой какого-то Мозгляка. Пятеро налетчиков убиты нашей охраной. Остальные ускакали.

— Значит, могут вернуться. — Командующий начинал раскачиваться в кресле, словно от боли.

Железные дороги оставались беззащитными. Они тянулись на тысячи километров. И не было возможности ставить часового возле каждого рельса или каждой водокачки. Такое позволяли себе, отправляясь в поездку, только цари, и то на одном участке и на короткое время, пока пройдет их литерный поезд.

А случалось, что ночью телеграммы не поступали вовсе. Или приходило их очень мало, потому что бандиты спиливали столбы и перерубали топорами провода. В те тридцать — сорок минут, что у него оставались до утреннего доклада, Аркадий спешил получить какие-либо сведения на узле связи РВСР, о чем имелась особая договоренность. Но там этими сведениями, которые были секретными, делились неохотно.

Ближе узнав командующего, Аркадий понял: Ефимов не может привыкнуть к ежедневным потерям вагонов, паровозов и всякого иного железнодорожного имущества, которое теперь принадлежало народу, не говоря уже о том, что каждая диверсия усложняла и без того нелегкую обстановку на фронте.

22 января 1919 года утренний рапорт прошел спокойно. Аркадий доложил, что один из отрядов охраны разбил, наконец, банду Мозгляка, а другой помешал взорвать мастерские по ремонту паровозов. Ефимов был доволен сообщениями. Когда же Аркадий спросил: «Я могу идти?», Ефимов ответил: «Обожди минуточку».

Командующий открыл сейф, достал офицерский кортик

в новых позолоченных ножках с рукояткой из слоновой кости и протянул адъютанту.

— Сегодня день твоего рождения. Тебе исполнилось пятнадцать лет. Поздравляю. Благодарю за службу и желаю поскорее вернуться домой.

Аркадий был потрясен.

В тот же день главком Вацетис вызвал Ефимова к себе, и командующий взял адъютанта с собой. Поезд Ефимова доставил их в Серпухов, где находилась Ставка. Вацетис принял их в бывшем вагоне-ресторане, переделанном в штабной вагон. Главком был невысок, плотен и широкоплеч. Лицо его было массивным, почти квадратным, в глазах ощущалась напряженная работа мысли, оттого, наверное, они казались всевидящими.

Аркадий помнил Вацетиса по Арзамасу, когда встречал главкома у здания бывшей духовной семинарии, где располагался штаб Восточного фронта. И всякий раз Аркадий подолгу смотрел ему вслед, размышляя: «Этому человеку доверены сотни тысяч красноармейцев. Он волен, когда понадобится, послать их в наступление. Волен наступление задержать. И его приказу обязан подчиниться любой командир. Что же дает одному человеку такую власть над людьми?.. И почему революция выбрала на этот пост именно Вацетиса?»

Позднее от Ефимова Аркадий узнал, что судьба Вацетиса была необычной. Родился он в семье латышского крестьянина. Поступив на военную службу, обнаружил замечательные способности: стал офицером и даже закончил Академию Генерального штаба, что вообще было редкостью. В первую мировую Вацетис командовал полком. А когда началась Октябрьская революция, перешел вместе с солдатами на сторону Советской власти. В январе 1918 года он руководил подавлением мятежа польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого. А в июле 1918 года, когда эсеры подняли мятеж в Москве, подавлением мятежа вместе с Подвойским руководил Вацетис. Через несколько дней Вацетис был назначен командующим Восточным фронтом, два месяца спустя он стал Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Республики.

Иоаким Иоакимович пригласил Ефимова к столу, на котором была разложена карта. Аркадий молча последовал за командующими, держа под мышкой несуразную, но вместительную папку с надписью «Ноты».

— Прошу вас.— Вацетис показал Ефимову на глубокое кресло и сел сам, Аркадий остался стоять.— В связи с одной операцией я желал бы узнать, насколько надежна охрана

путей для бесперебойной доставки грузов и живой силы.

— Какой участок вас интересует? — спросил Ефимов.

Вацетис помедлил, затем перевел глаза на Аркадия, давая Ефимову понять, что предпочел бы разговор наедине.

— Мой адъютант Аркадий Голиков — сын комиссара полка. Он в курсе всех событий на железных дорогах страны.

Вацетис прямо, не мигая посмотрел на Аркадия, на его мальчишеское лицо с оттопыренными ушами, упрямо сжатым ртом и смелыми глазами. И, снова помедлив, произнес:

— Хорошо, пускай остается.

— Какая дорога вас интересует? — спросил снова Ефимов.

— Южное направление.

Аркадий вынул из папки вдвое сложенный лист и разложил его поверх большой карты. Это была схема железных дорог, нарисованная цветными карандашами, — плод старания самого Аркадия. Профессиональный картограф, по всей видимости, обнаружил бы в ней кучу недочетов, но схема имела и несомненные достоинства: на ней были обозначены станции, мосты, тоннели, водокачки, а кроме того, имелось множество загадочных пометок, которые понимали только два человека — Ефимов и Аркадий.

Система обозначений была придумана Аркадием — на случай, если бы схема попала в чужие руки. Ефимов к шифру долго не мог привыкнуть, считал его игрой и поначалу сердился на Голикова, но со временем убедился, что система значков весьма дельна.

Вацетис, взглянув на схему, поинтересовался, что означают кружочки, квадратики, треугольники или, скажем, точки над мостами.

— Этот шифр, — улыбувшись, произнес Ефимов, — придумал Аркадий. Ему последнее время всюду мерещатся разведчики белых.

Вацетис снова и уже с интересом поглядел на Голикова.

— Мы их немало отлавливаем, — произнес Вацетис, — а сведения из штабов продолжают утекать... Как же понять: две точки над мостом?

— Мост был сильно разрушен, товарищ главком, — спокойно ответил Аркадий, — и движение по нему возможно с большой осторожностью.

— А кружочки и квадратики? Вы подойдите поближе.

— Кружочки — места расположения наших войск охраны, а квадратики — зоны действия банд, представляющих угрозу для движения эшелонов.

— Вы можете нам эту карту оставить? — обратился Вацетис к Ефимову.

— Аркадий, есть у нас еще такая?

— Такой нет, но на вашей карте все помечено. И потом, я все помню.

— Ценный у вас, Ефим Осипович, работник,— заметил glavkom.

...Спать приходилось все меньше. Порой не более двух часов, а когда началось наступление на южном направлении, Голиков трое суток, как и Ефимов, не спал совсем. Телеграфные сообщения шли лавиной. О том, чтобы удержать их в памяти, не могло быть и речи. И Аркадий каждые три часа готовил сводку и составлял проекты писем в ответ на многочисленные запросы.

Командующий, подписывая документы, подготовленные Аркадием, как-то заметил:

— Будь ты постарше, я бы дал тебе должность повыше.

Однажды, уже стоял февраль, Ефимов вышел в приемную в полушубке, с маузером в деревянной кобуре и с шашкой.

— Я уезжаю на Советскую площадь,— произнес он.— Герой, не хмурься! Я взял бы тебя, но в машине нет бензина, и я поеду верхом.

Аркадий уже знал, что должно произойти на Советской площади, и попросил:

— Товарищ командующий, мне горько! Разрешите и мне поехать верхом с вами?

Ефимов кивнул.

Аркадий помчался на конюшню выбирать лошадь потише, потому что держался в седле еще плохо: ездить верхом учился в Арзамасе, на старой водовозной кляче, которую ему иногда позволяли довести до речки Тёши и там напоить. На конюшне Голикову оседлали высокого, лукавого коня. Едва Аркадий доскакал на нем до площади, конь стал храпеть, крутить мордой и толкать крупом других лошадей. В этот момент вся площадь замерла, и на балкон вышел Ленин. Аркадий поднялся на стременах, чтобы лучше разглядеть Владимира Ильича, но конь его вздрогнул, попятился и захрапел. И во время короткой речи Ленина Голиков потратил все свои силы на то, чтобы конь стоял смиренно и дал хотя бы другим дослушать то, что скажет вождь.

Когда Ленин закончил говорить и площадь загрела криками и музыкой, Аркадий в гневе и слезах ожег своего коня нагайкой и помчался куда глаза глядят по пустынным, занесенным сугробами улицам. В памяти у него навсегда остался напряженный усталый голос, который звал их всех помочь революции.

Возвратясь в штаб, Аркадий написал рапорт с просьбой

отпустить его на фронт. Ефимов прочитал и разорвал. Утром, сообщив о всех полученных за ночь телеграммах, Аркадий положил на стол новый.

— Да обожди ты со своими рапортами,— утомленно попросил Ефимов,— я сам скоро поеду на фронт и возьму тебя.

Но командующему хватало дел и в Москве, а Голиков больше ждать не хотел.

— Хорошо,— наконец согласился Ефимов.— Отпускаю. Только сначала пойдешь учиться. На курсы краскомов берут обстрелянных и с восемнадцати лет. Но я позвонил Вацетису, и он разрешил...

Ефимов хотел побереечь мальчишку. Помнил он и просьбу Натальи Аркадьевны. А на командных курсах Красной Армии учились полгода. Все-таки мальчишка станет повзрослей, думал Ефимов.

Но повернулось все иначе.

КРУШЕНИЕ

Впервые за три месяца Аркадий не торопясь шел по улице. В руках у него был полупустой чемодан, с которым он уезжал из дома. За плечами — мешок с запасным обмундированием и пайком.

Служба в штабе кончилась. Думал он об этом с радостью и с сожалением: расставаться с Ефимовым было жаль. При всей своей занятости командующий проявлял о нем заботу, находил полчаса, чтобы просто посидеть, поговорить. Они привязались друг к другу, но Аркадий мечтал о подвигах и боялся, что гражданская война закончится без него.

Голиков прошел мимо здания РВСР и по Большому Каменному мосту — мимо Кремля. Люди, которые встречались Аркадию, волокли на саночках мешки, узлы, вязанки дров, фанерные чемоданы и нехитрую мебель: стулья, столики, этажерки. Мебель в равной мере могла служить для удобства и украшения комнат, а могла пойти на дрова. Возле лавки с вывеской «Продажа конского мяса» выстроилась длинная очередь: столица жила голодно и трудно.

Московские командные курсы Красной Армии помещались на Пятницкой улице, в старинном особняке с белыми колоннами.

Когда Аркадий прошел в ворота, он удивился суматохе, которая царилла во дворе. Курсанты грузили на подводы

матрасы, связки книг, киты новых шинелей, перевязанных ремешками.

У распахнутых дверей здания Аркадий встретил невысокого крепыша. Он стоял без шинели, в одной гимнастерке. Из-под козырька его фуражки выбивался чуб. А на рукаве была повязка с надписью «Дневальный».

— Скажите, где тут канцелярия? — обратился к нему Голиков.

— Да ведь мы уезжаем, — весело ответил крепыш.

— Значит, поеду вместе с вами, — в тон ему ответил Голиков.

Дневальный провел его по коридору и показал, где канцелярия. Аркадий вошел в просторную, с высоким потолком, почти пустую комнату. В ней оставался еще только громадный, распахнутый сейф, а возле него — письменный двухтумбовый стол, за которым сидел высокий худой человек в застиранной гимнастерке с маленьким пистолетом на поясе. Посапывая трубкой, зажатой в зубах, человек укладывал бумаги из сейфа в переносной железный ящик.

Щелкнув каблуками, Аркадий представился:

— Бывший адъютант командующего войсками по охране железных дорог Республики Аркадий Голиков. Прибыл для поступления на курсы.

Человек кивнул, пыхнул стружкой дыма и, надавив на стопку бумаг в ящике, попытался закрыть крышку, но у него ничего не получилось. Аркадий, не зная, что ему делать дальше, спросил:

— Могу я видеть начальника курсов?

— Начальника нет. Документы можете оставить мне, — ответил странный человек, не вынимая изо рта трубки. Он захлопнул наконец ящик и запер его на ключ. А заметив недоуменный взгляд Аркадия, добавил: — Иван Андреевич Бокк. Комиссар курсов. — И, убедившись, что ящик уже не распахнется, протянул Аркадию руку. — Идите устраивайтесь. Я буду иметь вас, Голиков, в виду, — произнес Бокк, будто Аркадий его о чем-то просил.

На рассвете курсантов погрузили в теплушки. Дневальный, с которым Аркадий накануне познакомился, был из одного с ним взвода. Сначала бывший дневальный принес почти ведерный медный чайник и сразу водрузил его на «буржуйку», а затем убежал опять и возвратился с двумя восьмифунтовыми ковригами хлеба под мышкой.

— Одна коврига моя, — объяснил он Голикову, — другую я взял на твою долю. А теперь давай знакомиться: Оксюз Яшка. — И протянул руку.

Двумя ближайшими соседями оказались низкорослый, беспокойный Левка Демченко и медлительный, с крупными чертами лица Федорчук.

Поезд тронулся и неторопливо, однако почти без остановок направился к югу. Утром состав проплывал уже среди зеленющих рощиц и пробуждающихся полей. Вместо серых и темных изб начали мелькать белые мазанки. Воздух постепенно нагревался, делаясь теплым и сухим. На одной из станций, не доезжая Конотопа, эшелон сделал остановку. Мимо вагонов пробежал Бокк. Вскоре он появился с седеющим железнодорожником, видимо начальником станции.

— Я же не виноват, что испортился паровоз, — убеждал железнодорожник. — Новый я смогу вам дать только часа через два.

— Хорошо, два часа мы подождем, — согласился Бокк.

К начальнику станции подошел рабочий в замасленной одежде, с похожим на ломик костылем для перевода стрелок.

— Иван Семенович, что делать с товарным? — спросил рабочий.

— Да пропускай его, раз воинский стоит.

На соседнем пути добродушно гуднул паровоз, лязгнула сцепка, и слышно было, как за стенкой теплушек проплывает тяжело груженный поезд. Наверное, через час подали новый паровоз к курсантскому составу. Эшелон тронулся, набирая медленно скорость.

На раскалившейся докрасна печурке закипел чай. Пар с трудом приподымал тяжелую медную крышку. Оксюз разлил по кружкам кипяток, нарезал толстыми ломтями хлеб.

Желая наверстать упущенное время, машинист прибавил пару. Мимо распахнутой двери теплушки замелькали мазанки, колодцы, заборы, распускающиеся деревья, отошавшие за зиму, впервые выпущенные в поле коровенки. Внезапно паровоз тревожно загудел, словно сгоняя кого-то, заснувшего на рельсах. Завизжали намертво схваченные тормоза. Чайник слетел с печурки, случайно никого не обварив. Расплескивая кипяток из кружек, роняя хлеб, курсанты хватались за стены, за доски нар, чтобы не свалиться на пол, не выпасть из вагона.

Аркадий с Оксюзом выпрыгнули из теплушки, побежали вперед, к паровозу. Следом за ними и обгоняя их бежало еще десятка три курсантов. Перед локомотивом стоял человек в старой солдатской гимнастерке, сапогах и фуражке. В руках он держал красный сигнальный флажок.

— Впереди, — задыхаясь, произнес он, — впереди... товарный разбился...

— А ведь крушение предназначалось нам, — догадался кто-то из курсантов.

Аркадий вздрогнул. Он впервые столкнулся с крушением, одним из тех, которые еще несколько дней назад отмечал значками на карте. Такой значок сегодня вечером поставит на карте Ефимова новый адъютант. А он, Аркадий, вместе с этими ребятами уже мог лежать под обломками.

Поиски бандитов, которые подстроили крушение, ни к чему не привели. Курсанты направились к разбитому составу. Они увидели опрокинутые паровоз и вагоны. Рядом — тела машиниста, кочегара и бойцов охраны. Глядя на искалеченный поезд и убитых, Аркадий ощутил такой же холод, как возле Стригулинских номеров, когда в темноте блеснула сталь ножа. Уже второй раз смерть прошла совсем близко.

ДВА ГОДА — ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

К вечеру в лучах солнца за распахнутой дверью теплушки мелькнула полоска широкой реки, усеянной островками, на высоком береговом склоне блеснул золотой шлем собора — то была Киево-Печерская лавра.

Аркадию показалось, что в нем просыпается и рвется наружу какое-то воспоминание. Какое же?! И вдруг: «В Киеве родилась мама!» — и картины одна за другой понеслись в памяти.

Он был еще совсем маленьким, когда родители привезли его сюда. Он с нетерпением ждал встречи с дедом, о котором ему рассказывала мама. А дед их принял строго, как чужой, говорил с мамой резким, грубым голосом. И мама плакала.

На самом деле, позднее понял Аркадий, дедушка Аркадий Геннадиевич Сальков не был злым. Если никто не видел, дедушка брал его на руки и прижимал к себе, и борода его совсем не кололась, наверное, потому, что часто была мокрой, как будто дедушка выставлял ее на дождь. Маленький Аркадий любил, когда дедушка тайком брал его на руки: он дотягивался до малинового, покрытого эмалью крестика над карманом и мог им играть.

Лет пять назад поступило известие, что дедушка умер. Мама громко плакала, в чем-то себя обвиняя, отец давал ей пить воду с валерьяновыми каплями и выглядел виноватым. Дети отнесли к смерти далекого загадочного дедушки безразлично. А сейчас Аркадий пожалел, что не сможет его повидать.

В семье Сальковых мужчины поступали только на военную службу. Не было за минувших двести лет такого похода или кампании, где бы не участвовали Сальковы.

«Будь дедушка жив, он бы, наверное, был доволен, что я тоже военный», — горделиво подумал Аркадий.

...Курсантов разместили в громадном мрачном здании бывшего кадетского корпуса. Аркадий обрадовался, когда его кровать оказалась рядом с кроватью Оксюза. Разложив в тумбочке вещи, Аркадий разделся до трусов, схватил полотенце, мыльницу с кусочком пайкового мыла и собрался бежать в умывалку.

— Обожди, пойдем вместе, — предложил Яшка. Он тоже был в трусах, но в рубашке.

— Сними рубашку-то, — заметил Аркадий, — где ты ее будешь в умывалке вешать?

Оксюз ничего не ответил, будто не слышал, и направился к двери.

В длинной узкой туалетной комнате множество водопроводных кранов было установлено с двух сторон. Курсанты, хохоча, обливали друг друга, перебрасываясь шуточками, что-то мурлыча, чистили зубы, брились, лили воду себе на лицо, грудь, спину. Двое курсантов посolidней и постарше терли по очереди спины мочалками. И только Яшка Оксюз мыл лицо, шею, грудь и спину до лопаток, не снимая рубашки, и раньше всех отправился обратно в спальню.

Аркадий любил воду и уходить не спешил. Он исхитрился и почти лег под кран, и холодная струя разливалась по плечам, шее и спине.

Когда Голиков вернулся в спальню, там, уже одетый, сидел на своей койке Оксюз. Темные густые волосы его были зачесаны назад, а смуглое лицо спокойно и сосредоточенно. В руках он держал книгу Августа Бебеля «Женщина и социализм». Оксюз читал, едва заметно шевеля губами.

— Ты, Яш, зря так быстро ушел, — попенял ему Аркадий.

— Я пока почитал, — дружелюбно ответил Оксюз, не отрываясь от книги.

— Да цыганы отродясь не моются, — внезапно заявил Федорчук, который за минуту перед тем вошел в комнату. — Ни домов у них, ни дела — ничего. И почему ты, Оксюз, в армию пошел, не пойму. Ведь вас, цыганов, даже не призывают. Гуляя бы себе...

— Федорчук, замолчи! — крикнул Аркадий.

— Не волнуйся, Аркаша, не надо, — спокойно ответил Оксюз, кладя на подушку книгу. — Я, Федорчук, не цыган, хотя и родился в Молдавии. Бабушка моя со стороны матери была

из Венгрии, дед — из Польши, а дедушка со стороны отца был турок-контрабандист. Но когда в 1914 году в нашем местечке начался еврейский погром, то моих родителей и дедушку-турка, который уже давно не занимался контрабандой, зарубили казаки. И я бы мог, Федорчук, уехать в Польшу, в Венгрию, даже в Турцию, где у нас живут родные. А я пошел в революцию, чтобы все люди были равны и чтобы в нашем местечке больше не было еврейских погромов.

— Яшка, я не про то, — смешался Федорчук. — Мылся ты в рубашке. А цыганы, я вспомнил, вообще никогда не моются.

Тут хладнокровие вдруг оставило Яшку. Он с лязгом растегнул пояс, сорвал с себя гимнастерку вместе с нижней рубашкой и повернулся к Федорчку спиной. От шеи и до пояса она была в продольных, неровно и выпукло заживших шрамах. Голиков не видел ничего подобного.

— Когда во время погрома схватили родителей, я от страха убежал, — сказал Яшка. — Меня спрятали соседи, но кто-то донес, что они прячут жиденка. Меня нашли и привели к офицеру. Тот был пьян и кривлялся: «Плохие дяди убили твою мамочку и твоего папочку, а я тебя пожалею и поглажу». И он «гладил» меня по спине острой шашкой.

— Ударь меня, Яшка, ударь, я сволочь! — закричал вдруг Федорчук.

— Ты не сволочь, Федорчук, — спокойно произнес Яшка. — Ты хороший парень, только мусора в башке твоей много. Пойдем, что ли, обедать? Вон уже труба.

На следующий день начались занятия. Когда Аркадий в перемену отыскал огромное полотнище с расписанием, у него зарябило в глазах. В программу входили: русский язык, арифметика, природоведение, история, география, геометрия, пехотные уставы, фортификация, пулеметное дело, тактика, топография, основы артиллерии, военная администрация, после обеда — практика.

Во второй половине дня были строевые учения, топографические занятия на местности, саперные работы, езда верхом, упражнения с холодным оружием и каждый день стрельбы: из винтовки, револьверов всех систем и пулеметов «максим», «льюис» и «гочкис». Для Аркадия самым трудным поначалу оказалась езда верхом, когда надо было удержаться на широкой и гладкой лошадиной спине без седла и уздечки. Сперва конь, которого преподаватель держал на корде, шел медленно, потом ход его ускорялся, и не оставалось ничего иного, как ногами обхватить круп, а руками — шею и так продержаться хотя бы несколько минут.

Классные и практические занятия с перерывом на обед

продолжались в общей сложности двенадцать часов. И еще два часа отводилось на самоподготовку, когда нужно было успеть просмотреть пособия и учебники. Поэтому, когда в одиннадцать вечера звучал отбой, Голиков, как и остальные, бросался к своей койке. Через пять минут все, кроме дежурных, спали как убитые.

В шесть утра их подымала труба, затем километровая пробежка по плацу, обтирание холодной водой, не слишком сытный завтрак — и снова четырнадцатичасовой рабочий день. Лишь в воскресенье полагался выходной.

То была двухгодичная программа офицерского пехотного училища, основательно дополненная политической подготовкой. Все это курсантам предстояло освоить за шесть месяцев. Однако и слушателям и преподавателям было очевидно, что вряд ли нынешнему набору удастся проучиться такой долгий срок: слишком тревожными были вести с фронтов, в том числе самого ближнего — петлюровского, он проходил неподалеку от Киева.

Об этом, проводя политзанятия, сказал и комиссар Бокк. — Гарнизон Киева ненадежен, — заявил он. — Западная Украина кишит белыми бандами. Будьте готовы ко всему. Внимательно следите за тем, что делается вблизи и вокруг нас. Помните, что враг не так страшен в открытом бою, как опасен своей хитростью.

«ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАЮТ»

В воскресенье Аркадий получил увольнительную и собрался в город. Ему хотелось побродить по Крещатику, побывать в Софийском соборе и в Киево-Печерской лавре. А кроме того, он надеялся найти через адресный стол маминых родных. Дедушки не было в живых, но ведь кто-то остался!

Голиков дошел до Кадетской роши, услышал голос трубы: та-тара-та-та-тата, — сбор! И кинулся назад. Когда вместе с курсантами он вбежал в здание училища, то увидел, что уже отворены вещевой, продовольственный и оружейный склады. Суетились каптеры. С охапками полученного имущества спешили к себе в комнаты те слушатели, которые не уходили в увольнение. Аркадий, еще не зная зачем, получил винтовку, патронташи, двадцать обойм, смену белья, сухой паек, саперную лопатку, котелок и флягу.

Через час два первых курса построились на плацу. К ним вышел Бокк.

— Товарищи курсанты! Атаман Григорьев со своими войсками внезапно выступил против Советской Украинской Республики, чтобы соединиться с батькой Махно. Атаман Григорьев объявляется вне закона. В случае обнаружения или его захвата он подлежит расстрелу на месте. Говорю вам об этом, потому что мы отправляемся на григорьевский фронт.

...Николай Григорьев в военных кругах считался темной лошадкой. Штабс-капитан царской армии, он служил после революции у гетмана Скоропадского. Затем у Петлюры. Когда в феврале 1919-го Симон Петлюра потерпел сокрушительное поражение, Григорьев заявил о своем переходе на сторону Красной Армии. Командуя сначала бригадой, потом дивизией, Григорьев участвовал в освобождении Николаева, Херсона и Одессы от интервентов. И вот теперь, когда положение Советской Республики ухудшилось, он переметнулся к Махно. Авантюрист, лишенный всяких убеждений, он служил тому, кто в данную минуту казался ему сильнее.

Курсантов поздно вечером погрузили на пароход. Шлепая широкими плечами, отчаянно дымя, судно медленно спускалось вниз по Днепру. Как только рассвело, Аркадий устроился возле патронных ящиков на верхней палубе и смотрел на разлившуюся по-весеннему реку, на песчаные подмытые берега, с которых клонились готовые обрушиться в стремительный поток дулистые ивы.

Речной простор, долбленные лодки рыбаков, неторопливо снующие по реке, уютные мазанки под соломенной крышей — все это успокаивало и навевало мирные, домашние мысли. Голикову вспомнились прогулки с матерью и отцом по Волге и пикники на берегу — с белой скатертью, расстеленной на траве, с кипящим самоваром, нагретым непременно сосновыми шишками, с долгожданными пирожными-птифурами — из белых тщательно перевязанных коробок. Воспоминания внезапно перебила острая, пугающая мысль: «А если убьют?»

С правой стороны проплыл крутой, высокий берег. Сверху донизу он зарос кустами и деревьями. А венчал его белоснежный собор под зеленым могучим куполом. На легкой волне покачивался пустынный дебаркадер, по фронтому которого темнела надпись: «КАНИВ». От неожиданности Голиков вздрогнул. Это был древний город Канев. Где-то здесь, согласно поэтическому завещанию: «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Україні милій», покоился Тарас Григорьевич Шевченко. Его стихи любил отец.

Еще совсем маленьким Аркадий знал о судьбе Шевченко,

который был сначала крепостным, но его талант поэта и художника был столь очевиден, что выдающиеся люди России, среди которых был поэт Василий Жуковский, выкупили его из неволи. Однако царь вскоре сослал Шевченко за стихи в солдаты, в пустыню, запретив писать и рисовать. Когда же кончилась и эта неволя, силы Тараса Григорьевича были уже подорваны.

Быстро вынув бинокль из кожаного футляра, Аркадий стал метр за метром осматривать берег. Где-то здесь Шевченко и был похоронен, но его могилу он так и не увидел.

«Останусь жив,— подумал он,— непременно побываю в Каневе».

В Кременчуг пароход прибыл ночью. Как только старая посудина, обдирая бока, причалила к берегу, невесть откуда появился прихрамывающий военный. Размахивая длинноствольным смит-вессоном, он закричал: «Скорей, давайте скорей!» — словно с этим пароходом были связаны все его надежды.

Не дожидаясь, пока доволокут тяжелый, с перилами трап, курсанты, передавая друг другу пулеметы, ящики с патронами и заплечные мешки, набитые по преимуществу теми же обоймами и гранатами, начали прыгать с невысокого борта на землю.

Отчего кричал и торопил хромающий военный, стало понятно, когда курсанты двинулись пешком через город. Навстречу им спешили толпы отступающих красноармейцев: кто с винтовкой в руке, кто с одним только заплечным мешком, а иные без всякой поклажи и даже без сапог — чтоб легче было бежать.

Комиссар Бокк, назначенный командиром экспедиционного отряда, срываясь на фальцет, закричал:

— Курсанты, стой! Первый взвод! Взять два пулемета, остановить бегущих и вернуть их в окопы. Остальным прибавить шагу — шагом марш!

Передовая проходила за чертой города, у самой его кромки. Курсанты спускались, сползали, прыгали в полупустые окопы и ходы сообщения. Боец от бойца находился в пяти,- а то и десяти метрах.

А Григорьев готовил наутро серьезное наступление. Он сам оповестил об этом, разбросав с самолета на рассвете листовки. И не обманул. Вскоре вдали замаячили первые всадники. Видимо, лазутчики атамана, сообщив о панике среди обороняющихся, не успели сообщить, что красные получили подкрепление. Кавалеристы выплыли из-за рощицы не торопясь, чтобы не утомлять коней. Своей продуманной неспешностью они

давили на психику, норовя усилить панику. Операция была разработана до деталей.

В полукилометре от окопа григорьевцы дружно блеснули саблями, припустили коней и понеслись с гиканьем и лихим разбойничьим свистом. Голиков и сам, заложив два пальца в рот, мог свистнуть, оглушив всю округу. Но ему еще не приходилось слышать, чтобы сразу свистело, да так согласно, столько народу. От дружного пронизывающего звука закладывало уши и начинало мешаться в голове. Голикову понадобилось усилие, чтобы не сорваться и не побежать, не от страха — от желания больше не слышать пронизывающий перепонки, сводящий с ума звук.

Голиков остался на месте и, пересилив себя, приложил к плечу приклад, поймал в прорезь мушки всадника на крупном сером коне и мягко нажал спуск. Конь дернулся и подогнул передние ноги. Выстрелы ударили слева и справа от Аркадия, заработал «максим». Разбойничий свист стал нестройным, заслонился выстрелами и оборвался. Несмотря на пальбу, Голикову показалось, что в воздухе стало необыкновенно тихо. Только еще звенело в ушах.

Все больше коней и всадников останавливалось, падало, кружилось на месте, словно наталкиваясь на невидимую преграду: час ежедневных упражнений в стрельбе не прошел для курсантов впустую.

Снова трижды подряд раздался пронзительный свист. И опять от него заложило уши. Но, услышав сигнал, кавалеристы начали поспешно разворачивать коней и понеслись обратно. Наступило затишье.

Пользуясь им, из тыла подогнали полевые кухни. Тут все вспомнили, что ринулись в бой, не позавтракав. Но поесть не удалось. Загрохотали трехдюймовки. Снаряды ложились все ближе к окопам, и через четверть часа появилась пехота противника. Она не спешила, выжидая, пока пушки проделают свою опустошительную работу, но все-таки приближалась, чтобы к тому моменту, когда артиллерия замолчит, быть ближе к траншеям красных.

— Голиков, — обратился к Аркадию Бокк, — вот вам пакет. Скачите во весь мах в Горлевку и передайте командиру, пусть поторопится. Дорога на Горлевку начинается за мельницей. Там, у разведчиков-наблюдателей, возьмете коня.

Голиков сунул за пазуху пакет, поправил винтовку, вылез из окопа и побежал в сторону мельницы. Показав конверт с сургучными печатями, он взял коня и помчался верхом.

Еще полтора месяца назад, помня свою беспомощность на Советской площади, когда норовистый конь помешал услышать

Ленина, Голиков не рискнул бы отправиться верхом, но теперь он уверенно сидел на лошади даже без седла.

Голиков быстро домчался до Горлевки. Здесь он увидел, что сводный отряд готов к походу. Люди были построены. Рядом с колонной расположился обоз с мешками, ящиками, узлами. Обозу в бою вроде нечего было делать, но думать сейчас об этом Аркадию было недосуг. Все решали минуты.

Голиков подлетел к командиру, громадному детине, который сидел верхом на могучем, с лохматой гривой коне, похожем на тяжеловоза. Револьвер на поясе командира и серебряная шашка через плечо выглядели игрушечными.

Аркадий лихо осадил коня у самой морды тяжеловоза, протянул пакет. Детина, щурясь, прочитал приказ и сказал:

— Кати, хлопчик, обратно.

— А какой ответ? — удивился Голиков, который полагал, что вернется со сводным отрядом.

— Ответ?.. Ну, коли нужен ответ, то могу сообщить, что через двадцать минут мы выступаем. (Голикову в этих словах послышался второй, неясный смысл.) А может быть, ты желаешь с нами? — И опять что-то недосказанное прозвучало в его голосе.

Загадочность речи и медлительность детины, когда уже начался бой, не понравились Голикову.

— Я должен передать ваш ответ, — сказал он и помчался обратно.

Дорога пролегла мимо хлебного поля; затем вдоль проселка потянулась молоденькая кукуруза, а там оставалось проскочить лес — наверное, самую неприятную часть пути. За лесом начинался луг, где стояли наши.

В лесу Аркадий был насторожен и собран. Здесь легко могли подстрелить или, натянув веревку, выбить из седла. Когда же Голиков благополучно проехал заросли, слева, из-за холма, послышался торопливый стук копыт (Аркадий машинально выхватил маузер), и появился всадник. Это был командир батальона.

— Голиков, хорошо, что я вас встретил! — обрадовался комбат. — Летите вон туда, на Моховой холм. Передайте командиру батареи, чтобы открыл ураганный огонь по Горлевке.

— Но в Горлевке наш сводный отряд. Я только оттуда.

— Курсант Голиков, выполняйте приказ! — крикнул командир, и взмыленный его конь рванул с места.

Голиков, недоумевая, повернул в сторону Мохового холма. «Неужели григорьевцы успели занять Горлевку? Куда же делся сводный отряд? Неужто сразу перебили?»

Через четверть часа Голиков взлетел на Моховой холм. Отсюда отлично просматривалась Горлевка. И никакого боя с белыми Аркадий не увидел. Наоборот, он отчетливо разглядел, что конница двинулась. Только не по дороге, а почему-то полем.

«Комбат что-то перепутал, — обрадовался Голиков, — нельзя стрелять по своим».

Батарея полузакопанных пушек стояла под акациями. Заметив Голикова, к нему кинулся батарейный командир — малый лет тридцати пяти с пышными усами.

— Давай пакет! Почему провода оборваны? — закричал он.

Но Голиков еще не решил для себя, что сказать.

«Я же ответил комбату, что там сводный, а он отмахнулся. Значит, он меня услышал. И напомнил, что приказы в бою не обсуждаются!»

Голиков побледнел, язык сразу стал сухим:

— Приказано: ураганный огонь по Горлевке.

Ухнула одна пушка, за ней другая. С холма было видно, как на окраине села взметнулся столб дыма и пыли.

...К вечеру, когда закончился бой, стало известно: сводный отряд давно принял решение переметнуться к изменникам, но по приказу самого Григорьева это держалось в строгой тайне, чтобы в решительную минуту ударить в спину красным. Обнаружилось предательство в последнюю секунду. И не открой батарея огонь по Горлевке, нашим было бы не устоять...

МЫШЕЛОВКА ДЛЯ БИТЮГА

Через несколько дней Голиков уже ехал в теплушке. Была ночь, все спали, а он сидел возле распахнутой двери, свесив ноги и прислонясь плечом к косяку. Подошвы сапог едва не касались шпал, а мимо вагона проносились копны сена, сады с созревающей вишней и белым наливом, без единого огонька дома. Аркадию не спалось.

В двух вагонах разместилось сорок курсантов. А он был назначен их командиром.

В последнее время на Украине возникло много банд. Они состояли по преимуществу из дезертиров, которые не желали служить ни у белых, ни у красных. Прятались дезертиры в лесу и называли себя «зелеными». Сначала они кормились тем, что приносили украдкой из дома, потом начали подворовывать и отбирать у населения. Не встречая отпора, нагнали,

стали издеваться над людьми, жечь неизвестно для чего дома, угонять, а то и разбойно, без всякой надобности, резать скот.

Особенно опасной стала банда Битюга. Откуда взялся Битюг, никто сказать не мог, но было известно, что атаман, объявив себя борцом «за самостийную Украину», был одержим безумной идеей: уничтожить все железные дороги. Тогда, полагал Битюг, никто путей на Украину не найдет.

Битюг проявил немалую изобретательность. Он сгонял к железной дороге крестьян, приказывал им отвинчивать или отламывать на стыках рельсы, припасая для этого специально заготовленные металлические штыри. Затем волю стаскивали под откос сначала рельсы, потом шпалы. Но и этого Битюгу было недостаточно. Он приказывал распахивать и сравнивать с землею насыпь, после чего на участке надолго замирало движение поездов. И пока восстановительные отряды снова нагребали насыпь и укрепляли шпалы, Битюг перегонял людей и волов за тридцать — сорок верст и все начинал сначала.

Обезвредить Битюга и было поручено оперативному отряду Голикова.

Курсанты расположились в селе Озерцы. Оно входило в район действия банды. Днем местные жители были сдержанны, проявляли полное безразличие к отряду красных, а с наступлением темноты то один, то другой крестьянин, пряча лицо в воротник пальто или шинели, приходил тайком в дом, где квартировал Голиков, благо хозяева перебрались на время к детям, в другую избу. Крестьяне жаловались на бандитов: у кого Битюг забрал хлеб, у кого — корову, а кому велел тут же заколоть и зажарить на вертеле десятипудовую свинью.

— А как же без коровы? — сетовали ночные посетители. — Как же прожить без кабанчика, что исты зимой, если не будет ни соленого мяса, ни сала?

— Где же прячется ваш Битюг? — добивался Голиков.

— Да кто же его знает? — сникая, отвечали ему.

— Ну хоть покажите рукой, в которой стороне?

— Он с разных приходит сторон.

Отчасти это была правда. Бандитские гнезда были везде. Недавно произошел случай. Голиков с отрядом прочесывали местность, остановились на привал. Левка Демченко закинул за плечи карабин и отправился знакомиться с окрестностями. Прошел, наверное, с полверсты, видит: хутор. Подошел поближе, спрятался за дерево: нет ли чего подозрительного? Появилась из дома старуха вида самого неприятного и ласковым голосом произнесла:

— Чего, солдатик, прячешься? Заходи в горницу. Закуси чем бог послал.

Оставил Левка свое укрытие, направился в дом, только до горницы не дошел — в сенях старуха втокнула его в открытую дверь чулана и заперла на засов. И пропал бы Левка, да спасла его находчивость. Двери он заложил мешками с мукой: стреляй — не пробьешь. Отыскал в том же чулане крошечное вентиляционное окно, выставил в него дуло винтовки и начал палить. Прибежали курсанты и выручили товарища.

Но где же Битюг? Этого местные крестьяне либо не знали, либо опасались сообщать. Сам Битюг затаился. Голиков рассылал разведчиков днем и ночью. Группы по два-три человека расходились по оврагам, расползались по хлебам, шныряли по рощам. А результат был самый ничтожный. Бандиты не выходили из леса, не появлялись в деревнях. Даже перестали разорять железнодорожные пути. Тогда в разведку Голиков отправился сам. С ним вызвались Яшка Оксюз и Левка Демченко.

Уже взошло солнце, когда разведчики остановились передохнуть на поляне. Они напились воды из ручья. Осмотрелись. Кругом глушь. Огромный кряжистый дуб широко раскидал корявые ветви во все стороны. Вывороченная с корнем вековая липа уперлась верхушкой в стоящие рядом деревья и образовала причудливые ворота. Кругом валялись догнивающие стволы и сучья. Дикие пчелы, которых так много на Воляни, с жужжанием вылетали из гнилого дупла. С соседнего болота доносилось кваканье лягушек.

— Не люблю таких мест,— сказал Яшка.— Ведьмино поместье какое-то.

Аркадию здесь тоже не понравилось.

— Пойдемте,— сказал он,— тут должна быть дорога.

Но вместо дороги они вскоре наткнулись на зловонное болото. Взяли вправо, прошли еще около часу. Лес начал редеть. Впереди между деревьями показался просвет. А дальше снова засинел загадочный лес.

— Смотрите! — обрадовался Левка.

Под ногами разведчиков была примята трава — видимо, недавно проехала телега.

— Ну, теперь-то мы куда-нибудь придем,— обрадовался Левка.

— погоди! — дернул его за рукав Оксюз.

Разведчики обернулись. По дороге двигалось несколько груженых крестьянских подвод.

— Спросим их! — сказал Левка и побежал навстречу.— Товарищи! Куда идет эта дорога? — И с опозданием заметил,

что у подводчиков через плечо перекинута патронташи и у пояса болтаются гранаты.

— Стой! — всполошились подводчики. — Ты чей будешь?

Левка не стал ничего объяснять — сорвал с плеча карабин, бухнул два раза и бросился в чащу. Вдогонку загремели выстрелы. Разведчики бежали через лес. Бандиты — за ними. Их крики то усиливались, то стихали.

— Цепью идут, сволочи! — задыхаясь, произнес Аркадий. — Слева болото. Если кончится лес — пропали.

Лес, как назло, кончился, поперек блеснула река.

— Аркаша, смотри — мельница! — шепнул Оксюз.

С правой стороны, из кустов, торчала серая башенка с продырявленными мельничными лопастями. Осторожно подкравшись, разведчики заметили, что дверь на мельницу открыта, а мельник стоит к ним спиной и окуривает улья.

Курсанты бесшумно скользнули в сени дома, пристроенного к мельнице. Оттуда они по лесенке забрались наверх и, открыв маленькую дверку, очутились на небольшом, заваленном рухлядью чердаке. Едва курсанты успели опустить дверку и лечь на пыльный пол, как послышались шаги мельника. Он вошел в дом, чем-то негромко стукнув по столу.

К мельнице стремительно подкатили подводы.

— Эй, дед Никита, красный юнкер куда побежал? — низким сердитым голосом спросил один из подводчиков.

— Не видел я никого, — равнодушно ответил старик. — Привезли-то что?

— Увидишь, отворяй давай погреб.

На чердаке было слышно, как внизу что-то с шумом откатилось. Мягко зашлепали, падая друг на друга, мешки. И вскоре подводы снова укатили.

Дед опять занялся ульями. Разведчики, увидев через окно, что он надел маску и возится с пчелами, бесшумно спустились, выскользнули в заросли и двинулись по следам, оставленным телегами. Часа через два среди леса им открылась просторная поляна. Сквозь дымку вечернего тумана разведчики увидели целую деревушку, построенную из шалашей. Стояли распряженные повозки, дымились костры, паслись неподалеку кони. В сторонке, особняком, серела светлая парусиновая палатка. В ней, надо полагать, жил сам Битюг.

Осторожно, чтобы не напороться на дозоры, курсанты покинули наблюдательный пост и отправились к себе в Озерцы.

На рассвете Голиков поднял свой отряд. Удар по лагерю был внезапным и сокрушительным. Граната, брошенная в палатку, разнесла ее в клочья. Но Битюга в лагере не оказалось: здесь ютилась одна из мелких банд.

— Давай допросим мельника,— предложил после боя Левка.

— Мельник может о Битюге ничего не знать. Или просто ничего не скажет. Обождем, мельник нам пригодится,— ответил Аркадий.

...На помощь пришел сам Битюг.

Рано утром Голиков взял пустые ведра и направился к глубокой кринице — в ней была необыкновенно вкусная, к тому же очень холодная вода, и Голиков предпочитал обливаться только ею. Внезапно хлопнул револьверный выстрел. Мимо колодца к забору метнулась фигура в красно-армейской гимнастерке, в зарослях черной бузины началась возня. Голиков бросил ведра и кинулся к зарослям, выхватывая из кобуры маузер. Навстречу из-за куста вышел незнакомый мужик в серой разорванной рубаше. Правая рука его была прострелена, он прижимал ее к груди, а левую курсant Кузюмов завернул ему за спину.

— Что произошло? — спросил Голиков, пряча пистолет.

— Колодец, кажись, отравил,— ответил Кузюмов.

— Веди его, Федя, ко мне,— велел Голиков.

Он занимал светлую чистую хату — с иконой, вышитыми рушниками, с портретом Шевченко и гулками ходиками на выбеленной стене.

— Я дневалю,— поглядывая на задержанного, начал Кузюмов (это был обрусевший татарин из-под Казани, лет двадцати пяти). — Вижу, человек крутится возле колодца. Спрашиваю: «Ты чего?» — «Напиться бы». Дал я ему напиться. А только отвернулся, он швырк что-то в колодец — и наутек. Я и пальнул.

Мужик стоял тихо, безучастно, завернув простреленную ладонь в подол рубахи и заботясь только о том, чтобы кровь не запачкала чистый земляной пол. Вдруг мужик рухнул на колени.

— Пан начальник, спаси мою дочку Оксаночку!

— Какое мне дело до вашей Оксаночки? — рассердился Голиков. — Кстати, Федя, принеси-ка этой водички. Я бросил ведра возле колодца... Перевяжите себе руку,— протянул он арестованному пакет.

Мужик поднялся, послушно и снова безучастно разорвал упаковку, стал неумело бинтовать запястье и ладонь. Вернулся Федя.

— Я поставил возле колодца часового,— сказал он. И помог мужику справиться с повязкой.

Голиков накрошил в блюдце хлеба, полил его водой из ведра, открыл дверь и поставил тюрю возле порога. На хлеб

слетелась стайка воробьев. Они принялись дружно клевать. И вдруг заметались, вспорхнули, один рванулся вверх — и тут же упал возле крыльца.

— При чем здесь ваша Оксаночка? — снова сердито спросил Голиков. — После завтрака мы могли все лежать, как этот воробей.

— Пан начальник, я не хотел. Со мной сделали вот что, видишь? — Он задрал рубашку и показал спину в свежих багровых и красных рубцах. — Я все равно не соглашался. Тогда Битюг велел забрать Оксаночку. «Подбросишь в криницу, чего дадим, отпущу, — пообещал он. — А не сделаешь — не обижайся». А дивчинка така молода, така гарна и добра. Спаси ее, начальник. Мне же хоть этой воды налей — все равно. — И он опять грохнулся на колени.

Холодный пот выступил на лбу Голикова. Ему было неловко, что пожилой человек, ровесник отца, так унижается перед ним, и он чувствовал ненависть к этому человеку за то, что он согласился их всех отравить; и в то же время в Голикове появилась жалость к незнакомой девчонке, которая стала заложницей Битюга, — ее судьба, желал этого Аркадий или нет, зависела теперь и от него.

— Встаньте. Где лагерь Битюга?

— Откуда мне знать? Он пришел со своими бандюками ко мне в хату.

— Почему к вам?

— Спросите у него. Я раньше Битюга никогда не бачил. Староста наш, верно, подослал. Я с ним собачился. Он все к дочке приставал.

— Что велел Битюг?

— Он велел передать тутошнему старосте Трохимычу, чтоб сообщил в лес, коли отрава подействует.

Голиков с Кузиомовым переглянулись: курсанты потратили массу времени, пытаясь отыскать следы Битюга. А Трохимыч, маленький, проворный, без конца предлагавший свои услуги старичок, был, как нечаянно сию минуту выяснилось, связником атамана.

— Хорошо. Попробуем что-нибудь сделать, — пообещал Голиков.

Мужик от волнения, от проснувшейся надежды шумно задышал широко открытым ртом.

— Коли, пан начальник, спасешь... коли понравится... засылай сватов. Приданое дам от души: землю, хату, быков... А меня и потом можешь убить!

— Федя, — поднялся Голиков, — спрячь его здесь в подполе. И никому ни слова.

Аркадий отыскал Яшку Оксюза и все ему рассказал.

— Идем брат Трохимыча,— решительно заявил Яшка.— Ах, иуда! «Удобно ли вам, хлопчики? Не надо ли чего, сыночки? Вот я сальца принес. Извините, что старое!» Пусть ведет и показывает!

— А если не покажет?.. Или Битюгу станет известно, что мы Трохимыча арестовали?..

— Обожди,— лицо Яшки сделалось подозрительным и жестким,— уж не собрался ли ты свататься к Оксаночке? Тогда узнай подробнее у будущего тестя: сколько дают ей в приданое шуб и подушек?

— Перестань. Давай лучше подумаем. Битюг велел всыпать отравы и сообщить, как она подействует. А для чего?

— Ясно для чего. Если подохнем — забрать оружие. А если только заболеем — прийти и добить. Но мы же не померли и не заболели. И я не собираюсь помирать до полной победы мировой революции.

— А если прикинемся?

После завтрака десять курсантов по тайному приказу Голикова улеглись в постель. Вместо обеда командир велел кипятить чай и сушить сухари. Во второй половине дня лежало уже больше тридцати человек. Их обслуживали четверо дежурных, которые сами ходили с палочками и разносили сухари и кипяток. Принимать что-либо от населения курсантам было категорически запрещено.

К вечеру, едва волоча ноги (пригодился опыт, обретенный в любительских спектаклях, когда играл и стариков), Голиков отправился к старосте. Семья Трохимыча ужинала.

— Милости прошу, повечеряйте с нами,— предложил Трохимыч.

— Благодарю, мы сегодня уже плотно позавтракали,— резко ответил Голиков.— У меня заболели люди. Есть подозрение, что нас отравили. Если оно подтвердится, разговор будет особый...— Сморщившись, словно от боли, он потер себе живот.— А пока приготовьте к утру пять-шесть подвод — повезу ребят к доктору...

— Приготовим и сенца положим,— встревожился Трохимыч.— Ишь какая беда, такие brave хлопцы, такие вежливые. А чтобы гадость какую подбросить в еду, то вы из головы бросьте. Может, консервы, испорченная колбаса... Желаете травки попить? Старуха у меня мастерица... Гапка, давай свари хлопцам чего-нибудь от живота.

— Нет, лечить ребят будет только доктор. Я и воду ему из колодца отвезу. Пусть проверит.

...Был тот час суток, когда ночь уже кончается, а утро еще

не наступило. И все вокруг — земля и вода, небо и деревья и даже белые домики — становится одного неразлично серого цвета. В эту пору с двух сторон к селу и подъехали бандиты.

От леса двигалась часть отряда во главе с Битюгом. Это был недавно еще худой мужичонка, разъевшийся до такого безобразия, что сам не мог вскарабкаться на коня — его подсаживали. А с противоположной стороны, от оврага, подошла вторая половина банды, во главе с Карасем. Битюг был трусоват, и разведку боем должен был начать Карась, после чего Битюг предполагал решить, вступать ему в дело или сразу повернуть в заросли: Битюг не любил, когда в него стреляли.

Поскольку Трохимыч, прислав внучонка, заверил, что «красные юнкера» лежат по хатам в лежку, то Карась, въехав в село, жахнул в воздух из маузера... И еще, и еще... Минуты через две, не раньше, ему ответило несколько винтовок. Пули пронеслись высоко над головами бандитов.

«Ну и стрелки!» — презрительно подумали Карась и его подручные.

— Ого-го, мухи дохлые! — закричал тогда, воспрянув духом, Битюг. — Ого-го, бросай винтовки!

— Даешь пулеметы! Пулеметы даешь! — подхватил его призыв Карась.

И снова им ответило только несколько винтовочных выстрелов.

— Эй вы, травленные, а ну, выходь на середку села! Поглядим на вас поближе! — закричал тогда, осмелев, Битюг.

Ответом было молчание. Обе половинки банды продолжали двигаться навстречу друг другу. Между ними оставалось метров двести, когда Голиков, сидя на чердаке своего дома, нажал гашетку «максима». Это было сигналом. Сразу заработали еще три пулемета, к ним прибавился разящий залп четырех десятков курсантских винтовок. Вспыхнули копны сена. Банда, пойманная в ловушку, заметалась под прицельным огнем.

— Предали! Нас предали! — закричал Битюг.

Уйти удалось немногим.

Утром к Голикову пришел Кузюмов.

— Товарищ командир, что делать с арестованными?

— Трохимыча отправишь в район, там его будут судить.

— А этого, который отравил?

— Его отпустим.

— Да ведь он же нас чуть...

— Во-первых, он помог нам, Федя, — возразил Голиков, — во-вторых, пошел он на такое не от хорошей жизни, а в-третьих, мы еще не знаем, что с его дочкой. И получится,

девчонку загубил Битюг, отца — мы. Куда же тогда людям податься?

— И еще Оксюз спрашивал насчет мельника.

— К мельнику я поеду сам.

Взяв нескольких товарищей, на подводах Голиков отправился на мельницу. Толкнул дверь жилой постройки — она отворилась. Посреди комнаты стоял мельник.

— Чего вам? — спросил он сердито, но взгляд его был беспокойным.

Голиков неторопливо сел за стол.

— Как дела, дедушка?

— Никаких делов нету. Зерно молоть никто не возит.

— Зачем тебе зерно, если есть награбленное. Его куда прачешь?

— Ты, хлопче, чего плетешь? Кого я могу грабить?

Голиков поднялся.

— Давайте, ребята, отодвинем стол и лавку.

Лицо мельника ощерилось. Он метнулся в угол хаты, сорвал со стены безмен и запустил им в Аркадия. Голиков присел, и безмен пролетел в нескольких сантиметрах от головы. На мельника накинулись и связали ему руки.

Под лавкой, у самой стены, обнаружили шель, засунули в нее безмен. Надавили. От стены медленно откатились четыре половицы, открывая вход в тайник. В темноту подпола спустились трое курсантов. Около часа выбрасывали они оттуда мешки, свертки, коробки. Нашли они там и солдатскую гимнастерку с пятнами крови...

«ПРОЩАЙ, НЕ ПЛАЧЬ

И БУДЬ ТВЕРДА»

Отряд Голикова вернулся в Киев. В тот же день Аркадий был избран секретарем курсовой комячейки — заместителем Бокка. Голикову отвели отдельную комнату. В ней он работал и спал на кожаном диване возле полевого телефона, который будил его почти каждую ночь. Голиков подымал заране отобранную оперативную группу, выдавал ей оружие, за которое теперь отвечал, и отправлялся на задание. В Киеве действовали тайные офицерские организации, они помогали Петлюре.

Новое назначение помешало Аркадию уехать в экспедицию под Канев, где орудовали банды бывших григорьевцев. Вместо него командиром отряда послали Оксюза. Друзья посетовали,

что снова расстанутся: они уже привыкли вечером хотя бы полчаса проводить вместе.

По сводкам, в том числе секретным, было очевидно, что курсантов в ближайшее время пошлют на передовую. И сколько позволяли обстоятельства, Голиков поднажал на учебу. Он штудировал историю войн, изучал наиболее выдающиеся операции прошлого, читал о походах Юлия Цезаря, Александра Македонского, Суворова, Наполеона, Кутузова. Аркадий всерьез занялся топографией и астрономией. Он безошибочно находил в вечернем небе Полярную звезду, созвездия Ориона, Лебедя, Стрельца и мог ночью без компаса свободно определить, где север и юг, запад и восток.

Новая должность позволяла Аркадию спуститься в любой час в подвал, где находился тир и шли учебные стрельбы. Он забегал сюда почти ежедневно. На складах бывшего кадетского корпуса хранилось немало всяческого оружия и припасов к нему. Аркадий делал пять-шесть выстрелов из винтовки, а потом из своего маленького маузера. Он научился почти не целясь попадать в сердцевину неподвижной, а потом и движущейся мишени и знал, что в любой неожиданной ситуации сумеет постоять за себя.

Так же тщательно занялся Голиков изучением книг о разведке. Он пользовался богатейшей библиотекой училища. И если ночью его никуда не вызывали, то читал до трех-четырех утра, а в семь, когда сигнальная труба пела подъем, вскакивал и бежал делать зарядку на плацу, как все.

20 августа 1919 года Голиков был ответственным дежурным по курсам, когда прибыл нарочный с пакетом. Не стучась, гонец ворвался в кабинет начальника курсов и тут же выбежал обратно, пряча в нагрудном кармане расписку. Через четверть часа стал известен приказ: произвести досрочно выпуск старших курсов и утром — в составе сводной курсантской бригады — выступить на фронт.

В вестибюле появилось торопливое, от руки написанное объявление:

СЕГОДНЯ ПОСЛЕ УЖИНА ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР.

Голикову сделалось грустно: он легко привыкал к новым местам. И пока товарищи примеряли парадные, на заказ сшитые френчи и сапоги и собирали вещи, чтобы не укладывать их после выпускного вечера, Голиков, оставаясь дежурным и выполняя множество поручений, сочинял. В голове его, независимо от происходящего, сами собой складывались стихи.

После ужина в громадном актовом зале рявкнул оркестр. Он играл «Дунайские волны», но лишь несколько курсантов закружились с девушками в вальсе. Остальные не умели танцевать. В обширной училищной программе уроки танцев предусмотрены не были.

Возле Яши Оксюза стояла коротко стриженная светлорылая девушка, на которую многие обращали внимание. Смуглость ее загорелого лица оттенял белый кружевной воротничок голубого ситцевого платья. Это была Надя. Аркадий и Яша познакомились с ней в Кадетской роще в апреле. Яшка влюбился в нее с первого взгляда. Месяц назад они поженились. Через неделю после скромной свадьбы Яша уехал под Канев. Вернулся три дня назад.

К Оксюзам через весь зал направился Голиков.

— Яш, ты позволишь мне пригласить Надю?

— Ой, пригласи,— обрадовался Яшка,— а то она скучает.

— Не скучаю! — обиделась Надя.

— Но ты же хочешь танцевать?

— Хочу! — виновато согласилась она.

Аркадий щелкнул каблуками новых сапог и поклонился. Надя, вспыхнув, положила руку ему на плечо, и они легко заскользили по навощенному паркету. У них перед глазами замелькали широкие окна со спущенными тяжелыми шторами, хоры с оркестром и капельмейстер, который стоял вполоборота, глядя то на музыкантов, то на происходящее внизу, то на группы курсантов, которые жались к стенам и с легкой завистью наблюдали за немногими танцующими.

— Ой, Аркаша, я так быстро не могу,— запросила пощады Надя.

Они завальсировали на месте, и Голиков увидел на лице ее слезы.

— Ты что? — смутился он.— Я отдал тебе ногу?

— Нет.— Надя замотала головой.— Не хочу, чтобы вы с Яшкой уезжали.

— Но мы только и делаем, что уезжаем и приезжаем.

— Теперь, я знаю, вы уедете надолго. Яшка велит мне тоже уезжать. С семьями преподавателей.

— Правильно. Ты теперь жена командира...

Музыка оборвалась на полупhrазе. В центр зала вышел Бокк.

— Товарищи, у нас нынче торжественный и немного грустный день. Выпускник Аркадий Голиков написал по этому случаю стихи. Попросим его прочесть...

Аркадий подал Наде руку, подвел ее к Оксюзу, поклонился и, вынув из кармана френча листок, направился к невысокой

эстраде. Внезапно в его голове вместо стихов, которые он сочинял целый день, экспромтом возникли совсем другие:

*Прощай, не плачь и будь тверда,—
Я уйду опять — так надо.
Тревожным блеском вспыхнула звезда
И вновь зовет на баррикады...*

...В семь утра сто восемьдесят курсантов-старшекурсников последний раз выстроились на училищном плацу. В открытой машине стремительно подъехал нарком по военным и морским делам Украины Николай Ильич Подвойский. Обойдя строй, он вручил каждому выпускнику удостоверение с красной звездой на обложке. Голиков раскрыл свое.

«Предъявитель сего,— прочитал он,— тов. Голиков Аркадий Петрович, окончил Шестые Киевские Советские пехотные курсы командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

За время учебы тов. Голиков А. П. обнаружил отличные успехи и по своим качествам вполне заслуживает звания красного командира социалистической армии»*.

Из воспоминаний А. П. Гайдара

«...Подвойский... обратился к нам с речью: «Вы отправляетесь,— сказал он,— в тяжелые битвы. Многие из вас никогда не вернутся из грядущих боев. Так пусть же в память тех, кто не вернется, кому предстоит великая честь умереть за Революцию,— тут он выхватил шашку,— оркестр сыграет «Похоронный марш». Оркестр начал играть... Мурашки бежали по телу... Никому из нас не хотелось умирать. Но этот похоронный марш как бы оторвал нас от страха, сомнений, и никто уже не думал о смерти».

После отъезда Подвойского был зачитан еще один приказ. Шестеро выпускников назначались командирами. Остальные, несмотря на только что полученные удостоверения, выступали в поход рядовыми. Яков Оксюз стал полуротным, а Голиков взводным.

С парадного плаца, пешком, командирская рота отправилась на передовую.

Вечер застал полуроту Оксюза в Кожуховке, близ станции Боярка, в тридцати километрах от Киева. Разведка доложила, что белых поблизости нет.

После прощального вечера, который закончился к утру, и дневного марш-броска по августовской жаре все изрядно устали. И Оксюз, расставив часовых, приказал разойтись по хатам, справедливо полагая, что другой случай отдохнуть появится не скоро.

Голиков обошел дома, где ночевал его взвод, выбрал себе место на сеновале и вернулся на часок в избу к Яшке, который дописывал письмо Наде. Утром, на плацу, Надя при всех плакала, не хотела Яшку отпускать, просила взять с собой. Яшка, красный от смущения и полный жалости к жене, вырвался от нее. Надю увела жена Бокка. Но целый день заплаканное лицо Нади, ее полные горя глаза, ее голос преследовали Яшку. Сейчас же на бумаге он спешил объяснить и досказать ей то, что не решился произнести вслух в присутствии большого количества народа. Оставалось только неясным, куда отослать письмо, потому что Надя с женами комсостава должна была сегодня же отплыть на барже из Киева.

— Давай пить кислое молоко,— предложил Яшка, заведя друга.

Он разлил молоко по кружкам, придвинул тарелку со свежим хлебом и другую — с яблоками. Яблоки были крупные, спелые.

— Папировка,— пояснил Яшка, надкусывая.

— По-нашему — белый налив,— уточнил Аркадий.— Самые мои любимые.

— Я тебе рассказывал про маму,— напомнил Яшка, двигая к себе кружку.— Она в своей жизни так и не увидела ничего хорошего. Поэтому, когда Надя выходила за меня, я обещал: «Мы будем с тобою жить, как тебе даже не снилось: читать книги, слушать музыку, ходить в театр. У нас будет много друзей — таких, как Аркашка. И ты никогда,— обещал я ей,— не услышишь от меня сердитого слова...» А теперь я думаю: если она каждый раз будет меня так провожать...

— Привыкнет,— успокоил его Аркадий.— Другие же привыкают.

Начало светать, когда они закончили беседу. Аркадий поднялся.

— Спи тут,— предложил Яшка.— На печке места хватит.

— Душно на печке,— ответил Аркадий.— И потом, хорошо бы проверить посты.

— Чего их проверять — свои ж ребята. Еще обидятся. Спи давай, уже скоро вставать.

Подложив под голову хозяйский кожух, Аркадий растянулся на широкой лавке, а Яшка устроился на печке. Не успели заснуть — ударил взрыв, с раскатистым звуком рванула граната. Торопливо, вразнобой забухали винтовки.

— Откуда стрельба, зачем граната, мы же только легли? — ошалело бормотал Яшка, соскакивая с печи. С закрытыми глазами, которые попросту не разлипались, он стал наматывать портянки и натягивать новые, туго налезавшие сапоги.

— Сейчас пойдем,— ответил Аркадий, торопливо защелкивая пояс с кобурой и перекидывая через плечо ремень тяжелой, похожей на портфель сумки.

На улице они увидели, что из соседних домов, где ночевал взвод Голикова, выбегают товарищи и мчатся в сторону церкви, откуда слышалась стрельба.

На свежем воздухе с Яшки моментально соскочила сонливость. Выхватив из деревянного футляра маузер, он припустил вдоль дороги, опередив всех, потому что быстро бегал, а затем, сокращая путь, перемахнул через плетень, боком продрался через тесно посаженные колючие кусты, с которых уже начала осыпаться малина. За ним бежали Аркадий и другие бойцы.

Возле церкви продолжалась перестрелка. Меняя ритм боя, застучал пулемет. Он строчил короткими деловитыми очередями. Голикову показалось, что бьют из церкви, но так это или нет — было не разобрать.

В ответ на пулеметные очереди Яшка даже не пригнулся. Снова перемахнув через плетень, Оксюз очутился на картофельном поле, за которым на серых могильных плитах, на подступах к белоснежному собору пестрели спины в новых командирских френчах. То была редкая цепь, которая удерживала невидимого противника.

За собором мелькнули фигуры в погонах. Значит, напала не банда.

Аркадий почти не отставал от Яшки, испытывая невольную вину за то, что все так нелепо обернулось. Товарищи, он слышал по дружному тяжелому топоту, бежали сзади и рядом. Ружейный огонь со стороны противника стал сильнее, но самую большую опасность представлял пулемет, очереди которого сделались продолжительней и торопливей.

Внезапно сквозь клоками висевший туман Голиков различил

беглые, короткие огоньки. Они вспыхивали на копне сена, водруженной на арбу. «Видать, прикрываясь этой арбой, они и подобрались к постам», — подумал Голиков, но сейчас это не имело значения. Главное — в сене был спрятан пулемет, и он должен был замолкнуть.

Яшка продолжал бежать, высоко задирая ноги и перепрыгивая через густую рослую ботву, а Голиков взял правее, на ходу нащупывая в сумке гранаты. Он терпеть не мог носить их на поясе. Его раздражало, когда они стучались.

Гранаты-лимонки Аркадий полюбил за компактность, большую силу и оглушающий звук. Расстегивая на бегу сумку, он вспомнил, что у него на две гранаты один запал. Другой он где-то выронил. Значит, граната у него, по сути, одна. Это усложняло дело, но выбирать не приходилось.

Внезапно краем глаза Аркадий заметил, что Яшка споткнулся и, вытянув руки, по-детски беззащитно упал на морковные грядки. Голиков поморщился, представив, как у Яшки захватило дыхание от такого падения плашмя на живот.

Высоко задирая ноги, чтобы тоже не споткнуться, Голиков взял еще резче вправо, не выпуская из поля зрения Яшку и удивляясь, что Оксюз, всегда такой проворный и ловкий, не спешит вскочить и странно копошится, словно что-то потерял в ботве. Голиков не мог оставить Яшку в таком положении и повернул к Оксюзу.

Стайка пуль пронеслась над головой. Аркадий кинулся на землю и пополз вдоль грядки, уже не заботясь о том, чтоб не испачкать парадный френч. Но ползти не было времени. Голиков снова вскочил и бросился к другу.

Яшка продолжал лежать на животе, делая неловкие усилия подняться.

— Что с тобой? — Аркадий наклонился, чтобы помочь ему встать.

Оксюз застонал. Аркадий осторожно перевернул его на спину. Сукно старого потертого френча, который Яшка надел в дорогу, намокало над карманом. А всегда уверенное, невозмутимое лицо напряглось от боли.

— Беги! — с трудом произнес Оксюз. Он хотел что-то добавить, но струйка крови вытекла из угла его рта, он закашлялся.

Аркадий положил Яшку головой на грядку, чтобы ему было легче дышать. Голиков чувствовал, как в душе у него все каменеет, а тело слабнет, будто и его, Голикова, пробил пуля и по капле вытекает кровь. Яшка был первым и единственным другом, которого Голиков приобрел в армии. Они дали слово всю жизнь держаться вместе.

Две-три пули, свистнув, ударили в соседнюю грядку. Через секунду — снова. Видимо, пулеметчик пристреливался, и с пулеметом пора было кончать. Но кинуть Яшку в огороде Аркадий не мог. Он оглянулся, кому бы его передать. И увидел, что товарищи, которые бежали за ним и Яшкой, тоже в нерешительности остановились и с жалостью смотрят на Оксюза. Цепь на окраине с трудом сдерживала натиск, а здесь, на грядках, толпился едва ли не целый взвод. Яшкино ранение оборачивалось катастрофой.

Тревога за судьбу остальных словно отодвинула беду с Яшкой. Голиков представил, что через секунду-другую пулеметчик даст прицельную очередь, на грядки рухнет еще несколько человек, а виноват будет он, Голиков, потому что он первый остановился и побежал назад. Побежал не из трусости, а чтобы помочь Яшке. Но когда полурота окончательно проигрывает этот нелепый, внезапный, так неудачно сложившийся бой, то будет уже не до деталей.

Спиной, позвоночником чувствуя, что уходят последние мгновения, которые могут что-то изменить, Голиков громко, как никогда, крикнул:

— Слушай мою команду! Вперед! За нашего Яшку! — и, не оглядываясь, побежал; товарищи побежали за ним.

Шагов через двадцать он взял резко вправо, в сторону акации и старого клена, где под сенью собора стояла проклятая арба с сеном, оборудованная под пулеметное гнездо. Он побежал по картофельному полю и только метрах в пятидесяти от акации упал на землю и пополз, радуясь тому, что здесь высокая ботва и она прикрывает его от глаз пулеметчика.

Возле собора чаще и ожесточенней заухали винтовки, раскатисто ударили гранаты. Голиков догадался, что белые усилили натиск. Следовало поторапливаться, но и бездумно спешить он не мог: пулемет продолжал свою безостановочную и безнаказанную работу. Требовалось быть осторожным.

Голиков полз, как гусеница, стараясь не сильно задевать кустистую ботву. Он пожалел, что горяча никого не позвал с собой и не сказал про арбу, но делать это сейчас было поздно. Со вчерашнего вечера они с Яшкой наделали кучу ошибок. Теперь любой ценой их нужно было исправить.

Ждать помощи было неоткуда.

Тесный воротник давил шею. Голиков вспомнил, как задышался и сейчас, наверное, задыхается на грядке Яшка. Аркадий дернул воротник, оторвал верхнюю пуговицу, стало легче дышать. И он пополз дальше.

С правой стороны огород огибал двор храма, выходил

в тыл к противнику и, что было важно, в тыл арбе, которая стояла в тени старого клена. Если бы Аркадий прополз еще метров десять, он бы подобрался со спины к пулеметчику, но в этот момент из-за клена высунулся бородатый мужик в старом картузе, с карабином в руках. Видимо, это был подводчик из тех местных крестьян, которые днем пахали, сеяли и собирали хлеб, а с наступлением темноты отправлялись в банду в надежде на поживу. И сейчас под кленом мужик, скорее всего, ждал, пока пулеметчик отстреляется и вернет арбу.

Заметив, что шевелится ботва, мужик взвел затвор и что-то сказал пулеметчику, но тот за грохотом пальбы не расслышал. Этот полубандит-полукуркуль мог сейчас испортить всю обедню.

Голиков взял маузер в левую руку, а правой достал из сумки лимонку, положил ее возле своего лица, затем вынул из гнезда для карандашей запал, зарядил гранату. Ее уже можно было бы швырнуть в арбу, если бы не мужик с карабином, который затаился. Пока Голиков готовил гранату, мужик куда-то исчез. Ситуация становилась нешуточной. Ждать Голиков не мог, он готов был рискнуть, пусть его даже ранят, но он опасался, что в последнюю секунду помешает мужик, бросок получится неточным, для пулеметчика безвредным, и полурота проиграет бой.

Голиков зажал зубами короткую рукоятку гранаты со скобой, распрямление которой через три-четыре секунды давало взрыв. Переложил в освободившуюся правую руку маузер, а левой, держа сумку за самое донце, покачал ботву.

В тот же миг из-за клена высунулся мужик с карабином у плеча — так, нужно полагать, он подкарауливал в своем саду мальчишек, когда они лезли за яблоками. Только теперь его карабин был заряжен не солью. И, заметив колыхание ботвы, мужик выстрелил. Пуля выбила сумку из руки Голикова, но он успел нажать спуск маузера — мужик снова пропал. Был он ранен или спрятался, Аркадий не увидел. И снова поднял сумку и покачал ею — мужик больше не стрелял. Что, если он разгадал простенькую хитрость, затаился и ждет?..

Времени на выяснение уже не оставалось. Голиков обратил внимание, что огонь курсантов ослаб. На исходе патроны?.. Или слишком велики потери?.. Во всех случаях ему нельзя было сейчас промахнуться. Голиков снова переложил пистолет в левую руку, крепко зажав скобу пальцами, вынул изо рта гранату и приподнял голову. Он не увидел мужика в картузе, но зато разглядел пулеметчика. Тот лежал на брезенте поверх

сена, рядом с ним тускло поблескивали коробки с лентами. Сосредоточенно глядя в прорезь щитка, пулеметчик стрелял, медленно поводя стволом.

Голиков привстал и легким движением, как он это делал, играя в лапту, кинул гранату высоко вверх, а сам бросился на землю. Он видел, как лимонка описала дугу, успел услышать, что она брякнула о цинковую коробку, испугался: вдруг пулеметчик ее просто сбросит? Но тот либо растерялся, либо не успел — ударил взрыв.

Голиков вскочил, закричал «ура!» и, размахивая маузером, побежал к собору. Его «ура» поддержали еще несколько голосов. В утреннем воздухе под раскаты выстрелов они прозвучали не очень-то грозно, но Аркадий увидел, что курсанты поднялись с земли. Одновременно, обнаружив потерю пулемета, вскочили и начали отходить солдаты.

Уже не рискуя сегодня больше испытывать судьбу и воевать в одиночку, Голиков присоединился к товарищам. Он рад был, заметив Левку Демченко, Стасина, Федорчука. И, опять крича «ура», уже вместе с ними побежал через церковный двор.

За невысокой железной оградой он невольно остановился. Возле самой дороги лежал убитый в новом командирском френче. Это был часовой Дунин. Из его спины торчал остро отточенный кухонный нож. Такими в здешних домах нарезали хлеб и закалывали кабанов. И Голиков вспомнил хозяйственного мужика в картузе, с карабином. Вполне вероятно, что это была его работа.

В откинутой руке часового было зажато кольцо от бутылочной гранаты. Ударив Дунина под лопатку ножом, неприятельские разведчики сочли его убитым, а Дунин, застенчивый парень из Тамбова, лежа с пробитым сердцем, еще нашел в себе силы достать из-за ремня гранату, дернуть кольцо и отбросить «бутылку» на метр. Не сделай этого Дунин, полуроте пришлось бы совсем плохо.

«Зачем же, Елизар, ты дал им так близко подойти к тебе?» — с укоризной и жалостью подумал Голиков. И вдруг его словно оггло: «Яшка! Ведь ранен Яшка!» Он крикнул:

— Отнесите Дунина к собору! — и побежал обратно.

Оксюз лежал на той же морковной грядке. Возле него уже стояли Федорчук и Стасин. Чувствуя вину за то, что он бросил друга, даже не перевязав его, Аркадий опустил на землю.

— Яшка, ты как, Яшка? — спросил Голиков, не замечая, что слезы бегут по его лицу.

— Не трожь, он уже кончается, — остановил его Федорчук.

Из автобиографии А. П. Гайдара

«Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное.

«Если бы,— бормотал он,— на заре переменить позицию. Да краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы бросайте осторожнее! И никогда, никогда... Вот и все! Нет... не все. Нет — все, товарищи!»

И что бы он там ни бормотал, лежа меж истоптанных... грядок, мотал головой, шептал, хмурил брови, я знал и понимал, что он хочет и торопится сказать, чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы... что наш часовой не вовремя бросил бомбу, и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из кармана... френча. И в том письме, конечно, все те же ей слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая сломала бы Советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это всё».

Голиков вынул из кармана Оксюза краскомовское удостоверение. Оно было мокрым от крови. А на сложенное вчетверо письмо не попало ни капли. Письмо нужно было отослать Наде.

И Аркадий с тоской понял, что это ему предстоит сообщить ей, что в свои семнадцать лет она уже вдова...

Из автобиографии А. П. Гайдара

«Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Кожуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперед», «Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет», — вот там и схоронили мы Яшу...»

Летом 1967 года автор этой книги побывал в Кожуховке. Там нет колхоза, но много лет существует совхоз «Кожуховский». На пасеке гостю предложили отведать сотового меда с акаций — возможно, тех самых, под которыми когда-то стояла арба с пулеметом.

Вокруг собора — а он хорошо сохранился — было много поваленных и осевших памятников, выглядывали из травы почти вросшие в землю могильные плиты. Но памятник с именем Якова Оксюза или общей братской могилы киевских курсантов обнаружить не удалось. Камни тоже бывают недолговечны.

Старожилы помнили, что в августе 1919 года в селе произошел бой, а когда он закончился, возле собора хоронили мальчишек-курсантов. Одна старушка рассказала, что на курсантскую могилу долго ездила молодая женщина и привозила с собою розы, хотя цветов летом и здесь хватало. Она же поручила кому-то ухаживать за скромным памятником и кустами шиповника, которые посадила вокруг него. Осенью темно-бордовые ягоды усеивали землю.

В 1941 году через Кожуховку снова прошла война. В селе появилась еще одна братская могила, но женщина с розами больше не приезжала — и старая могила затерялась.

В Кожуховке все, даже маленькие дети, знают, что такая могила была, что в ней был похоронен друг писателя Гайдара и что в августе 1919 года сам Гайдар участвовал в бою за их село.

Аркадий Петрович всегда помнил о погибшем друге. Чертами Оксюза он наделил Яшку Цыганенка в повести «Школа», жизнь которого тоже оборвалась рано и нелепо.

А в декабре 1940 года Гайдар записал в дневнике: «Оксюз Яшка — убит при мне, я его заменил. 27 авг. 1919 г. Станция Боярка»*.

Тогда, 27 августа 1919 года, на закате солнца бывшие курсанты предали земле погибших. Троекратный залп сухо разорвал горячий воздух. Старушка в зеленом платке, которая не боялась смерти, а потому не боялась и мести белых, принесла из своего палисадника астры и положила на свежий холм. Бойцы собрались недалеко от собора, на краю картофельного поля, откуда Голиков швырнул свою гранату.

— Хлопцы, — сказал Федорчук (он был старше всех — ему исполнилось двадцать лет), — бандюки Симона Петлюры или кто еще в любой час могут вернуться. Треба выбрать командира взамен дорогого нашего товарища — Яшки.

— Как это выбрать? — удивился Стасин.

— А так, — ответил Федорчук, — мы здесь все командиры, а начальство далеко. Любой может занять место Оксюза.

— Не любой,— возразил Демченко.— Я предлагаю Аркашку! Если б не он...

— Даю себе отвод! — вскочил Аркадий.— Я ночью не проверил посты. И когда ранило Яшку, я кинул взвод, никому ничего не сказал и один пошел охотиться за пулеметчиком...

— Но пулеметчика ты гранатой сшиб! — возразил Сталин.— Глупостей за сутки наделано — страшно сказать... Но когда упал Оксюз, ты один крикнул: «За мной!» А для этого сразу нужно было повесить себе на шею девяносто человек, когда уже все проиграно...

— Хлопцы,— опять взял слово Федорчук,— кто за Аркашку? (Поднялись руки.) Товарищ Голиков, полурота при двонх воздержавшихся назначает вас своим командиром.

27 августа 1919 года Аркадию Голикову было пятнадцать лет и семь месяцев.

Вскоре он стал уже ротным.

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ

Из повести «В ДНИ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД»

«Уже пятый день, как отбивается железная бригада (курсантов.— Б. К.),— отбивается и тает. Уже сменили с боем четыре позиции и только что отошли на пятую...

— Последняя, товарищи! Последняя! Дальше некуда!

Жгло напоследок августовское солнце, когда измученные и обливающиеся потом курсанты вливались в старые, поросшие травой, изгибающиеся окопы, вырытые под самым Киевом во времена германской оккупации (в 1918 году.— Б. К.)... Жужжал по земле, над поблекшей травой мохнатый шмель. Жужжал в глубине ослепительно яркого неба аэроплан. Смерть чувствовалась близко-близко. И именно сейчас, когда все так безмолвно и тихо».

За спиной курсантов, неподалеку от их окопов, расположилась артиллерийская батарея, которую прикрывала рота Голикова. Возле пушек замер грузовик с лебедкой. К ней был

привязан аэростат. Когда батарея начинала стрельбу, в корзину забирался наблюдатель. Воздушный шар подымали в воздух. Наблюдатель сообщал по телефону, что он видит и точно ли ложатся снаряды. После артподготовки шар лебедкой спускали вниз.

Но пока стояло короткое затишье, Голиков с бойцами обживали полузасыпанные траншеи. Прежде всего комроты распорядился их углубить. Сам он копал саперной лопаткой наравне со всеми. Насыпал перед собой бруствер, промял в нем ложбинку для стрельбы и наблюдения. Еще он выкопал в стенке траншеи нишу, выстелил ее листьями и травой — для патронов и гранат.

Ткнулась в бруствер будто бы шальная пуля. Наблюдатели с колокольни донесли, что в расположении противника возникло непонятное оживление. Голиков побежал к командиру батареи.

— Сергей Николаевич, подымите хоть на минуту воздушный шар.

— Аркаша, я и сам хочу поднять, да не пойму, что с ним делается: то ли попал мелкий осколок, то ли где откленлось — вытекает помаленьку газ... Нет ли у тебя кого поменьше ростом?

Голиков увидел, что всегда тугая оболочка серого шара сморщилась, водорода в ней осталось совсем мало. Он припустил обратно в окоп, нашел и привел Левку, низкорослого и всегда худого, хотя ел Левка за троих.

— Левка, давай залезай в корзину, — попросил он. — Да винтовку-то брось. Может, шар тебя поднимет. Продержись хоть бы пять минут — посмотри, что там за холмами.

Левка забрался в корзину. Ее тут же подняли, но едва успел Левка сообщить по телефону, что белые строятся и к ним едет подкрепление, как вдруг разорвался поблизости снаряд. Бойцы у лебедки стали быстро наматывать веревку и спускать шар, но тут снова совсем рядом лопнул снаряд. Он убил двух коней, которых впрягали в пушки, отодвинул грузовик с лебедкой, а острый осколок перерезал веревку. Шар с неожиданным проворством рванулся кверху, и его понесло по воздуху.

Голиков увидел, что Левка схватился за край плетеной корзины — хотел прыгнуть, но высота была уже порядочная, и Левка прыгать не стал. Шар уносило в сторону белых, и Голиков пожалел Левку.

Тут на позиции обрушились новые снаряды. Белые начали серьезную артподготовку и, судя по Левкиному сообщению, готовили атаку.

Голиков на миг поднял голову к небу — шар смотрелся маленькой удаляющейся точкой. Помочь Левке уже ничем было нельзя. И комроты зашпешил в окоп. Перед глазами у него стояла всегда озорная физиономия Левки.

Белые выпустили еще десятка два снарядов, которые не причинили особого вреда, и на выгоревшем, недавно скошенном поле появилась серая шевелящаяся цепь. За ней — другая.

По наступающим прямой наводкой ударила наша батарея, и ровные шеренги противника сломались. Но солдаты в погонах, слегка пригнувшись, побежали не обратно, а в сторону наших окопов, справедливо полагая, что пушки красных через минуту-другую замолчат, чтобы не накрыть шрапнелью и осколками своих.

Так и вышло. Пушки замолкли. Сделалось тихо. И тогда стал слышен топот множества тяжелых сапог и напряженное дыхание бегущих. Солдаты приближались с винтовками наперевес, но не стреляли. Топот, каждую секунду усиливаясь, давил на голову, на нервы. Хотелось крикнуть, открыть пальбу, швырнуть гранату. Но Голиков уже знал по своему опыту, что и нервы бегущих на пределе, и молчание тех, кто в окопе, с каждым метром становится все более угрожающим, заставляя неприятеля бежать с меньшим рвением. Сейчас было важно затянуть эту паузу, вымотать наступающих до того, как ударит первая винтовка.

Стоя у своего бруствера, глядя на бегущих, Голиков каждые полминуты наклонялся то влево, то вправо и повторял, обращаясь к соседям:

— Передайте: без команды не стрелять.

Этим он предупреждал беспорядочную стрельбу и давал товарищам понять, что идет точный отсчет времени.

Голиков позволил белым приблизиться еще на два десятка шагов. Уже можно было различить напряженные, распаренные лица, медали и кресты на мундирах и даже сабельный шрам на щеке знаменосца — раскормленного верзилы, который держал древко на вытянутых руках, словно желая его поскорее кому-нибудь отдать.

Голиков выстрелил в верзилу — знамя качнулось. Обрадованные, что можно не молчать, бойцы начали бить из винтовок. Торопливо застучал пулемет. Передняя цепь редела, но вслед за ней, заметил Голиков, бежала вторая и третья.

— Стасин! — крикнул Голиков, поворачиваясь к соседу справа. — Беги на батарею. Скажи, пусть отсекут вторую цепь шрапнелью.

Но пушки не успели. Белые попали в «мертвое простран-

ство», которое не простреливалось из орудий. И наступление могла остановить только рота Голикова.

Солдаты бежали, на ходу паля и перезаряжая винтовки. Курсантская рота отвечала — солдаты падали, но убыль их тут же восполнялась набегавшим подкреплением. При этом возникало впечатление, что в семидесяти — восьмидесяти метрах от линии обороны существовал незримый барьер, который белые не в силах были переступить, хотя немало народу погибало и в окопах. Сквозь крики и грохот стрельбы Голиков слышал ежеминутные доклады:

— Стасин убит (четверть часа назад Голиков посылал его на батарею). И Кравченко... И (Голиков вздрогнул) Федорчук...

Койки Оксюза и Федорчука стояли рядом с кроватью Аркадия. И вот за пять дней из троих в живых остался он один.

Спротивление наших бойцов слабело. Подкрепления Голиков не ждал. Вся рота знала: их бросили на этот рубеж не отбить, а только задержать натиск. Любой ценой. И цену вчерашние курсанты платили немалую...

Внезапно солдаты, перепрыгивая через тела своих убитых, прорвали незримую преграду и понеслись напрямик на обороняющихся.

— Бросай винтовки, ого-го, бросай! — кричали они.

— Врете, не подойдете! — отвечали им из окопа.

— Гранаты к бою! — приказал Голиков.

Занимая эту последнюю перед Киевом позицию (в километре от нее уже начинался город), Аркадий распорядился привезти, кроме патронов, побольше гранат и раздал каждому.

— Куда их столько?! — недоумевали товарищи. — В жару тащить потом на себе?

Но ротный был неумолим, и вот гранаты пригодились.

Белым казалось: они у цели — до траншей всего метров тридцать. Внезапно в воздухе что-то заблестело и засверкало. Гранаты были изготовлены из новой жести, их не успели покрасить. И они начали рваться одна за другой. Жестяные бутылки лопались в воздухе, вспыхивали под ногами бегущих, ударялись об их плечи и грудь. Взрывы следовали без остановки.

Залился полнейший свисток, и наступающие, не подбирая раненых, побежали обратно. Преследовать их ни у кого не было сил.

— Аркадий, воды хочешь? — спросил его Севрук.

Голиков взял протянутую флягу. Тепловатая вода совершенно не утоляла жажды. Кроме того, захотелось есть.

А всякие там НЗ в вещевых мешках не держались: их съедали на первом же привале.

Из рассказа «ПЕРВАЯ СМЕРТЬ»

«Было за полдень, было сухо. Небо было такое серое, как шинели курсантов, распластавшихся в цепи, как их сосредоточенно-сумрачные, наполненные холодной решимостью лица. Боя не было — должен был быть скоро. По цепи, по ротам поехала батальонная кухня. И с той стороны никчемный и ненужный снаряд зажужжал, разрывая серое полотно воздуха, и, с фейерверочным треском разорвавшись шрапнелью, сорок из двухсот пятидесяти пуль всадил в стенки походной кухни».

— Комроты,— сказал, подъехав к Голикову, помкомполка,— бой близок, а люди голодны. Идите в тыл, в штаб, и скажите, что я приказал прислать консервов. А если нет, то сала, и потом, пусть вскипятят хотя бы воду для чая...

Голиков повернулся и пошел. Тропка изгибалась меж кустов. Он направлялся к своим и потому был спокоен. И когда сзади послышался лошадиный топот, то не повернул даже головы, а просто сделал полшага в сторону, чтобы пропустить скачущих кавалеристов. Но топот вдруг резко оборвался. Горячее лошадиное дыхание опалило Голикову шею. Послышался металлический лязг двинутого затвора. И на своем затылке Голиков почувствовал холодное прикосновение винтовочного дула.

«Негодую на дураков-кавалеристов,— вспоминал он позднее,— я осторожно, иначе бы мне разбили череп, повернул голову — и умер в ту же минуту, потому что увидел вместо наших кавалеристов два ярко-красных мундира и синие суконные шаровары, каких ни бригада, ни красноармейцы никогда не носили.

«Кончено,— мелькнула тысячесекундная мысль,— как это ни больно, как ни тяжело, а все равно кончено». И, побледнев, я пошатнулся, с тем чтобы по железному закону логики спусковой крючок приставленной к затылку винтовки грохнул взрывом.

— Наш! — коротко крикнул один.
Шпоры в бока, нагайки по крупу, и опять никого и ничего. Посмотрел вокруг, сделал машинально несколько шагов

вперед и сел на срубленный пень. Все было так дико и так нелепо. Ибо вопрос был кончен: позади были петлюровцы. И опыт войны, и здравый смысл, и все-все говорило за то, что обязательно должен быть мертв.

Далеко, на левом фланге, отбивалась бригада красных мадьяр. Бригада была разбита, и двое мадьяр прискакали сообщить об этом в штаб нашего полка».

Утром белые возобновили атаку. Кроме пехоты, двинулась кавалерия. Она внезапно выскочила со стороны спящего солнца, врубилась на фланге в расположение только что подошедшей соседней роты. И пока наши успели разобраться, что к чему, казаки изрядно поработали шашками. Голиков закричал пулеметчику:

— Бей по крупам! По лошадям бей!

Пулеметчик развернул «максим» и ударил по коням, которые начали падать на передние ноги и валиться на бок, сбрасывая с седел и подминная тяжелыми боками всадников. Кавалеристов бойцы уже расстреливали в упор.

С хрипом бухнулся рядом, выбросив клубы черного дыма, снаряд. Вскочил, разрывая на себе рубашку, Севрук. Он торопливо сделал шаг-другой, словно собираясь что-то неотложное сказать, но не успел: из его горла хлынула кровь и он упал.

— Голиков, отходим! — крикнул почти в самое ухо комиссар Бокк. — Бесполезно.

— Отходим! — скомандовал Голиков. — Все отходим!

Рота, продолжая отстреливаться, поднялась из окопа. Голиков по привычке пересчитал товарищей. Не поверил себе и пересчитал снова. Ошибки не было. Из ста восьмидесяти курсантов, которые стояли несколько дней назад на училищном плацу, слушая напутственную речь наркома Подвойского, осталось семнадцать. Аркадий Голиков был восемнадцатым.

Он похолодел. Не оттого, что мог тоже погибнуть, а оттого, что оказался плохим командиром. Аркадий кинулся искать Бокка.

Тот шел с санитарными повозками. На ремне его рядом с кобурой висело пять или шесть фляжек. Не было ни фельдшера, ни санитаря — они погибли накануне. Бокк выполнял их обязанности, то есть метался от телеги к телеге и прежде всего поил раненых, которые изнемогали от жары. Момент для

разговора был самый неподходящий, но отложить его Голиков не мог.

— Иван Степанович, — сказал Голиков, — примите у меня остатки роты — семнадцать человек. Остальных я не уберег.

— Не дури, — ответил комиссар. Он наливал воду в стаканчик от фляги бойцу, раненному в живот. Пить бойцу было нельзя. И комиссар налил на самое донышко, чтобы раненый смочил только губы.

— Рота потеряла сто шестьдесят два человека.

— Но ты же не сразу получил роту. Теперь я могу тебе сказать: Подвойский просил нас продержаться хотя бы три дня, а мы стояли дольше. И сейчас не бежим, а только отступаем. Другое дело, мы знали каждого в лицо. Из ребят могли вырасти настоящие командиры. — Бокк обнял Аркадия за плечи. — Когда будет свободный час, напиши родителям о тех, кого убили на твоих глазах. Пиши подробно. Письма будут читать целыми селами. Пиши, не скупясь на добрые слова, чтобы родители поняли: сын их умер не зря. Как видишь, из командиров в живых остались только мы двое.

...Остатки роты подходили к окраине Киева. Голиков нагнал солдата, облик которого показался и знакомым и странным. Солдат был невысокого роста, с осунувшимся, запачканным землею лицом. Фуражка с овальной белогвардейской кокардой налезала ему на глаза. А на застиранной гимнастерке были отчетливо видны следы недавно оторванных погон.

«Перебежчик? — мелькнуло в голове Аркадия. — Но вроде сейчас не тот момент, чтобы к нам перебежать — отступаем... Лазутчик? Но для лазутчика он уж слишком провально одет: кокарда и следы погон — не самая лучшая маскировка». А вслух сказал:

— Кто такой? Документы.

— Своих не узнаешь, что ли? — весело огрызнулся солдат знакомым голосом.

— Левка?! — удивился Голиков. — Демченко?

— Разве его, черта, что-нибудь возьмет?! — обрадовались товарищи. И хоть настроение у всех было скверное, каждый подошел, чтобы хлопнуть Левку по плечу или по спине, — так все были рады, что он остался жив.

— Ну-ка расскажи, куда тебя на шаре унесло, — попросил Голиков, и бойцы окружили Левку. — Только не ври, — добавил Аркадий.

— А мне и врать незачем. Все равно не поверите, — обиделся Левка. — Когда посадили меня в корзину, а ее оторвало, я увидел, что несет меня прямо в сторону белых. И так мне стало печально на душе, что прямо домой, в деревню, захо-

телось. Тут ветер рванул посильней. И опустился я прямо на деревья. Выбрался лесом к селу. Вижу, петлюровцы сидят. Не меньше десятка. На плетне мокрая гимнастерка сушится, а на ней погоны. Стащил я потихоньку рубаху и штаны — и в лес. А винтовки у меня ж нет. Я ж совершенно безоружный.

Идут двое белых. Один меня останавливает и спрашивает: «Почему у тебя винтовки нет?» Я говорю, что впереди красные партизаны на мой отряд налет сделали. Чуть не всех перебили, я едва утек. И когда переплывал через реку, утопил винтовку. Они смотрят на мою мокрую рубаху и переговариваются: «Вроде не врет». Тогда я спрашиваю их: «А вы куда идете?» — «На Семеновский хутор с донесением». — «Да вы что, братцы, недавно тут зарево было. Не сожгли ли партизаны хутор? Залезайте кто-нибудь на дерево, оттуда все как на ладони видно». Один залез, дал мне подержать винтовку, другой задрал затылок, смотрит.

Того, что смотрел, я жажнул прикладом по башке. Второго ссадил с дерева выстрелом. А там выбрался на передовую. Вижу, идет на окраине города отчаянный бой. И никому дела до меня нет. Так я и оказался тут.

Голиков пожал Левке руку — крепко-крепко. За отвагу и находчивость.

...Остатки красных частей вливались в город. Тянулись к центру бесконечные обозы, гудели машины, носились мотоциклы. Курсантская рота, не останавливаясь, прошла мимо недавней обители — бывшего Кадетского корпуса. Стройно застыли тополя вокруг безлюдного плаца.

Вот и Цепной мост. Голиков и его бойцы, подхваченные людской массой, двигались вперед. Огромный мост скрипел, дрожал, и было впечатление, что он вот-вот рухнет в Днепр.

Перейдя на другой берег, Голиков и его товарищи остановились на высоком лесистом бугре, всматриваясь в сторону Киева.

— Ну, прощай, Украина! — сказал один.

— Прощай! — эхом повторили другие. — Мы опять здесь будем!

Аркадий с грустью покидал этот город. Необстрелянным мальчишкой приехал он сюда четыре месяца назад. Что он видел до той поры? Карту на стене у Ефимова, кипы сводок и ворохи телеграфных лент. А в Киеве он стал солдатом.

КОМАНДИР СТРАННОГО ВЗВОДА

Ноябрь девятнадцатого года застал Голикова на Польском фронте. Хотя под Киевом Аркадий уже командовал ротой, о чем свидетельствовал выданный документ, под Лепелем Голикову доверили только взвод. Аркадий был этим обстоятельством поначалу сильно уязвлен, но, познакомясь со своими подчиненными, возблагодарил судьбу, что не получил роту.

Взвода не было — был сброд — сорок как попало вооруженных мужиков, одетых кто во что. Кроме нескольких молодых новобранцев (которые все равно были старше его), остальные бойцы оказались людьми солидными, многим перевалило за тридцать.

В первый же день Голиков собрал взвод в просторном доме. Здесь он коротко поведал о себе: откуда родом, что за семья, где и чему учился. Слушали его внимательно. Закончив, попросил:

— Теперь пусть каждый расскажет о себе.

Крайним слева оказался парень лет двадцати пяти, с вытянутым большеротым лицом.

— Демиденко Михаил. Из дезертиров буду, — с усмешечкой отрекомендовался он.

— От какой же власти удирали? — в тон ему спросил Голиков.

— От любой. Сначала от Скоропадского. Потом от красных. Только всю жизнь в лесу не проживешь. А ваша вроде берет. Мы с приятелями объявились и записались, значит, к вам служить.

— Понятно, — подавленно произнес Голиков. — А вы из каких мест будете? — обратился он к средних лет бойцу, который не сводил глаз с командира, пока о себе докладывал Демиденко.

— Фамилия моя Актрысов, — сообщил он. — Бабка моя или кто еще при крепостном времени в театре у помещика служили. А с Демиденкой мы из одного села. И в одном лесном отряде состояли. — И от неловкости ситуации закашлялся.

Большая половина взвода, насчитал Голиков, была из дезертиров и недавних «зеленых».

С трудом закончив тягостную беседу, он направился в штаб полка, где сутки назад получал назначение. Командир полка принял Голикова, лежа на разогретой лежанке. Фельдшер что-то втирал ему в спину. Полкового командира мучали боли в позвоночнике, которые он приобрел на царской каторге.

— Слушаю вас, Аркадий Петрович,— сказал комполка и с трудом сдержал стон, потому что от энергичных движений фельдшера, малого с коротко стриженной бородой, в очках, боль усилилась.

— Прошу дать мне другой взвод.

— А чем этот нехорош? — спросил комполка, останавливая руку фельдшера, чтобы передохнуть.

— Дезертиров и «зеленых» я ловил все лето на Вольни. Видел, что они делали с красноармейцами, которые попадали к ним в руки. И во что превращали железные дороги... Простите, наверное, я не вовремя пришел? — Голиков увидел, что комполка закрыл глаза и побледнел.

— В любое время боль одна и та же. Только если опиум приму. Но пить опиум и командовать полком сложновато. Так что от китайского зелья приходится отказываться... Люди эти, Аркадий Петрович, конечно, принесли немало горя. Но одумались. Пришли к нам. Как же, по вашему мнению, нам следовало поступить?

— Я бы их в Красную Армию не брал.

— Да и я бы не брал. Но существует наука арифметика. Мужик сейчас не может только пахать землю и собирать зерно. Он должен примкнуть либо к белым, либо к красным. Сколько в вашем взводе бывших дезертиров? Двадцать три?.. Предположим, я их выгоню. У вас на двадцать три штыка станет меньше. А у Петлюры, батки Махно или у кого там еще — на двадцать три штыка больше. Значит, белые получают преимущество в сорок шесть человек. Но ведь, попав к белым, эти бывшие начнут по нас стрелять. Сколько в полку еще погибнет народу?

— А если эти двадцать три отставных дезертира выстрелят во время боя остальным в затылок?

— Если произойдет такое несчастье и вы случайно останетесь живы, я вас отдам под суд.

— За что?!

— За то, что вы не сумели превратить бывших бандитов в преданных революции красноармейцев... Ой,— невольно вскрикнул комполка, потому что фельдшер опять прикоснулся к его спине,— оставь меня, Гриша, в покое. Только завяжи мне поясницу вон тем бабьим платком... Голиков, вы свободны.

Аркадий вышел на улицу. Небо затянуло. Собирался дождь. И настроение было убийственное. Голиков был готов выполнить любое задание, но не ожидал, что ему придется командовать вчерашними дезертирами и бандитами. Мало того, чтобы избежать несчастья, он должен был их перевоспитывать. А как

перевоспитывают взрослых людей?.. Ведь ему-то самому не исполнилось еще и шестнадцати.

Советоваться было не с кем. Аркадий побрел к берегу реки с необычным названием Улла. К реке вела дорога, но Голиков пошел напрямик, по картофельному полю. На раскопанных грядках кучками лежала потемневшая, ссохшаяся ботва. Он вспомнил, как совсем недавно бежал с Яшкой по картофельному полю, перепрыгивая через высокую свежую ботву. И вот Яшки нет, и Федорчука, и Левки Демченко. А он, Голиков, живой, но попал в такую передрагу, что неизвестно, чем она кончится. Может, он еще позавидует Яшке, который умер в бою, а не по приговору трибунала.

От безвыходности положения Голиковым овладело такое отчаяние, что он выхватил из сумки гранату и хотел запустить ее — пусть грохнет. Но в последний миг сдержал себя.

«Был бы папа!..» — с тоской подумал он. Отца ему не доставало на каждом шагу. И хотя Петр Исидорович уже пятый год был на войне, Аркадий по-прежнему представлял его таким, каким видел дома, — в рубашке и стареньком пиджаке. И по необъяснимой ассоциации пришла на память давняя история, которая случилась еще во Льгове.

У мамы в классе учился мальчик Кузя (во Льгове мама преподавала в школе). Кузю подозревали в том, что он таскает у соседей завтраки, карандаши, резинки и другую мелочь. Зайдя однажды во время перемены в класс, мама заметила, что Кузя отскочил от учительского стола, где лежали ее портфель и сумочка. Дома вечером мама обнаружила, что у нее пропал серебряный рубль.

— Как он посмел?! — оскорбленно произнесла она.

— Надо сказать родителям. Пусть выпорют, — посоветовала нянька.

— Родители у Кузи умерли, — ответил отец. — А дед его пьет горькую и с удовольствием выпорет — был бы повод. А может, Наташа, ты сама этот рубль потеряла? Нет?.. Тогда, конечно, оставить этот случай нельзя. Я думаю так: нужно пригласить Кузю к нам, напоить его чаем, рассказать что-либо интересное. А вместе с Кузей надо позвать еще двух-трех мальчиков.

— Ты смеешься? Чтобы я его пригласила в дом?! — возмутилась мама.

— Но мы же принимали в школе попечителя учебного округа, а он ворует куда больше.

— Да этот ваш Кузя оберет весь дом, — ужаснулась нянька.

— Ничего он, няня, у вас не возьмет. Человек идет на дурное

или от безысходности, или потому, что не видал хорошего. Чуть что, мы кричим: «Надо пороть!» или «Надо отвести в полицию!». На самом-то деле нужно хоть раз согреть человеку душу.

Мама нехотя согласилась.

Пришел сначала Кузя, потом два его одноклассника. Аркадий был маленький и ожидал увидеть ужасного разбойника с кинжалом в зубах. А появился худенький мальчуган с голубыми глазами. Одно ухо в его малахае было оторвано. Старый кожушок был вытерт настолько, что почти не осталось меха, а из порванного валенка выглядывала посиневшая от мороза, давно не мытая пятка. Два других мальчика смущались, но на их лицах светилась радость, что они в гостях. А Кузя встревоженно и недобро косил прищуренными глазами. Кузю с приятелями посадили за стол, дали им по миске щей, по тарелке каши, затем налили чаю и подвинули сухарницу с баранками. Мальчики съели все, что стояло на столе. А Кузя сказал:

— Спасибочки, наконец-то наелся.

Потом отец, позвав Аркадия и Талочку, усадил их вместе с гостями и рассказывал смешные истории из своего детства, читал сказки, под конец они с мамой спели «Колокольчики мои! Цветики степные!..» и про то, как в степи замерзал ямщик. Гости, которым никто никогда не уделял внимания, оживились, весело смеялись и ушли, когда было совсем темно. А через день под своей сумочкой в классе мама обнаружила три двугривенных, пятиалтынный и пятак...

Ведя ниточку от той истории, пытаюсь взглянуть на сложившуюся ситуацию глазами отца, Голиков подумал, что и Демиденко, и Актрысов, и другие подались в лес, к «зеленым», потому что не видели разницы между красными и петлюровцами. И если требовать от них, чтобы они стали настоящими красноармейцами, то прежде всего он, Голиков, должен стать заботливым командиром.

После ужина Голиков снова собрал взвод в той же избе. Бойцы сидели на лавках, на лежанке, просто на полу. Аркадию хотелось, чтобы разговор начали красноармейцы, но все ждали, что скажет взводный, курили и нетерпеливо поглядывали на него.

— Товарищи, — Аркадий с трудом выговорил это слово, — у нас теперь общая судьба. (Бойцы замерли.) В чем же я вижу свой долг как ваш командир? А в том, чтобы мы сообща победили контрреволюцию. И в том, чтобы вы все вернулись домой.

— Ну, командир, даешь! — хмыкнул Демиденко. — Братан у меня старший воевал в мировую. Ногу ему оторвало. А у братана приятель был, Филя. Ладанку серебряную носил на груди. С этой ладанкой дед его вроде три войны прошел — и ни единой царапины. Отправился Филя на кухню за чаем, а его шальная пуля хлоп! Вот тебе и ладанка! — Демиденко оглянулся, желая понять, какое впечатление произвел его рассказ, и начал сворачивать «козью ножку».

Все, грустно посмеиваясь то ли над рассказом Демиденко, то ли над пожеланием Голикова, принялись затягиваться и прикуривать друг у друга. Голиков выждал, пока бойцы отсмеялись. Этой выдержке он научился на митингах, когда приходилось вести разговор с громадной толпой.

— Насчет ладанки ничего сказать не могу, — наконец ответил он. — Может, ладанка в самом деле обладала волшебной силой и спасала от пуль. А может, люди просто верили, что она спасает от пуль, и это помогало им стойко вести себя. А храбрый человек реже гибнет, чем трус. Но что существуют секреты, как остаться на войне живым, — это совершенно точно. Я от многих слышал.

— Какие? — заволновались бойцы. — Все-таки божье слово? Или под рубаху надо что-то класть?

Даже Демиденко, вроде продолжая насмешливо улыбаться, остановил напряженный взор на Голикове. Голиков вышел в сени, выпил там целый ковш холодной воды и вернулся.

— Я почему знаю, что секреты существуют, — через полминуты продолжал он, — по линии матери у нас в роду все офицеры.

— Так вы белая кость и голубая кровь? — не удержался Демиденко.

— Наполовину... Так вот, у матери в роду за пять-шесть поколений — а сколько войн прошло! — никто не был убит не то что в бою — даже на дуэли, когда стреляют с пятнадцати шагов из огромного пистолета, где каждая пуля размером с орех.

— И вы этот секрет знаете? — не выдержал Актрысов.

— Не успел узнать. Дедушка проклял маму за то, что она без его благословения вышла за моего отца. Дед недавно умер и унес фамильную тайну с собой.

— Жаль... — пронеслось по комнате. — Знать бы такой секрет.

— Но у меня есть другой дедушка, Исидор Данилович, со стороны отца, — продолжал Голиков. — Он отбухал солдатом двадцать пять лет. И вот дедушка Исидор, провожая меня, на прощанье кое-что шепнул... — Аркадий замолчал.

— Что же он вам шепнул? — спросил молодой боец из новобранцев, с полосой ожога на щеке.

На лице Голикова появилась растерянность.

— Не догадался спросить, можно ли передавать другим. Скажу, а вдруг секрет потеряет силу?

— Нет уж... Вы сами говорили: судьба, мол, одна...

Голиков сделал вид, что в нем борются разноречивые чувства, и махнул рукой: мол, была не была.

— Дедушка сказал: «Я потому, внучек, остался живой, что соблюдал на службе и на войне три завета. Первый — береги на походе ноги. Аккуратно их заматывай портянками. Непременно мой на привале, чтобы не натереть и чтобы не сопрели, потому как запасных у солдата нет».

Одобрительный смешок скользнул по избе.

— Второе, что велел дед: «Береги винтовку. Недоешь, недопей, а винтовочку протри, смажь и поставь в сухое место. И боже тебя упаси ее обо что стукать — и она тебя в бою не выдаст».

— А у нас тут некоторые прикладами гвозди забивают, — произнес из темноты молодой и веселый голос.

— Да тише ты! — осадил его. — А что еще?

— Последнее, что велел дед: «Окапывайся! Где бы командир ни крикнул тебе: «Ложись!» — если, конечно, противник неподалеку, — вынь лопаточку и начни копать ямку. И мать-земля завсегда тебя от пули или осколка сбережет».

...Деда Исидора Голиков видел последний раз перед войной 1914 года. И весь разговор в избе был чистой импровизацией.

На следующее утро взвод старательно разбирал, чистил, смазывал винтовки и пулемет. А на занятиях в поле комвзвода показывал, как лучше всего рыть окопы. И хотя лопата была для большинства инструментом знакомым, к советам и показу командира все внимательно присматривались и прислушивались. Голиков радовался возникшему взаимопониманию, но тут в полк прислали обувь. Взводу досталось всего четыре пары. Голиков велел построиться.

— Чего строиться? — обступили его бойцы. — Так не видно, что ли? А ботинки какие — русские или английские?

— Стройтесь, буду осматривать, у кого какая обувь.

Взвод построился, но волна глухого раздражения прокатилась по шеренге. Красноармейцы недоверчиво и недружелюбно смотрели то на командира и на каптера, усевшегося с новенькими желтыми ботинками, то на свои собственные ботинки или сапоги — у большинства с оторванными подметками, где из щелей торчали мокрые портянки.

— Товарищи,— сказал Голиков,— почти всем одинаково нужна обувь, поэтому я отберу из вас тех, у кого ботинки самые плохие, а вы уже метнете жребий между собой.

— Зачем отбирать? Пускай все тянут,— раздались голоса.

— Для чего жребий? Ты так давай. Рази не видишь, у меня одного ботинка вовсе нет.

— Заткни глотку, черт, куда ты его дел? Еще вчера был?

— Вчера был, а сегодня совсем разорвался.

— Давай, чтоб на всех обувка была! — крикнул кто-то.

— В штабах все поодетые. Портянки ни у кого из дыр не торчат!

— Не пойдем в бой без ботинок. На всех пускай присылают! Голиков вскочил на ступеньку крыльца.

— На нашем фронте пока затишье,— сказал он.— А на других идет наступление. Там бойцы порой одеты не лучше, а хуже нас. Тут некоторые шкурники требуют новые ботинки на каждого. Где я вам эти ботинки возьму? Если желаете щеголять в новом обмундировании, возьмите его у белых. У них полные цейхгаузы. А кто не желает воевать — пусть уходит. Я имею право отдать вас под суд, но я просто говорю: уходите. Вместе с вами я в бой не пойду. Я знаю, что в моем взводе есть сознательные ребята. Я буду с ними защищать революцию.

Аркадий закончил свою речь и вытер лоб. Стоял легкий мороз, но лоб у него был совершенно потный. Он не знал, что получится из его речи. Но промолчать он тоже не мог.

Долго никто не произносил ни слова.

— Нету здесь шкурников,— сказал один.— Зря говоришь, командир. А ботинки дели между нами, как знаешь. Мы тебе доверяем.

МАЛЬЧИШЕСТВО

Под вечер стало известно, что утром полк идет в наступление. На возах доставили боеприпасы, хлеб и табак, сало по двойной норме и обещали подвезти на рассвете горячую кашу и чай.

Голиков знал: перед боем на случай ранения в живот лучше не есть, но объяснять это было бесполезно, аппетит у всех был неутолимый. И комвзвода пошел на хитрость: велел раздать утренний паек с вечера, полагая, что красноармейцы не вытерпят и съедят его перед сном. Тогда на рассвете им достанется только каша из крупно помолотого зерна и чай.

Закончив приготовления к завтрашнему бою, Голиков в одиннадцатом часу отправился проверить посты, а затем начал обход домов, где квартировали его бойцы. Подойдя к крыльцу избы, где он проводил беседу о мнимых заветах дедушки, Голиков услышал через стекло громкий голос неутомимого болтуна Демиденко:

— Когда мы с Актрысовым болтались в лесу, у нас тоже был один молоденький, из офицеров. Любил он по вечерам возле костра про храбрость рассказывать. Особенно если на огонек женщины собирались. А как пошлют его на задание, он за чужие спины...

— Ты это к чему? — перебил Демиденко низкий неприязненный голос.

— Да так, — осекся тот.

Голиков не стал дожидаться конца объяснений. Громко хлопнув отсыревшей дверью, которая плохо закрывалась, он вошел в избу. Красноармейцы вскочили — кто с лавок, кто с печи. Один Демиденко — в несвежей рубахе — сидел за столом при свете каганца.

С появлением командира он тоже встал, но посмотрел исподлобья, желая понять, слышал ли командир его высказывание. Голиков сделал вид, что не имеет представления о разговоре.

— Я хочу сообщить, — произнес он, — что утром нам обещана подержка... Какая именно — сказать не имею права... Но обещана. Так что отдыхайте спокойно. — И ушел задумчивый.

Он бы никому в этом не признался, но самолюбие его было таково, что он болезненно переживал не только свои недостатки и уже совершенные промахи. Он бледнел при одной только мысли, что кто-то подумает, что он может промах совершить.

Рано утром, едва красноармейцы покончили с кашей и остывшим чаем, началась артподготовка. Было видно, что за полем, где позиции белых, вздымаются столбы земли, темного дыма, куски раздробленных деревьев и каких-то строений. Теперь следовало ждать ракету.

Взвод Голикова расположился за сараями и конюшней на краю села Улла. Рассыпав поленицу, красноармейцы сидели на нерасколотых чурбаках. Они молчали, посасывая сигарки с таким самосадам, что у Голикова на расстоянии начало першить в горле от табачного дыма...

Закончилась артподготовка. В небо взметнулись три красные точки. Они повисли в воздухе, лопнули, рассыпались на красное, нарядное крошево. Взвод разом поднялся. Бойцы

защелкали затворами. В небе опять, словно торопя, вспыхнула ракета. На левом фланге раздалось негромкое «ура». Казалось, это дети играют в войну. На самом деле полк подымался в атаку.

Бойцы Голикова оглянулись, ожидая команды, чтобы тоже крикнуть «ура» и побежать через поле. И обнаружили, что командира нет. Все видели, он только что был рядом с ними. И вот — исчез!

— Я предупреждал! — победоносно оглядывая товарищей, заявил Демиденко. — Я этих антилегентов-болтунов знаю. Я их бачил!

— Чтоб ты сдох, Демиденко! — зло выкрикнул кто-то, будто Демиденко был виноват в исчезновении командира. — Веди тогда сам — вишь, все идут.

— Нет! — испугался Демиденко. — Я в командиры не хочу. И в этот момент раздалось:

— Взвод! Слушай мою команду — за мной!

Откуда-то сбоку, из-за копен соломы, появился Голиков. Он был верхом, без седла, на рыжей крестьянской лошаденке с округлым, от сена раздувшимся брюхом. Обенми руками Голиков держался за короткую уздечку. Ноги без стремян беспомощно, по-мальчишески болтались. Было впечатление: если лошаденка сейчас припустит или взбрыкнет задом, командир свалится с ее широкой спины.

— Ура! — кричал Голиков. — За мной!

Он выхватил шашку и несильно, плоской ее стороной, ударил по крупу лошаденки. Та нехотя тронулась с места.

— Ура! — несмело, но обрадованно подхватил взвод, и бойцы начали выбегать из-за сараев.

За сараями начиналось слегка присыпанное снегом поле. По нему слева и справа, будто бы не спеша, передвигались фигурки людей. Голиков протрусил вперед и остановился, поджидая своих бойцов. На прибеленном поле его лошаденка выглядела огненно-рыжей. Взвод прибавил шаг.

Не желая возвращаться и в то же время не имея терпения стоять на месте, Голиков поскакал влево, вдоль наступающей цепи. И в эту минуту о себе напомнил противник. Раскатился дробный винтовочный залп, в стрельбу торопливо включился пулемет. За ним — второй.

— Брось коня, брось! — кричали Голикову со всех сторон красноармейцы.

Но Голиков не для того выпрашивал поздно вечером коня, чтобы в самую главную для себя минуту бросить. А минута была главной. Он вел бывших дезертиров в первый бой, и люди должны были видеть, что он не боится. На самом деле он,

конечно, боялся. У него было ощущение, что винтовки и пулеметы белых направлены только на него (и это в немалой степени соответствовало истине). Но сползти с рыжей лошаденки означало бы подтвердить то, что он желал бы опровергнуть. Никто не должен был усомниться в его храбрости. И он не должен был усомниться в себе тоже.

И Голиков повернул — на этот раз вправо — и опять промчался перед строем наступающих и убедился, что взвод его спешит изо всех сил. Голиков успокоился и, полный благодарности, совсем не начальственным голосом крикнул:

— Скорей, товарищи, скорей! Белые еще не очухались!

Но лучше бы он этого не говорил. Со стороны белых ударила пушка. Снаряд разорвался над теми сараями, где несколько минут назад прятался его взвод. Снаряд лопнул, не долетев до земли, оставив в воздухе белый, похожий на цветок одуванчика дымок. Это была шрапнель.

Голиков снова забеспокоился и опять крикнул:

— Быстрее, товарищи, быстрее!

Слова относились уже не только к его бойцам, но и ко всем остальным, потому что разрозненные группы слились в одну, неровную, редкую, но уже неудержимо катившуюся цепь. Ощущая тревогу за целый полк, Голиков промчался вдоль ломкой линии наступающих, потому что с лошадиного крупа он увидел то, чего еще не знали красноармейцы, — в окопы белых вливались новые солдаты. И Голиков закричал, обращаясь ко всем:

— Бегом, товарищи, бегом!

И бойцы, которые и без того не стояли на месте, поудобней перехватив трехлинейки со штыками, быстрее заковыляли по полю, оступаясь на твердых комьях. И еще Голиков увидел, что над его взводом пыхнул дымок. «Пристрелялись, сволочи!» — успел подумать он. Раскатился взрыв. И двое бойцов неловко повалились.

«Ранены? Убиты? Кто это?» — снова подумал он. Голова работала как бы сама по себе, подмечая, регистрируя, делая выводы, но не включая эмоции, которые сейчас могли только помешать. Разглядеть, кто упал, он не успел.

В следующий миг белоснежный парашют шрапнели раскрылся справа от Голикова, метрах в двадцати от него. Но треска разрыва он не услышал. Звуки пропали, исчезли, отсеклись, как в воде, когда он нырял на глубину. И как на глубине, ему остро надавило на перепонки, словно в уши засунули отточенные карандаши. Одновременно его ударило по ноге, а смрадный дым, пахнувший серой и еще какой-то гадостью, набился в легкие и горло. Он понял, что задыхается, что умирает.

Над головой было небо, полное чистого воздуха — сельского, морозного, которым так хорошо и радостно дышать, а он среди этой воздушной беспредельности умирал от того, что не может его глотнуть. Легкие забило, залило чем-то, что не пускало и уже не пустит воздух.

«Я умираю», — понял он. И на миг увидел себя словно со стороны — с выпученными глазами, разинутым ртом и красным от напряжения, но уже синеющим лицом.

В этот момент тугая волна воздуха, похожая на морскую, будто листок с ветки, сорвала его с лошадиной спины и вознесла вверх. И он в своей широченной шинели распластался и завис над землей.

Так в детских своих снах он часто парил над Арзамасом, раскинув в стороны руки и плавно, легчайшим их движением меняя направление полета и высоту. В этих снах он возносился выше купола Воскресенского собора и, уж конечно, выше колокольни и видел перед собой весь город — с извилистой Тёшей, березовым перелеском и игрушечно-маленьким реальным училищем, из окон которого, казалось ему во сне, его, разумеется, все видели. И еще во сне он думал, что эта способность летать и управлять в воздухе своим телом останется у него навсегда.

...Голикову показалось, что с того мгновения, как рванула шрапнель, прошло много времени, а скользнули всего лишь две-три секунды. Он услышал запоздалый дробный грохот разрыва и сумел выдохнуть из легких набившийся туда тротильный дым. Тугая воздушная подушка, которая вознесла его над полем и держала на высоте, обмякла. Земля потянула Голикова за полу шинели вниз. От скорости, с которой он падал, у него захватило дыхание, живот поджался к позвоночнику. Он еще успел подумать, что к нему вернулась возможность дышать, но что падает он плохо — спиной, а способность управлять в полете своим телом у него начисто пропала.

Острые, оледеневшие комки земли вонзились в позвоночник и в бок. Теряя сознание от боли, он еще успел встревожиться, что обезумевшая от страха рыжая лошаденка его сейчас затопчет. И последнее, что он успел увидеть, были копыта со стершимися подковами (на передней левой подкова лопнула пополам). Но лошаденка, несмотря на испуг, совершила немислимый для ее стати прыжок и не задела своего недавнего седока...

Вместе с болью на Голикова навалилась безмерная, невыносимая усталость.

«...Это ничего,— подумал я,— это ничего. Раз я в сознании — значит, не убит... Раз не убит — значит, выживу».

Пехотинцы черными точками мелькали где-то далеко впереди...

Струйки теплой крови просачивались через гимнастерку. «А что, если санитары не придут и я умру?» — подумал я, закрывая глаза.

Большая черная галка села на грязный снег и мелкими шажками зачистила к куче лошадиного навоза, валявшегося неподалеку от меня. Но вдруг галка настороженно повернула голову, искоса посмотрела на меня и, взмахнув крыльями, отлетела прочь.

Галки не боятся мертвых. Когда я умру от потери крови, она прилетит и сядет, не пугаясь, рядом.

Голова слабела и тихо, точно укоризненно, покачивалась. На правом фланге глуше и глуше гудели взрывающиеся снежные сугробы, ярче и чаще вспыхивали ракеты.

...Думалось: «Чубук жил, и Цыганенок жил... Теперь их нет, и меня не будет».

После неудачного покушения на него у Стригулинских номеров, после боев под Киевом, где погибло девять из каждых десяти его товарищей, Голиков в свои пятнадцать лет еще больше поверил в то, в чем не сомневался с детства, — что он никогда не умрет. То есть вообще-то он понимал, что смерть когда-нибудь настигнет и его, но был убежден, что это случится так не скоро, что об этом не стоило и думать.

Он верил в свою исключительность, словно кто-то незримый постоянно оберегал его. И вот оказалось, что он смертен, как все. Сначала он чуть не задохнулся снаряжным дымом. А теперь жизнь вытекала из него по капле вместе с кровью...

Голиков не мог потом со всей достоверностью сказать, было ли это наяву или привиделось ему в горячке. Будто бы он лежал, укрытый овчинной шубой на сене в пошевнях¹, а кругом толпился его взвод, и бородатые мужики, бывшие дезертиры и лесные бандиты, плакали.

Прибежал Демиденко. Из-под серой его папахи выглядывал край бинта. Вид у него был расстроенный. В руках он держал литровую бутылку молока, заткнутую капустной кочерыжкой.

¹ Пóшевни — широкие сани, обшитые внутри дубом.

Бутылку он поставил в угол саней, у изголовья, и будто бы Актрысов ему сказал:

— Бутылку молока и я достану. А ты мне командира такого достань. Раззадорил мальчика, сволочь. Вот он тебе и доказывал.

И будто бы Демиденко совсем не нахальным голосом отвечал:

— Да я ж не думал, что он меня услышит. И совсем про другого человека говорил.

Но тут сани скрипнули, и снова мохнатые лапы закрыли Аркадию глаза.

БЕЗ НАРКОЗА

Голиков очнулся в просторной палате со сводчатым потолком. Пахло табачным дымом, йодоформом, несвежим бельем и еще чем-то, что исходит от ран и бинтов. Стоял негромкий гул неразборчивых голосов, в который вплетались легкие, сдерживаемые стоны. На них, похоже, никто не обращал внимания. И еще он заметил, что звуки доносятся до него только слева. Он испуганно приложил руку к правой стороне головы — она оказалась забинтована.

Усатый, в летах сосед заметил, что Аркадий открыл глаза, ощупывает голову и шевелит пересохшими губами. Сосед поднялся со своей койки. Стараясь не потревожить раздробленную руку (он ее носил на фанерной дощечке, которую широкая марлевая перевязь удерживала на уровне груди), сосед взял с тумбочки между койками поильник с длинным носиком и поднес ко рту Голикова.

По-детски чмокая, Аркадий сделал несколько торопливых глотков. Струйка тепловатого чая, пахнущего вареной морковкой, залила ему подбородок и грудь. И вдруг он дернулся, будто в него из поильника выстрелили: ворвалась боль. Она охватила правую сторону головы, но даже на фоне этой боли он ощутил злые, острые, ни на что не похожие уколы и шипки в глубине уха. (Позднее узнал: при падении он ушиб голову, а взрывная волна разорвала барабанную перепонку.) Вдобавок ныли спина и позвоночник. Но сильнее всего болела правая нога, точно в икроножную мышцу воткнули раскаленный прут.

Аркадий с тревогой ощупал ногу. Она свободно гнулась в колене, но распухла и по ощущениям была как чужая.

«Что с ней? — пронеслось в мозгу. — Пуля, осколок? Или все уже вынули и надо немного потерпеть?»

— Рана сквозная,— сказал сосед, заметив, что Аркадий ощупывает голень.— Но доктору она не нравится. Он это говорил другому доктору и сказал ученое слово. Я не запомнил. Вроде бояться, чтобы не появился «антонов огонь».

Голиков знал это ученое слово: «гангрена». Омертвление тканей. От испуга у него пропала боль.

— Доктор у нас замечательный,— продолжал сосед.— Не то Батаев, не то Балтаев. Он киргиз или бурят. И делает, сказывали, такое, чего не умеют другие. У них целая семья — и все врачи. Вроде бы дядя его лечил даже царя и его сына. А теперь они разошлись. Дядя неизвестно где. А племянник его, значит, пришел к нам, на нашу сторону.

Боль не возвращалась. Голиков хотел думать, что он во сне просто неловко задел ногу, и оттого она разболелась, и что врач — его фамилия была Бадмаев, это была известная в медицинском мире фамилия — ошибся. И все скоро пройдет.

— А чем закончилось наступление под Уллой? — спросил Аркадий.

— Где, где? — удивился сосед.

— Под Лепелем, в Белоруссии.

— У-у, милоч, ты ведь в Воронеже. Тебя сколько дней везли, а ты все не просыпался. Видать, тебя сильно о землю стукнуло. Об этом доктор тоже говорил.

...Он так и не узнал, чем закончился бой, кто его подобрал и кого поставили взводным. А еще Голикова мучила совесть: он обещал после боя вернуть лошаденку. Даже оставил в залог свои карманные часы, но не успел никого предупредить: если что с ним случится, то чтобы лошаденку отвели к хозяевам. Оставалось надеяться, что ее не задела ни осколок, ни пуля и она сама отыскала дорогу домой.

В операционную Голикова забрали в тот же день после обеда. В длинном зале, вполне пригодном для балов и танцев, было шесть или семь столов. Возле каждого, склонясь, стояли люди в халатах. Изредка раздавалось непонятное слово, брякало железо о железо — это врачи отбрасывали ненужный инструмент.

Лежа под простыней на холодной мраморной доске операционного стола, Аркадий старался не вникать, чем заняты хирурги слева и справа от него. Неподалеку, в углу, где было оборудовано нечто вроде кухни и на газу кипятились инструменты в никелированных кастрюлях, две медицинские сестры — одна постарше, с сумрачным, недобрим лицом, другая совсем молоденькая — укладывали щипцами блестящие предметы в продолговатые металлические коробки.

Голиков отвернулся, не желая смотреть и думать, что

и для чего они достают, снова увидел весь зал, и глаза сами собой выхватили три главных цвета операционной: простынно-белый, бордово-красный и клинковый — цвет хирургических инструментов. И тогда он стал глядеть в потолок, но и своды были простынно-белые. «Хоть бы нарисовали что на потолке или повесили какие картины,— с тоской подумал он.— Рисуют же в церкви».

— Вам нехорошо? — Возле Аркадия стояла молоденькая медсестра.— Дать воды?

— Нет, ничего. Это я так,— слегка оторопел Аркадий, но воды с легким дурманящим запахом выпил. И ему стало спокойней — только не от капель, а от того, что рядом был живой человек без всякого железа в руках.

— Дайте я вам пока разбинтую ногу,— предложила девушка и стала снимать повязку.

От ноги пошел тяжелый запах. Стыд за этот запах перед девушкой во всем белоснежном и испуг от того, что этот запах мог означать, заглушили боль в голени. Сестра холодной влажной марлей, намоченной в спирте, протерла кожу вокруг раны.

Несмотря на боль в спине, от которой он готов был заорать, Голиков приподнялся на локтях. Придерживая подбородком простыню, чтоб она не сползла, он взглянул на свою ногу. Сосед не ошибся. Рана действительно была сквозная. Два ровных, круглых полузатянувшихся отверстия темнели с обеих сторон икроножной мышцы. Пуля, скорей всего, не задела кость, но при этом нога между коленом и лодыжкой была воспалена, а возле отверстий краснота переходила в синеву.

Голиков, закрыв глаза, со стоном опустил на ровный мрамор. Спине стало легче, но появилась дурнота. Девушка опять дала ему воды с растворенными в ней каплями. А когда он открыл глаза, возле него стоял хирург — среднего роста, лет тридцати, с крупной головой и умным, волевым лицом. Протерев руки спиртом, который прямо в ладонь налила ему сестра, хирург сказал:

— У вас, Голиков, тяжелая контузия головного мозга — от взрыва и падения. («Он знает меня?!» — удивился Аркадий.) Дать наркоз вам я не могу. Отложить операцию тоже.

Голиков увидел, что вторая сестра, постарше, вынимает из автоклава никелированную пилу.

— Ампутация? — Аркадий опять приподнялся на локтях.— Будете пилить ногу?..

— Нет,— спокойно ответил врач.— Почисту рану. Вас перевязывали в полевых условиях. И она воспалилась. Спирту выпьете? Глоток спирта я вам дать могу.

Молоденькая сестра протянула мензурку зеленоватого стекла, в которой колыхалась бесцветная жидкость. Голиков покраснел и жестом показал, чтобы рюмку убрали. Не только спирта — он еще не пил в своей жизни и вина, хотя на Украине было разливанное море самогонки, и он сам не раз крушил топором самогонные аппараты и трехведерные бутылки с водкой.

На спокойном, непроницаемом лице хирурга чуть двинулись брови.

— Тогда немного потерпите, — мягче и теплее произнес он. — Я постараюсь быстро. — И добавил, повернувшись к молоденькой сестре: — Привяжите его.

Голиков хотел сказать: «Не надо!», но промолчал. И его привязали широкими льняными полотенцами к столу, к специальным кольцам под доской. И он лежал, окончательно подавленный тем, что его опутали, как брыкливого теленка.

За время службы в армии он привык полагаться на свою силу воли, которая позволяла не кланяться каждой пуле. В пятнадцать лет (шестнадцать ему должно было исполниться через месяц с небольшим) он уже прослыл человеком рискованным, но с холодной головой (хотя порою делал глупости). Однако объяснять все это, лежа под короткой простыней, было вдвойне унижительно. И он принял окончательное решение: «Пусть делают что хотят — только пилить ногу я не дам».

И он лежал не шелохнувшись, то есть даже не делая попытки шевельнуть рукой или ногой, пока хирург промывал ему рану снаружи. Правда, молоденькая сестра чистым тампоном вытерла струйку крови, которая побежала из прокушенной губы.

Голиков уговаривал себя, что боль невелика, что она становится слабее. И даже загадал: если он перетерпит и не издаст ни звука, то все обойдется без пилы.

Блеск и негромкое звяканье инструментов, сосредоточенное лицо хирурга, делающего привычную работу, белая косынка и проворные руки медсестры — все это переместилось как бы за незримую стеклянную перегородку. И он, к собственному удивлению, обнаружил, что боль в самом деле стала вполне терпимой. Голиков сбросил напряжение, мышцы расслабились.

— Молодец, — негромко обронил хирург.

Голиков поймал на себе слегка обеспокоенный, но теперь улыбающийся и подбадривающий взгляд молоденькой медсестры. И ему было уже не так стыдно за свою наготу и распятисть.

Тут хирург сделал быстрое и точное движение. Острый

невидимый огонь прожест ногу. Голиков не ждал этого, рванулся, и полотенце, которое держало его туловище и руки, то ли развязалось, то ли лопнуло. И Аркадий сел на столе.

— Да привяжите вы его! — рассерженным голосом крикнул хирург, отходя от стола и высоко держа длинные изогнутые ножницы с зажатым в них куском окровавленного бинта.

Медсестры мигом опрокинули Аркадия на пришибленную спину и сильными, жесткими руками снова привязали к столу. Но благодетельная боль, которая, как думалось Голикову, свидетельствовала о том, что гангрены нет и ампутация не нужна, была теперь невыносима. Она разлилась по всему телу, заполнила все уголки его существа. И от нее не было спасения — возможно, потому, что от рывка растревожилась спина.

И снова беспощадный огонь прожест насквозь ногу, будто в рану с обеих сторон натолкали раскаленных углей. И Голиков потерял контроль над собой. Он начал рваться вон из пут, хотя обе сестры держали его. Скорей всего, он бы вырвался, но словно издалека донеслись слова:

— Все. Теперь все. Вы держались молодцом.

Огонь в растревоженной ране начал угасать. Нogu забинтовали и развязали полотенца. Прямо перед собой Аркадий увидел нежное девичье лицо под накрахмаленной косынкой, милую родинку возле рта и огромные, испуганные глаза с мокрыми ресницами. От девушки исходил тонкий запах земляничного мыла.

«Она плакала?» — вяло удивился Голиков. Сил его достало только на то, чтобы чуть слышно произнести:

— Извините... спасибо.

Два санитары привезли его на каталке в палату, осторожно переложили в постель и исчезли.

— Покушай,— предложил сосед с дощечкой.

Аркадий помотал головой и показал глазами на поильник. Сосед поднес носик к распухшим губам Голикова. Аркадий сделал несколько глотков и закрыл глаза: он устал, но еще больше ему хотелось побыть одному.

Двое суток Голиков прожил спокойно. Ноге полегчало. Когда делали перевязку, он своими глазами увидел, что припухлость спала, синюшность почти исчезла.

— Вот и славно,— сказал хирург,— пойдете скоро танцевать кадриль и польку.

А ночью в голени снова появился жар. Час от часу он усиливался, будто прямо на койке развели костер и подбрасывали в него ветки. Жар становился нестерпимым, а Голиков еще надеялся, что все, быть может, пройдет само...

Всю жизнь скрывая это, Аркадий побаивался врачей и с опаской относился к хирургическим инструментам. Наверное, его натура, унаследованная в первую очередь от предков-землепашцев, восставала против вмешательства в нее. А теперь перед внутренним взором Аркадия неотступно поблескивала никелированная пила с мелкими наточенными зубчиками.

Лежа на кровати и каждые несколько минут пытаюсь найти такое положение, когда бы ногу меньше пекло, Голиков думал и о том, что мог бы сейчас быть дома, преспокойно учиться в школе, бегать в синематограф Рейста, а вечерами сидеть за книгами при свете лампы с уютным зеленым абажуром. И он бы слышал, как в кухне, готовя чай, звякает ложечками и рассказывает что-то смешное мама. И у него бы, Аркадия, ничего не болело, и он бы не ощущал такого одиночества, как сейчас, и такой заброшенности, от которых хотелось плакать, но плакать было нельзя.

Боль в ноге стала невыносимой. И хотя Голиков молчал, все еще уповая на чудо, сосед с покалеченной рукой заметил, что мальчишке плохо. Аркадий сделался пунцовым, тяжело дышал, с шумом вбирая и выталкивая из легких воздух.

Сосед вышел из палаты и вернулся с пожилой медсестрой. Женщина откинула одеяло, взглянула на ногу, и через четверть часа Аркадий уже лежал на операционном столе, ощущая знакомый холод мраморной доски. Операционная была пуста. Последние дни, Аркадий это слышал, спешно выписывали всех выздоравливающих: ждали эшелон раненых — на фронте началось наступление.

Бадмаев, по счастью, был дежурным. При сильном свете электрической лампы с белым рефлектором он с невозмутимым, смуглым лицом Будды рассматривал разбинтованную голень. Она распухла. Нога и брошенный в таз бинт издавали сладковатый запах. Легким, бережным прикосновением сильных, чутких пальцев хирург ощущал припухлость.

— Больно?

— Вообще-то больно... то есть печет...

— Еще раз прокипятить инструменты? — строгим, безразличным голосом спросила медсестра. Она стояла возле плоской никелированной кастрюли в углу операционной и внимательно следила за разговором.

— Клеопатра Никитична, — произнес Бадмаев, которому не понравился вопрос, — я еще днем заказал медикаменты. Их не доставили?

— Склад закрыт... а медикаменты уже не помогут...

— Что здесь поможет, — спокойно, не оборачиваясь, произнес хирург, — решать мне. Поэтому прошу вас немедленно

разбудить заведующего аптекой и забрать у него заказ. Я вас жду... Вот что, Голиков,— сказал Бадмаев, когда за медсестрой закрылась тяжелая дверь.— Я сделаю еще одну попытку спасти вам ногу. Только, простите, сегодня без наркоза нам уже не обойтись.

Бадмаев быстро поднес к лицу Голикова вату, которая издавала приятный и свежий эфирный запах. Внезапно запах сделался тревожно-удушающим. Голиков хотел отвести руку хирурга и не успел.

Ему показалось, что он со столом куда-то проваливается, но вместо мрачного подвала, о котором в госпитале избегали говорить, Голиков попал в бескрайний простор, и его понесло ввысь, к ярким, дружелюбно поблескивающим звездам.

Он сразу увидел у себя над головой Большую Медведицу. Она оказалась так близко, а звезды, из которых она составлена, такими крупными, что Голиков даже протянул руку, чтобы коснуться Полярной звезды. Он любил ее. Она несколько раз выручала его, когда он в темноте, в незнакомом для него месте сбивался с пути.

Коснуться Полярной звезды ему не удалось. Она была выше, чем он думал. Но он задел Большую Медведицу. Пунктирно очерченный звездами ковш ее вдруг сделался сплошным, металлическим, кованым. Он стал похож на медный таз, в котором тетя Даша варила варенье. Ковш медленно наклонился, из него полилось на большую ногу кипящее сверкающее расплавленное серебро, из которого, надо полагать, и отливали звезды.

Голиков чувствовал, как жидкий металл прожигает насквозь ногу. Он хотел ее отдернуть или отвести ковш рукой, но ему не удалось ни то ни другое. И расплавленные звезды продолжали разливаться нестерпимым жаром по ноге. Когда он уже собрался крикнуть, горячий поток из ковша Большой Медведицы начал остывать, превратился в облако пара. Ковш вернулся на место и снова рассыпался на звезды. А Голиков со своим операционным столом опять полетел куда-то вниз. От стремительности полета на миг даже остановилось сердце. И Голикова целиком поглотила мгла.

...Через несколько дней Аркадий начал ходить на костылях по палате и даже по коридору. Сначала это ему плохо удавалось: костыли разъезжались, и он не мог далеко отойти от палаты. А когда, наконец, почувствовал себя вполне уверенно, захотел показать, что он уже сам ходит, хирургу, которого давно не видел: перевязки ему теперь делали сестры.

Голиков спустился на второй этаж. По коридору шла Клеопатра Никитична.

— Здравствуйте,— обрадовался он ей.— Видите, я уже хожу.

— Поздравляю,— холодно ответила она.

— А доктор Бадмаев здесь?

— Его нет.

— А когда он дежурит?

— Доктор Бадмаев теперь служит в другом госпитале,— ответила она, не поднимая глаз, и прошла мимо.

ОТПУСК

Из неоконченной повести «ОБЫКНОВЕННАЯ БИОГРАФИЯ»

«В Воронежском военном госпитале я пролежал три недели. Рана еще не совсем зажила, но за последние дни прибывало много раненых... Мест не хватало.

Мне выдали пару новых, пахнущих свежей сосною костылей, отпускной билет и проездной литер на родину, в городок Арзамас.

Я надел новую гимнастерку, брюки, шинель, полученные взамен прежних — рваных и запачканных кровью, и подошел к позолоченному полинялому зеркалу. Я увидел высокого, крепкого мальчугана в серой солдатской папахе — самого себя с обветренным похудевшим лицом и серьезными, но всегда веселыми глазами...

Я отвернулся от странного зеркала и почувствовал, как легкое волнение покачивает и слегка кружит мою только что поднявшуюся с госпитальной подушки голову. Тогда я подпоясался. Сунул за пояс тот самый давнишний маузер... и, притопывая белыми, свежими костылями, пошел потихоньку на вокзал. Там спросил я у коменданта, когда идет первый поезд на Москву.

Охрипший суровый комендант грубо ответил мне, что на Москву сегодня поезда нет, но к вечеру пройдет на Восточный фронт санитарный порожняк, который довезет меня до самого Арзамаса. И еще сердитый комендант дал мне записку на продпункт, чтобы выдали мне хлеб, сахар, селедку и махорку в двойном размере — как отпускнику-раненому.

Хлеб, сахар и селедку я положил в вещевой мешок, а махорку отдал на вокзале одному товарищу, который был еще раньше ранен и теперь опять возвращался на фронт.

...Около года я не получал писем от матери. Сам я написал ей за это время два или три коротеньких письма, но адреса своего сообщить ей не мог, потому что в то время полевых почтовых контор еще не было... А из госпиталя, из Воронежа, я не писал нарочно — чувствовал, что мать, узнав о моей ране, только без толку расплачется и разволнуется.

...Поезд прорвался мимо полустанка Слезевка. Впереди мелькнули бесчисленные церкви и монастыри Арзамаса... так что я теперь мог уже различить и широкую гору собора, и тонкую, как мечеть, колокольню Благовещенской церкви, и даже старую пожарную каланчу.

Тогда поезд завернул влево и ушел в лес, в тот самый детский лес, в котором мне были знакомы каждый бугорок, каждая поляна и каждая ложбина.

Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Передо мной стояла красная сестра с поезда.

— Приехали,— мягко сказала она.— Сойдешь — постарайся найти лошадь. А если не найдешь, то иди потихоньку и чаще отдыхай».

Когда Аркадий вышел из вагона, он не увидел на привокзальной площади ни одного извозчика. До дома километра четыре. Одолеть их с простреленной ногой было нелегко. Но ничего иного не оставалось. Голиков поправил вещевой мешок и пошел по гладкой накатанной дороге. Он шел потихоньку, а ему хотелось бежать, но, когда он пробовал ускорить ход, костыли скользили по обледенелым колеям или проваливались в снег, а простреленная нога начинала неметь и стыть.

— Эй! — услышал он вдруг позади себя окрик, скрип саней и мягкий стук копыт.

Посторониться было некуда, а сворачивать в сугроб Аркадий не хотел. Тогда он рассерженно обернулся и, опираясь на костыли, встал посреди дороги. С саней соскочил подводчик, подошел к нему и сказал смущенно:

— Садись, солдат, подвезу.

Аркадий забрался в сани.

— С какого фронта? — спросил подводчик.

— Александр Алексеевич,— ответил, улыбаясь, Аркадий,— вы меня не узнаете?

— Голиков? — вскрикнул подводчик.— Вы ранены? И серьезно?

— Нет, ничего. А это,— он ткнул рукой в костыль,— пустяк, это временно.

Подводчиком был учитель истории. На своих уроках он ровным голосом рассказывал о мощи Российского государства, а теперь вез на подводе раненого большевистского мальчишку, которого всего два года назад учил тому, что великая империя, где уже триста лет правит династия Романовых, непобедима.

Аркадий поднялся на крыльцо и вошел в дом. Из полутьмы прихожей он увидел, что сестры сидят за обеденным столом и делают уроки. Ни мамы, ни тети Даши с ними не было.

— Кто там? — сильным грудным голосом произнесла Наташа.

— Сестришки, это я!

Девочки сорвались с мест, выбежали в прихожую и завизжали.

— Вы чего? — испугался он.

— Да, ты на костылях! — ответила Катюшка.

— Это ненадолго.

Лишь после того как Аркадий прислонил костыли к стене, снял с себя мешок и повесил шинель, девочки успокоились. Первой ему на грудь кинулась зареванная Талка. Он расцеловал ее мокрые щеки. За ней виновато и несмело подошли Катя и Оля.

— А мама где, тетя Даша?

— Мама скоро придет, — ответила Катюшка, — а тетя Даша в очереди: конину дают.

— Тогда вот что: засунь-ка ты, Катюша, мои костыли куда подальше.

Аркадий прохромал в столовую и сел на диван. Талка, поймав в его глазах беспомощное выражение, кинулась к нему и помогла снять сапог с больной ноги. Второй сапог он легко стащил сам и блаженно растянулся на диване.

Рядом, только протянуть руку, был обеденный стол. За ним Аркадий до ухода в армию готовил уроки. На подоконнике тускло поблескивала керосиновая лампа с зеленым абажуром, та самая, о которой он вспоминал в госпитале. Лампа была для него маяком и символом дома. Теперь по вечерам при ее свете готовили уроки девочки.

Кто-то пробежал мимо окон, хлопнула входная дверь.

— Аркаша приехал?! — раздался мамин голос, в котором слышались и радость, и тревога.

— Приехал... отдыхает... — вразной ответили сестры.

Остановясь на пороге комнаты, Наталья Аркадьевна настороженно оглядела сына, догадываясь, что с войны просто так не приезжают. Но, увидя, что вроде бы он цел, она

подбежала, опустила на колени и, взяв холодными с мороза руками его голову, дрогнувшим голосом сказала:

— Похудел, побледнел. А вырос-то, а вырос-то! Да встань ты! Дай я на тебя посмотрю...

— Мне, мама, неохота вставать... Я бы, пожалуй... да у меня нога немного побаливает...

— Ранен? — тихо спросила она.

— Немножко.

Наталья Аркадьевна провела рукой по бритой голове сына, прижалась щекой к его щеке. И Аркадий почувствовал себя маленьким и совершенно от всех невзгод защищенным, будто еще продолжалось детство и он никуда не уезжал.

Вскоре зашипел самовар. В кухне запахло чем-то вкусным. И легкая дрема охватила Аркадия. Ему опять показалось, что ничего такого не было — ни фронта, ни широких степей, ни боев, ни гибели товарищей.

Дрема, которая клонила в сон, оказалась не только усталостью, но и подхваченным в поезде тифом. Через день Голиков метался по тесной, сразу ставшей неудобной постели. Больше всего досаждала температура. Мокрые полотенца, которые ему клала на лоб тетя Даша, быстро высыхали. И Аркадий опять начинал метаться и бредить.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Пока болел, одолевали кошмарные сны. Они были страшней, чем в детстве, и в то же время связаны с детством. То он видел себя совсем маленьким, лет трех, и его ловила орава бородатых мужиков с обрезами, и всякий раз, как они его настигали, он выскальзывал из их рук.

Или он видел себя возвращающимся из реального — с набитым книгами ранцем. Внезапно возле дома останавливалась пролетка, с нее соскакивал мельник из бандитского гнезда, хватал Аркадия и вталкивал в темный подпол. Лязгал тяжелый запор. Аркадий плюхался на грудь влажного тряпья, которое оказывалось намокшим в крови солдатским обмундированием. И Голиков чувствовал, что липкие подола гимнастерок, тяжелые рукава с медными пуговицами приклеиваются к его лбу, щеке, рукам. И он кричал. Кто-то проводил влажным холодным полотенцем по лбу и бритой его голове. Аркадий на время выныривал из тьмы, успокаивался, вспоминал, где он, и думал: «Как глупо... после всего... умереть... дома».

Он опять стонал. И мамины руки — он ощущал их тепло

даже с закрытыми глазами — подносили к губам какое-то кислое питье.

Однажды Аркадию приснилось, что в кухню тайком проник мужик-отравитель, тот самый, подсланный Битюгом, отец похищенной Оксаночки. Хитро подмигнув, он повернулся спиной и стал что-то высыпать из бумажного кулька в большую кастрюлю, в которой тетя Даша варила суп на два дня. Аркадий рванулся, но не сдвинулся с места, потому что был привязан, как на операционном столе. Хотел крикнуть, но пропал голос. А тетя Даша — он это слышал — уже доставала тарелки, готовясь разливать обед.

«Они сейчас все отравятся, — подумал он, — отравятся из-за меня». И от бессилия перед неминуемой бедой он покрылся холодным потом. И услышал, как мужик-отравитель проговорил: «Слава богу, кризис миновал».

...Когда Аркадию позволили ходить, он в первый же вечер пришел, хромая, в комсомольский клуб. Вместо костылей у него была только палка. Передвигаться с палкой было трудней, но зато он не чувствовал себя увечным.

Из клуба первыми навстречу ему выбежали двое: белобрысый, плечистый гигант Шурка Плеско и черненький, узкокостный, всегда немного франтоватый Коля Кондратьев. Шурка схватил Аркадия в охапку и закружил на месте. Так Аркадия в детстве кружил отец, но от того, что Шурка сейчас кружил его, как маленького, на глазах девушек и парней, Аркадий почувствовал себя достаточно нелепо. И он сердито выдавил:

— Шурка, пусти!

Плеско послушно поставил его на землю. Аркадий смущенно пожал руку Кондратьеву и другим комсомольцам, взял свою палку, виновато протянутую ему Шуркой, и, глядя себе под ноги, начал подыматься по ступеням широкого крыльца.

Аркадия пригласили в просторную комнату, где топилась печка и в деревянной стойке выстроились разнокалиберные винтовки, а на стене висел телефон в деревянном лакированном корпусе. Все расселись. Аркадий оказался в качестве почетного гостя как бы в президиуме, то есть лицом ко всем, но отдельно. Что делать, о чем сейчас говорить, он не представлял. Но программа есть программа. С места поднялась беленькая тихая Зоя Средина¹. Негромким голосом, но уверенно и четко она произнесла:

— От имени уездной комсомольской организации я поздравляю вас, Аркадий, с приездом в отпуск. Мы очень гор-

¹ Имя и фамилия изменены.

димся Петей Цыбышевым и вами, потому что вы оба наши комсомольцы и оба стали командирами...

С Зоей Аркадий был знаком и раньше, до ухода в армию. Почти каждое утро они встречались по дороге в школу: он бежал в реальное, она — в женскую гимназию. Зоя с тех пор изменилась мало. Только фигура ее стала немного плотней, а лицо сделалось задумчивей и нежнее.

Тут Аркадий встретился с Зоей глазами. Оба покраснели. Зоя сбилась. Наблюдательный Коля Кондратьев захолопал первым, как будто бы приветственная речь и должна была кончиться на полуслове. А находчивая Ида Сегаль, чтобы не получилось паузы, спросила:

— А на «женский вопрос» вы, Аркадий, как смотрите? Все ли вам понятно в книге Бебеля «Женщина и социализм»?

В комнате притихли, ожидая ответа, словно им должно было открыться что-то необыкновенное. Аркадий смутился.

— На «женский вопрос» я еще никак не смотрю,— честно ответил он, снова краснея.— Про эту книгу слышал, даже в руках ее держал, но не читал.

— Тогда расскажите, Аркадий, что-нибудь про фронт,— негромко попросила Зоя.— Например, идет ваш отряд — вдруг...

— Тоже мне, нашла про что спросить! Спросила бы про бой или атаку,— вмешался Коля.— Ну, там фронтальную или фланговую. А то «вдруг да вдруг».— И он посмотрел на Голикова, словно говоря: «Разве ж они понимают?»

Аркадий подумал, что ему было бы легче отвечать по Зоинной схеме: «Идет отряд — вдруг...», но тут опять вмешалась решительная Ида:

— Расскажите лучше, Аркадий, где вас ранило. Какой вы совершили подвиг?

— Подвига я никакого не совершал,— усмехнулся он.— Я один как дурак торчал на лошади впереди цепи. Мне казалось, красноармейцы, видя меня верхом, уверенней пойдут за мной. А теперь я понимаю: они бы и так пошли. Выходит, ранило меня исключительно по моей глупости. Лучше расскажите, как вы тут? Чем занимаетесь?

— Кто чем,— осторожно заметил Шурка Плеско. Он был на год старше Голикова, и его слегка задело, что вот Аркашку встречают, как героя, и все внимание сосредоточено на нем одном.

— Мы уже неделю стираем белье в госпитале,— сказала Зоя.— Разгружаем вагоны, моем полы в детском распределителе — это куда привозят беспризорных. Там не хватает нянечек.

— А Шурка у нас на лесоповале отличился,— сказала вдруг Ида.— Нас послали заготавливать дрова. Начался лесной пожар. Шурка трое суток без остановки рубил деревья, копал канавы, чтобы не дать ползти огню. И вдруг свалился на землю.

— Мы испугались — умер! — взволнованно добавила Зоя.— Подбежали, смотрим — заснул!

— И Зойка сидела подле него целый день, пока он не проснулся,— насмешливо добавил Коля.

— Ты смеешься,— накинулась на Кондратьева Зоя,— а он спал, как под наркозом. Свались на него дерево — он бы не почувствовал.

— Аркадий, вам тоже делали операцию под наркозом? — спросила Ида.

— Первый раз доктор сказал: «Вам нельзя давать наркоз».

— И что же? — недоуменно спросила Зоя.

— Я ответил, что потерплю. И мне сделали просто так.

Сколь ни велико было обаяние рассказа о самоотверженности Шурки, слова Аркадия о том, что он согласился на операцию «просто так», произвели сильное впечатление, а на Зоиных глазах блеснули слезы.

Рано утром Аркадий вышел из дома вместе с мамой.

— Я хочу провести с тобой хотя бы один день,— сказал он ей накануне.— Я тебя совсем не вижу. На фронте я без тебя сильно скучал.

— Я буду счастлива побыть с тобой целый день.

Наталья Аркадьевна занималась профсоюзной работой, в том числе «женским вопросом», который так волновал Иду Сегаль¹.

Но быстро ходить Аркадий еще не мог. А у матери все было расписано по минутам. И она нервничала, что опаздывает. Когда же Аркадий предложил: «Ты, мамочка, иди, я приду сам», Наталья Аркадьевна обиделась: «Я дорожу каждой минутой с тобой: ты же скоро уедешь».

И вдруг война, которую он видел каждую ночь во сне, боль в ноге, которая не проходила, потому что был задет нерв, и Аркадий, случалось, останавливался, не в силах двинуться,

¹ В царской России права женщины были резко ограничены. В большинство учебных заведений принимали только мужчин. Женщина не могла стать врачом, инженером или машинистом. В семье она попадала в полную зависимость от мужа. Октябрьская революция уничтожила это неравенство, однако требовалась большая разъяснительная работа, чтобы женщины узнали о своих правах и начали ими пользоваться.

посреди мостовой, и его с гиканьем и бранью объезжали извозчики, и даже мысли о скором отъезде отошли, заслонились и отодвинулись. Аркадий влюбился.

Он приходил вечерами в клуб, где ему всегда были рады. Аркадий отдыхал от одного ощущения, что он не один и ему не надо бежать проверять посты или санитарное состояние казармы. И хотя в клубе редко было тепло — не хватало дров, и хотя Арзамас жил голодно: у Аркадия к вечеру начинало сосать под ложечкой (а ведь мама старалась кормить его получше), — в клубе постоянно царило оживление. Аркадий уже не чувствовал себя скованным. С ним уже никто не обращался как с героем, и он охотно дурачился, помог выпустить газету, где весь номер был посвящен борьбе с курением. И в этом номере поместили его, Аркадия, фельетон о Шурке, который дымил безостановочно.

Шурка Плеско был его ближайший друг. И Шурку все любили — за жадность к книге, точную бездонную память, в которой хранилась тьма сведений, стихов, имен и афоризмов. Кроме того, он был потрясающей преданности человек. И все же Шурку Аркадий не пощадил. Фельетон стал местной сенсацией. Аркадий гордился этим, однако был огорчен, что фельетон имел больший успех, нежели его стихи, опубликованные в укомовской газете «Авангард», которую редактировал тот же Шурка.

Начинались стихи так: «Угнетенные восстали, у тиранов мы отняли нашу власть. И знаменам нашим красным не дадим мы в час опасный вновь упасть!»

И вдруг в этой сутолоке, хохоте, шуме, непрерывной и непримиримой полемике всех со всеми, в этой почти маскарадной суете он увидел глаза: голубые, внимательные, поразительной чистоты и притягательности. Эти глаза, оказывается, неотступно следили за ним, Аркадием, везде, где бы он ни появлялся: на митинге, в театре, за товарищеским чаем с сахарином и маленькими кусочками хлеба, заменявшими былой пирог. Эти глаза пытались что-то в нем уяснить и постичь.

И Аркадий неожиданно понял, что хочет тишины наедине с этими глазами, что ему нужно выговориться — не перед мамой, которая бледнела, лишь только он начинал рассказывать, как было на войне, и не перед комсомольской организацией, которая все-таки ждала от него рассказов о героизме, а перед Зоей. Ему теперь думалось, что только Зоя поймет его, как никто. И он сумеет объяснить ей, что такое быть командиром, когда тебе пятнадцать, и внезапно увидеть на земле умирающего друга. И как трудно крикнуть: «К бою!», зная, что не все вернутся.

Аркадий начал искать возможности побыть с Зоей наедине. Но ничего не выходило. Там, где они встречались — в клубе или у кого-то дома, — всегда было шумно и тесно.

Однажды он предложил:

— Давай уйдем пораньше.

Она ответила:

— Неудобно.

Началась игра в фанты. Зое выпало ответить: «Кого ты больше всех любишь?» Воцарилась тишина. Зойка славилась тем, что в любых обстоятельствах говорила только правду. В ожидании ответа Аркадий так сжал кулаки, что ногти впились ему в ладонь. Зоя, по обыкновению, побледнела, подняла лицо и, не выпуская бумажки с вопросом из рук, спокойно ответила:

— Больше всех я люблю маму... и свою комсомольскую организацию.

А он без нее уже не мог. Он жил от одной встречи до другой. Расставаясь поздно вечером, спрашивал: где увидит ее утром? И считал сначала часы, а потом уже и минуты до того момента, когда встретит ее опять.

Если она опаздывала, он сердился и придумывал колкости, которые скажет, но стоило ему заметить в конце улицы тонкую фигуру в пальто с воротником из белого пушистого меха, стоило ей подойти к нему и протянуть маленькую теплую ладошку, вынутую из пуховой варежки, или просто посмотреть ему в лицо милыми, простодушными, незащитными глазами, как раздражение против нее улетучивалось.

И пока она шла рядом с ним или пока находилась в одной с ним комнате, смеясь чему-нибудь или поворачиваясь к нему, чтобы убедиться, что ему так же весело, как и ей, или когда, оживляясь в разговоре или споре, нечаянно доверчиво касалась его рукой, он был счастлив.

Если он чувствовал прикосновение ее ладони, время для него останавливалось. Сердце тоже. И он был готов сколь угодно долго не дышать и не двигаться, не произносить ни единого слова, лишь бы не спугнуть ее руку, детское тепло которой мгновенным жаром разливалось по его телу.

Но все не вечно в этом мире. Ничего не заметив или не придавая этому значения, Зоя передвигала или вовсе убирала свою ладошку. Замершее сердце Аркадия, огорченно сжавшись, начинало лихорадочно биться. А Зоя, решительно поднявшись со стула, уже направлялась в переднюю надевать пальто.

— Я тебя провожу, — говорил, просил, почти умолял негромким голосом Аркадий.

— Неудобно, — тихим заговорщицким тоном всякий раз

отвечала она. И уверенно, как старшая младшему: — Мы ведь завтра увидимся.

Едва лишь за ней закрывалась дверь, он хватал шинель и выбегал, прихрамывая, следом. Ему мерещилось, что Зою на улице, на холоде кто-то нетерпеливо ждет и поэтому она не разрешает провожать. Пользуясь немалым опытом, обретенным в армейской разведке, он двигался украдкой по другой стороне проулка, не упуская Зою из вида и пытаясь остаться незамеченным.

Зоя легко и стремительно шла по вечерней улице, бедно освещенной бликами из окон, и не было с нею рядом даже тени. Аркадий успокаивался и бежал домой. Внутри него, как припев любимейшей песни, звучало: «Мы ведь завтра увидимся... Мы ведь завтра... Мы ведь...»

Близился отъезд. Аркадий все реже бывал дома, стараясь не замечать обиженных взглядов мамы, тетушки и сестричек. А он не мог ничего с собой поделаться: он должен был понять, как к нему относится Зоя.

8 марта 1920 года в Арзамасе впервые отмечали Международный женский день. На базарной площади был митинг, там выступала и Наталья Аркадьевна. Потом здесь же водили хороводы и плясали под гармонию.

Плясать Аркадию не позволила боль в ноге, которая усиливалась к вечеру, но он уже старался, пусть прихрамывая, ходить без палки и, держа Зою за руку, вместе со всеми делал во время праздника «воротики», а потом, не выпуская Зою из рук, низко наклонив голову, проходил через эти «воротики», сооруженные другими.

Он ждал, когда закончатся игры, чтобы пригласить Зою к себе домой. Так ему велела проникательная мама. «Пригласи, — сказала она, — Зою к нам обедать или на чашку чая».

Наконец смолкли все гармошки, публика стала расходиться. Аркадий собрался было сказать, что мама ждет их к обеду, но появился Шурка. Приглашение теряло всякий смысл. Аркадий подавленно произнес:

— Пойдемте в перелесок.

Светило весеннее солнце. В перелеске возле кладбища белел незатоптанный снег и высились, сияя чистотой на ярком свету, мощные, высокие березы. Аркадий любил эти места, особенно летом, но сейчас его не радовал даже перелесок. Аркадий досадовал на нектати появившегося Шурку и с грустью думал, что через 56 часов он уедет: отпуск его кончился.

А Шурку внезапно прорвало. Он начал рассказывать одну смешную историю за другой. Почти все они были заимствованы из юмористических сборников. И тихая Зоя, от которой никто

не слышал громкого слова, залиvisto смеялась и не спускала с Шурки развеселившихся глаз.

Аркадий позавидовал могучей Шуркиной памяти, хотя не жаловался и на свою. И тоже стал рассказывать смешные случаи, но из военной жизни. Он рассказал, например, как один боец пошел без разрешения купаться, нырнул в речку, а когда вынырнул, то увидел, что два здоровых дяди непонятной классовой принадлежности примеряют его обмундирование, а третий целится из обреза...

Но Зое такой юмор не понравился. Она даже не улыбнулась и вскоре убежала домой. В тот же миг упоенное и самоуверенное лицо Шурки вытянулось и сделалось беспомощным.

— И ты, Брут? — готовый заплакать от догадки, спросил Аркадий.

Шурка тяжело вздохнул.

— Не грусти, — великодушно сказал Аркадий. — Может, тебя она и любит.

— А чего меня любить? — обреченно ответил Шурка. — Я не герой.

— А знаешь что, — предложил Аркадий, — давай испытаем судьбу. — И вынул из кобуры свой маузер.

Румянец с Шуркиного лица мгновенно исчез.

— Это что же — как в «Фаталисте» Лермонтова: выстрелит — не выстрелит?

— Зачем? Мы же не дураки. Вон консервная банка. Ставь ее на пень. Стреляем по три раза. Тебе я даже позволю четыре: ты же из этого маузера не стрелял. И загадаем: кому повезет в стрельбе, тому повезет и в другом...

— А если мы оба одинаково попадем?

— Тогда я вставлю новую обойму — и мы начнем сначала.

Шурка попал дважды. Правда, второй раз пуля только слегка задела банку, но Аркадий был великодушен, засчитал это за попадание и всадил тут же три пули одна в одну.

Удрученный этим обстоятельством, Шурка ушел домой, забыв попрощаться. А Голикова его победа, наоборот, сильно ободрила: он уверовал в свою счастливую звезду.

Вечером по случаю праздника в городском театре давали «Наталку-Полтавку». Ваня Персонов, известный местный поэт и большой знаток театра, достал для комсомольской организации тридцать билетов. И Аркадий попросил товарищей, чтобы на спектакле все от них с Зоей отсели: ему нужно с ней серьезно поговорить. Ребята согласились.

Погас свет, раздвинулся занавес, и Зоя с удивлением обнаружила, что в переполненном зале они с Аркадием занимают целый ряд: места справа и слева от них пусты, а Ваня

Персонов с одной стороны и Коля Кондратьев — с другой стоят в проходе с красными повязками и никого на эти места не пускают.

— Твоя работа? — шепотом спросила Зоя, кивая на пустующие стулья.

— Моя, — с вызовом ответил Аркадий, — месяц не могу с тобой поговорить.

— Знаешь, твои мальчишеские выходки мешают нашим отношениям. То ты ходишь за мной, как тень, по улицам, думая, что я не замечаю, то выставляешь меня на посмешище перед всем городом.

Она поднялась и двинулась к выходу мимо растерянного Вани Персонова, который решил, что сделал что-то не так. Аркадий поплелся за ней. Они молча оделись и вышли на морозную улицу. Здесь Зоя неожиданно успокоилась.

— Когда ты успел с ними сговориться? — уже с улыбкой спросила она.

И Голиков внезапно догадался, что Зоя нарочно притворилась обиженной, иначе было неудобно уйти, а в зале, где со всех сторон шикают, какой разговор? И ему вспомнились три его удачных выстрела днем и надежды, которые он с ними связал. И то, что они с Зоей оказались на пустынной улице, он счел за первые признаки своего начавшегося везения.

Чуть обогнав Зою и не испытывая при этом ни малейшей боли в ноге, он резко повернулся к ней и остановился, преграждая путь. Зоя тоже остановилась, глядя на него своими удивительными глазами, которые он так любил, и мягко, выжидательно улыбалась.

Луна окрашивала все вокруг в серебристо-голубое. И он видел каждую ворсинку ее бровей, выглядывавших из-под меховой шапочки, и каждую ресничку, и устремленные на него расширенные зрачки. Глядя в них, он готов был стоять на ветру и год, и два, и целую вечность.

Наверное, сама того не заметив, Зоя постучала каблучком о каблучок своих высоких зашнурованных сапожек: у нее начали замерзать ноги. Нелепо было держать ее на холоде, когда она смотрела на него такими глазами.

«Ведь это лишь самое начало, — подумал он, — ведь у меня в запасе еще сорок восемь часов. Сколько сумею, проведу их с ней. И сколько получится, буду неотрывно смотреть в эти глаза, чтобы запомнить их цвет и выражение, которое каждую минуту меняется, и каждую черточку ее лица: и линию рта, и едва приметный пушок — и увезу эти воспоминания с собой на войну».

От неуверенности не осталось и следа. Его переполняли

горячие волны радости и счастья. Чтобы у Зои не стыли на морозе ноги, он готов был сбросить шинель, укутать Зою и пронести ее до своего дома, где мама заждалась их на чашку чая. Но Аркадий побоялся, что Зоя снова упрекнет его в том, будто бы он превращает ее в посмешище. Он не стал сбрасывать шинель и отказался от намерения донести ее на руках. Он только осторожно прикоснулся ладонями к ее плечам и едва слышно произнес:

— Я люблю тебя.

И приблизил свои глаза к ее глазам, и увидел в них самого себя: широкогубого, похudevшего, с таким напряжением во взгляде, точно ему предстояло через минуту поднять в атаку свой взвод.

Маленькая Зоина ладошка в пуховой рукавчике легла ему на грудь, несильно уперлась в ворсистое сукно. И, по-женски смело ответив взглядом на его взгляд, она так же тихо произнесла:

— Я бы хотела это услышать от Шуры.

Аркадий отшатнулся, будто его с размаху ударили по лицу.

Назавтра, не добыв в законном отпуске 36 часов, переполошив друзей и доведя своим решением до слез весь дом, он уехал. Провожала его только мама.

Друзья догадались, что у Голикова произошла ссора с Зоей. Сама Зоя ничего объяснять не стала, ходила бледней обычного. Если при ней упоминали Аркадия, опускала глаза. Ей по-прежнему нравился высокий, широкоплечий Плеско, но она почему-то все чаще вспоминала Голикова.

Вскоре Шурка получил от Аркадия открытку. Аркадий передавал друзьям и знакомым привет. Просил он передать привет и Зое. И потом вспоминал ее в каждом письме. Письма эти Шурка читал в клубе вслух.

Зоя ловила себя на том, что с нетерпением ждет вестей от Аркадия. Она даже хотела просить у Шурки адрес, но постеснялась. Для нее самой и для окружающих было очевидно, что после отъезда Аркадия она сильно переменилась. Но Шурка об этой перемене Голикову не сообщил. Сама Зоя написать не решилась.

Аркадий жалел о ссоре и вспоминал Зою в письмах целый год.

Зоя — всю жизнь.

Лето 1920 года застало Голикова на Кавказском фронте. Здесь, в районе Адлера и Сочи, ему снова довелось воевать с бандами «зеленых». Голиков командовал ротой. Задания выпадали одно сложнее другого. Так, три недели вместе с ротой он держал Тубской перевал.

Еще по дороге в гору рота попала в засаду. Первым же выстрелом — метили в командира — под Голиковым убили коня. А затем началось трехнедельное сидение на перевале, где ветром сдувало палатки и невозможно было выкопать землянку, ютиться приходилось под скалами, кое-как соорудив навес. Не хватало валежника на костры — и люди замерзали; таяли запасы продовольствия. Каждый спуск в долину был связан с большим риском. «Зеленые» следили за всеми действиями роты, и Голиков предпочел резко снизить рацион, нежели посылать, теряя людей, за крупой и солью.

Лишь после того, как был получен приказ вернуться, рота снялась с места. Спуск был утомителен. Прошел дождь. Камни под сапогами скользили. Бойцы шли, держась за веревку. Голод и малая подвижность не прошли даром. Все очень быстро устали. Невероятно тяжелыми казались и винтовка, и патронташи, не говоря уже о станковом пулемете и коробках к нему.

Голиков то и дело перевешивал с плеча на плечо японский карабин, захваченный у бандитов, с собачьей цепочкой вместо ремня. Он терпеть не мог рыться в трофеях, за годы службы не поменял ни пистолет, ни шашку, а карабину обрадовался очень. Много раз в бою Голиков жалел, что у него нет винтовки. Таскать на себе мосинскую трехлинейку не хотел: велика, неудобна. Да и не к лицу командиру. А японский карабин был легок, короток и обладал замечательной точностью боя.

...Внизу, в казачьей станице, было сухо, пекло солнце. Рота получила сутки отдыха, чтобы привести себя в порядок. Голикова и бойцов ждал сытный обед, но Аркадий распорядился, чтобы после вынужденного голодания красноармейцам выдали только по котелку щей и по куску свежего хлеба. Иначе бы они замыались животами. На ужин ротный позволил съесть по котелку жидкой каши. Большинство бойцов этим распоряжением остались недовольны, однако против командира не пойдешь. Да и предлагал командир обычно дельное.

От еды, от жаркой бани красноармейцев разморило. Голиков назначил часовых, позволив остальным отоспаться и отогреться. Наверху, в горах, Аркадий мечтал о теплой избе и горячей

лежанке. А когда ему самому отвели половину чистого дома, где по утрам топилась печка, не смог заснуть. После горного воздуха и жизни на ветру в избе ему сделалось душно.

Прихватив шинель и карабин, Голиков вышел на просторный двор. За высоким забором был слышен негромкий девичий смех и мужской приглушенный голос. «Кому это не спится?» — подумал Голиков. Глаза его слипались. Шинель и карабин оттягивали руки. Усталость была так велика, что он готов был лечь посреди двора на теплую, поросшую травой землю.

Рядом стояла ротная повозка. Голиков сунул на дно ее карабин и собрался выспаться в ней сам, но вспомнил, что хозяева завезли днем свежей соломы в сарай. Доставать со дна повозки карабин было лень. Голиков потянул на себя дверь сарая, она скрипнула и открылась. Под ногами зашуршала скользкая, шелковистая солома. Он нащупал рукой, где она повыше, плюхнулся в нее, провалившись почти до пола, подоткнул за спину шинель и в тот же миг забылся.

Сон его был крепок, но чуток. Голикову вскоре показалось, что кто-то ходит по двору возле сарая. Сначала он себе во сне сказал, что это ему снится. Однако тревога не проходила. Тогда, успокаивая себя, он решил, что это вышел, верно, из дому хозяин посмотреть или напоить скотину. Шаги и шорох, которые Голиков снова услышал, были несмелы. «Деликатный человек, не хочет меня будить». Но громко стукнула калитка, и кто-то заспешил по улице. Это не мог быть хозяин.

Голиков вскочил, отбросил шинель, выхватил маузер, который висел в кобуре на поясе, и выбежал из сарая. Во дворе никого не было: утро только начиналось. В две секунды Голиков очутился у ворот — щеколда калитки была отодвинута, а он хорошо помнил, что сам ее перед сном задвигал. Об этом его попросил старик хозяин: чтобы на рассвете не ушли на улицу куры. Скорей всего, хозяин калитку не отпирал. И бежать ему было незачем.

Голиков рванул калитку, выскочил на улицу — никого. Он повернул направо и пробежал метров сто. Дорога тут была прямая, без всяких изгибов. И если бы человек продолжал бежать, он был бы виден. «Померещилось — иди и спи», — сказал себе Голиков. Он был бы рад думать, что померещилось, если бы не отодвинутый засов.

Голиков снова запер калитку, сунул в кобуру маузер, вернулся в сарай, плюхнулся в еще теплую выемку в соломе и опять крепче прежнего заснул: часа два у него еще было.

Разбудила Голикова полковая труба. Он быстро умылся,

застегнул на себе ремни, повесил сумку, в которой возил теперь тетрадку; в ней он делал записи — на память, для себя.

Прихватив из сарая шинель, Голиков машинально сунул руку в повозку, под сено, куда он спрятал карабин. Но там его не оказалось. Голиков выгреб на землю все сено. Пусто. В щель между досками карабин провалиться не мог. Помимо того, что он им дорожил, Голиков вчера по недавно введенному правилу записал карабин на себя. Дело в том, что потерянное бойцами оружие нередко находили потом у бандитов. Поэтому каждый случай пропажи винтовки или револьвера, а также патронов и гранат теперь рассматривался как серьезное происшествие. И нелепо было ему, командиру, давать показания о том, что он не уберег карабин. Но и промолчать об этом он не мог.

Тревожен был и сам факт: кому-то понадобился карабин. Этот кто-то проследил, куда он, Голиков, прячет своего «японца». И взял... Голиков снова вспомнил осторожные шаги во дворе, загадочно отпертую калитку. Конечно, это был вор. Но кто он? Вор мог и поджечь, и заколоть. А он, Голиков, в это время беззаботно спал. Что толку, что он позднее полупроснулся? Приход вора он прозевал.

После завтрака рота была построена. Голиков, которому дали нового коня, подъехал к своему комиссару Вальяжному — то был спокойный, доброжелательный человек лет тридцати. По профессии наборщик.

— Знаешь, у меня пропал карабин,— сказал Голиков комиссару и обрисовал, при каких обстоятельствах.

— Не волнуйся,— ответил Вальяжный.— Поищем вместе.

— Негде уже искать.

— Что-нибудь придумаем,— успокоил комиссар, думая о том, как выгородить парня, который по нынешним строгим временам мог попасть в неприятную историю. Вальяжный помнил, что карабин Голиков добыл в бою, в трудной и весьма рискованной ситуации.

Четвертая рота влилась в длинную колонну полка, который тронулся в путь. Со всем обозом, походными кухнями, линейками для легкораненых и выздоравливающих колонна растянулась километра на два. Примерно через час к Голикову подъехал повеселевший Вальяжный и сказал:

— Ты говорил: цепочка вместо ремня?.. Карабин на цепочке я только что видел у ординарца командира полка.

Когда была объявлена короткая остановка, Голиков и Вальяжный, пришпорив лошадей, направились в голову колонны. Мимо них проехал командир полка Молодцов. Ему,

наоборот, понадобилось что-то срочное в обозе, но ординарца Молодцова Голиков и Вальяжный застали возле полкового оркестра.

Ординарцем был парень лет двадцати двух со смелым и нагловатым лицом. Такие любят верховодить в деревенских компаниях. На парне была казачья кубанка с кожаным верхом, новое обмундирование и новые, видать, прямо от сапожника, хромовые сапоги. Отличная кожа и толстая подметка сапог особенно бросались в глаза потому, что даже у музыкантов, которые ехали верхом, обувь совершенно разваливалась, а у барабанщика подметка была примотана шпагатом.

Но главное, на плече ординарца, поблескивая вдвое сложенной цепочкой, висел японский карабин.

— Товарищ, можно вас на минуту? — позвал Голиков ординарца: ему не хотелось, чтобы разговор слышали посторонние.

Парень, безразлично пожав плечом, тронул своего коня и подъехал к командиру: он видел Голикова впервые.

— Откуда у вас карабин? — негромко спросил у него Голиков.

— А тебе какое дело? — огрызнулся ординарец.

— Не «тебе», а «вам», — осадил его Вальяжный. — Перед вами командир четвертой роты. Откуда у вас карабин?

— Выменял по случаю.

— У кого? — встрепенулся Голиков. — Сегодня ночью этот карабин пропал из моей повозки.

— А с чего ты взял, что это твой?

— Не «ты», а «вы», — теперь осадил его Голиков. — Пока я сужу по цепочке.

— А здесь все собаки на таких цепочках. Так, может, они тоже, — он с издевкой улыбнулся, — в а ш и? Карабин числится за мной.

— Отлично, — обрадовался Голиков. — Мой тоже был на меня записан. Давайте сравним номера. Мой номер 126372-й. А номер вашего?

На лице ординарца появилось глуповато-растерянное выражение: номера он не знал и скосил глаза, надеясь прочесть его, но для этого карабин нужно было снять с плеча.

— Мой — и всё, — заявил ординарец. — И нечего смотреть номер.

— Нет, все же давайте проверим, — вмешался Вальяжный. — Если здесь ошибка, мы просто перед вами извинимся.

Ординарец, сообразив, что попался, лениво, не глядя в глаза, снял оружие с плеча и протянул Вальяжному, продолжая, однако, держать за собачью цепочку.

— Повторите, Аркадий Петрович, номер,— попросил комиссар, взглянув на несколько цифр, выбитых возле затвора.— Да, все точно — 126372. Карабин этот ваш.

— Ну и что? — обозлился ординарец.— Я карабин этот выменял за маленький дамский пистолетик.

— У кого? — спросил Вальяжный.

— Не помню у кого.

— Вечером карабин был у меня в руках, а пропал рано утром, на рассвете. И вы уже не помните, с кем менялись? — прищурив глаза, спросил Голиков.

— Забыл,— ответил ординарец, перекидывая оружие через плечо. Должность порученца командира полка обеспечивала ему немалой силы защиту и ставила в особое положение даже перед комсоставом.

— Вот что, парень, я скажу тебе,— разозлился и терпеливый Вальяжный,— или ты немедленно вернешь карабин, или я пишу рапорт в особый отдел. Пусть особисты разбираются, как ты его достал и на что выменял.

У ординарца посинели губы: такого поворота он не ожидал и начал торопливо снимать карабин, но цепочка попала под пряжку ремня от сабли, и парень не мог ее высвободить.

— Больно мне нужен ваш карабин,— бормотал он, но пальцы его не слушались.

В этот момент с комиссаром полка Зубковым подъехал Молодцов.

— Почему вы, товарищи, не со своими бойцами? — обратился он к Голикову и Вальяжному.

— Сегодня ночью,— ответил Голиков,— из ротной повозки пропал мой карабин. Он записан на меня. А сейчас мы с комиссаром Вальяжным установили, что карабин находится у вашего ординарца.

— После разберемся,— торопливо ответил Молодцов.— Возвращайтесь в роту.

Ординарец, который снял, наконец, карабин, при этих словах опять торопливо повесил его на плечо.

— Хорошо,— согласился Голиков.— Только я бы хотел забрать свой карабин.

— Пусть заберет,— вмешался комиссар полка Зубков.

— Вы слышали мой приказ вернуться к роте? — повысил голос Молодцов.

— Есть вернуться к роте,— ответил Голиков.

Ему показалось странным, что комполка сделал вид, будто кража оружия — вещь, которая не стоила внимания. Но с другой стороны, что, если Молодцов хотел сначала поговорить с ординарцем?

Комроты и Вальяжный повернули коней. Краем глаза Голиков заметил, что Молодцов ожег ординарца злым взглядом — и парень сразу пришибленно сник. Похоже, ординарец влипал в подобную историю не впервой...

Вальяжный и Голиков присоединились к своим бойцам. Колонна тронулась. Молодцов, сидя на кауром породистом, до блеска отмытом жеребце, пропускал мимо себя полк. Когда с ним поравнялась четвертая рота, Молодцов небрежно, барственным голосом произнес:

— Голиков, ко мне!

Аркадий повернул коня и остановился перед командиром, его начальником штаба и полковым комиссаром.

— Голиков,— заявил Молодцов,— ставлю вам на вид, что вы не умеете себя вести.

От неожиданности Голиков вздрогнул. Он точно знал, что ничем не заслужил такого грубого замечания при всех. От обиды и гнева он покраснел. Рядом шли маршем его красноармейцы. Всего два дня назад он делил с ними тяготы сидения в горах. А сейчас они могли подумать, что бестактное замечание Молодцова справедливо или что ротный, который не робел в бою, готов снести любое оскорбление от начальства.

Сдержав себя, чтобы не вспылить, Голиков ответил:

— Товарищ командир полка, призываю вас быть вежливее.

— Кто ты такой, чтобы меня призывать? — громко, с издевкой спросил Молодцов и в бешенстве начал раскручивать казачью нагайку — короткую, толстую, со шлепком на конце. Даже на лошадином боку ее удар оставлял заметный издали след.

Молодцов продолжал раскручивать плетку, и продолговатый ее шлепок замелькал перед самым лицом ротного, создавая слабый теплый ветер. Голиков хотел отклониться, отвести лицо, но комполка принял бы это за испуг.

— Товарищ Молодцов,— твердым голосом, раздельно произнося каждое слово, повторил Голиков,— я еще раз...

— Да я тебя пристрелю,— закричал Молодцов и, выпустив рукоять плетки, которая повисла на ремешке, стал дергать крышку кобуры.

— В таком случае вы пойдете под суд! — запальчиво ответил Голиков.

С малых лет его приучали, что человек должен дорожить своим достоинством. Конечно, армия — не родительский дом, но ведь армия была уже не царская, где с достоинством подчиненных не считались...

Молодцов дергал крышку кобуры, забыв отстегнуть ремешок, и потому не мог выхватить наган.

Рука Голикова потянулась к маузеру. Одно движение — и пистолет оказался бы в его руке, а стрелять он мог не целясь. Но Голиков молча крикнул себе: «Не смей!» — и убрал руку. Ему могли простить многое, но оружия, направленного на командира, даже если это самодур, ему бы не простили никогда.

И Голиков не шелохнулся, когда Молодцов выпростал наган. Не сделал ни малейшего движения, когда увидел направленный на себя ствол и заметил, как дрогнула и начала медленно отходить назад собачка курка. Голиков знал, что курок, отойдя до известного предела назад, срывался, боек ударял в капсулю патрона. Наган потому и назывался самовзводом, что взведение курка и выстрел производились одним нажатием пальца.

— Молодцов, что вы делаете?! — закричал наконец комиссар Зубков.

Комполка ожег Зубкова таким же взглядом, что и час назад ординарца, и опустил наган.

— Командиром четвертой роты назначаю Вальяжного, — заявил Молодцов. — Голиков, вы арестованы, сдайте оружие, отправляйтесь в обоз. И благодарите бога, что я не пустил вам пулю в лоб.

Перед глазами Голикова еще маячили темное отверстие наведенного на него ствола и подрагивающая собачка взводимого курка. Но Молодцову спектакля со «смертельным номером» было мало...

Стиснув губы, чтобы не проронить ни единого звука, Голиков снял шашку, которую принял у него Зубков, а затем расстегнул ремень и стал снимать кобуру, но Молодцов резким движением забрал кобуру вместе с ремнем.

— Верните мне, пожалуйста, ремень, — попросил Голиков. Он всегда отличался отменной выправкой и чувствовал себя без пояса униженно и нелепо.

— Арестованному ремень не положен, — ответил Молодцов. — Отправляйтесь в обоз.

Голиков прыгнул с коня и в гимнастерке без пояса, на глазах всей роты, направился в хвост колонны.

Здесь тащились вереницей дымящиеся кухни, от которых пахло щами и подгоревшей кашей (ее трудно было мешать на ходу). За кухнями тянулись возы с мешками овса и муки, крытые фургоны (Голиков знал — с оружием), телеги с нераспечатанными патронными ящиками.

Аркадий брел вдоль возов с седлами, неисправными пулеметами, мимо линейек с больными, за которыми присматривал фельдшер в изрядно запачканном халате. Возчики с любо-

пытством глядели на Голикова, еще не ведая, что произошло. А он не знал, к кому обратиться, догадываясь: стоит произнести слово — и начнутся расспросы, а разговаривать он сейчас не мог.

От обиды его душили слезы. Ведь он ни в чем не виноват. Его обокрали. Он уличил вора, но вор, ухмыляясь, остался в строю, а его, боевого командира, опозорили перед всем полком, лишили должности, отобрали оружие и сослали в обоз. Все было жестоко и бессмысленно.

«Хотя так ли это бессмысленно? — подумалось ему.— Молодцов затеял скандал на глазах сотен людей. Для чего?.. Видимо, для того, чтобы отвлечь внимание от проступка своего ординарца... Почему же Молодцов не захотел наказать ординарца?»

— Эй, хлопец, подь сюда! — позвал его высокий мужик с загорелым лицом, на котором особенно выделялся крупный нос.— Давай забирайся, поедем вместе.

Голиков кивнул, легко подсел на движущуюся повозку, улегся на мешках лицом вниз и закрыл глаза. Жгло солнце. Покачивалась повозка. Не было ни мыслей, ни желаний, ни чувств. Только глубоко внутри маленькой вспыхивающей искоркой теплилась какая-то жизнь.

— Послушай, хлопец,— услышал он опять голос возчика и почувствовал, что большая теплая рука ложится ему на затылок.— Давай поешь, я вот щец принес.

Если Аркадий чего-то и хотел, то лишь одного — чтобы все оставили его в покое. Но в голосе возчика было столько доброты и участия, что Голиков сел, провел рукой по лицу, огляделся. Обоз стоял. Возчик протягивал ему котелок, деревянную обкусанную ложку и толстый, от целого каравая отрезанный кусок хлеба.

Запахло шами и мясом. Голиков почувствовал, что голоден,— из-за карабина он даже не завтракал. И съел полный котелок. Щи были наваристые, густые — у обозников с поварами были свои отношения,— но от каши отказался: уже был сыт.

— Я и поясок тебе раздобыл,— сказал возчик.— А то ходить тебе так некрасиво.— И протянул потертый солдатский ремень.

Аркадий соскочил с повозки, застегнул на себе пояс, разгладил складки гимнастерки и снова ощутил себя не арес-гантом, а бойцом.

— Как вас зовут? — спросил Голиков возчика.— Василий Мефодиевич? Спасибо вам, Василий Мефодиевич.

Ночевать остановились в селе. Когда Аркадий снимал с

лошади хомут, у телег осадил легкого жеребца всадник в кубанке и новых надраенных сапогах.

— Эй, станичники! — зычно крикнул он. — Голикова, бывшего ротного, не видели?..

— Что нужно?! — резко обернулся Аркадий. Он узнал ординарца, который украл карабин.

Ординарец ответил с усмешкой:

— Если вы не очень заняты, комполка просит вас пожаловать к нему.

Молодцов опять что-то затевал. Что?!

Голиков был озадачен и хотел собраться с мыслями.

— Я скоро буду.

— Мне велено вас доставить. — И ординарец, продолжая улыбаться, вынул из кобуры громадный смит-вессон.

Со всех сторон подошли обозники. Утреннее происшествие в полку было уже известно всем. И в порученце люди без труда узнали похитителя карабина. Однако держался ординарец так, словно олицетворял высшую справедливость.

— А ну, ворюга, спрячь револьвер, а то ссажу! — крикнул Василий Мефодиевич. В руках он держал винтовку с прикинутым штыком.

Ординарец от неожиданности вздрогнул, помедлил, сунул револьвер в кобуру и шепотом пригрозил обознику:

— Ты мне за это еще ответишь! — И Голикову: — Готов, что ли?..

В сопровождении ординарца, который ехал верхом, уже не осмеливаясь вынуть револьвер, Голиков опять прошел вдоль обоза, и не было шорника, повара, оружейника, конюха, фельдшера, кузнеца, ветеринара, который бы не оторвался на минуту от своего дела и не поглядел бы сочувственно в лицо Аркадия или ему вслед.

Аркадий шагал, стиснув челюсти, но не опуская головы, и только старался не встречаться с людьми глазами, чтобы, упаси бог, не размякнуть.

Комполка ужинал. Подавала еду красивая молодуха. Голикову было велено обождать в сенях. Около часа просидел он на лавке возле ведер с чистой колодезной водой. Тут же стояла открытая кадушка с малосольными огурцами. От нее пахло укропом, чесноком, черной смородиной и еще какими-то специями, которые составляют секрет каждой хозяйки.

Наконец та же молодуха пригласила войти в горницу. Комполка сидел за чисто прибранным столом, на котором белел лист бумаги с машинописным текстом. Буква «о» на машинке была только прописной. И слова «рОта», «пОлк», «чтО» гляделись непривычно. Особенно фамилия «МОлОдцОв».

— По вашему приказанию прибыл,— коротко доложил Голиков.

Молодцов кивнул, не предложил сесть, но заговорил спокойно.

— Давайте поладим миром,— предложил он.— Я погорячился, но и вам нервы нужно держать при себе.

— Что вы называете «поладим миром»?

— Получите свой карабин. Нашли из-за чего спорить.

— И это всё?!

— Вот здесь вы еще поставите свою подпись — и отправляйтесь к себе в роту.

«Неужели через минуту кошмар этот кончится?» — не смея еще поверить, спросил себя Голиков. А вслух произнес:

— Что за бумага?

— Да ерунда. Что вы извиняетесь за грубость.— И Молодцов положил поверх листа огрызок карандаша.

Оставалось только черкнуть этим огрызком — и все становилось на место: он получал обратно карабин и свой маузер, с которым не расставался уже третий год, и свою роту, которая заменила ему на войне семью.

Но Голиков вспомнил мелькание раскрученной нагайки перед глазами и теплый ветерок от нее на своем лице. Эти мгновения были унижительнее и страшнее тех, когда комполка целился ему из нагана в лоб.

Аркадий молча отодвинул карандаш. Молодое, но обрюзгшее лицо комполка из наигранно-добродушного стало ненавидяще-злым.

— Послушай, Голиков, судьба твоя на волоске. Либо мы с тобой сию минуту поладим миром, либо тебя отправят в «штаб Духонина» за отказ повиноваться командиру и хулиганские действия в боевых условиях.

— Лучше пусть меня расстреляют,— внезапно осипшим голосом ответил Голиков,— но извиняться перед вами не стану.

Он сам, без конвоя, вернулся в обоз. Никому ничего не сказал и улегся на повозке вниз лицом. «Пропал... пропал... пропал», — стучало в мозгу.

Часа два спустя, когда на смену новому потрясению пришли утомление и полубезразличие, Аркадий вяло подумал: «Ничего. Напишу в штаб бригады. Там разберутся... Но если туда поступит бумага Молодцова, то, скорей всего, поверят ему... Тогда я напишу в штаб армии или даже фронта,— воодушевился он. Однако через минуту сник.— Штаб армии запросит бригаду, получит бумагу того же Молодцова, и мой шаг обернется против меня. Что же делать? Бежать, пока не

посадили под замок? Нет, дезертиром я не стану. Куда бы меня ни вызвали, я все расскажу, как было. Лишь бы не сделать чего-нибудь нелепого, за что потом будет стыдно».

Утром на двуколке приехал человек лет сорока в отглаженном, тесноватом френче — то ли следователь трибунала, то ли сотрудник особого отдела. Ни осуждения, ни сочувствия не было на его лице. Тонко очиненным карандашом он записал показания Голикова, дал расписаться, влез на повозку и укатил.

На другой день Голикова вызвал к себе комбриг. Это был седеющий, в мешковатом френче, среднего роста человек с нездоровым и раздраженным лицом. Он встретил Аркадия стоя вполоборота возле приоткрытого окна.

— Командир 4-й роты 303-го полка по вашему приказанию явился, — отрапортовал Голиков и опустил руку.

Комбриг, не меняя позы, окинул его тяжелым взглядом. У ротного чувствовалась школа: отличная осанка, свежий подворотничок, изношенные сапоги начищены. На русой голове чуть набок надета папаха. Впечатление портил только обшарпанный ремень, который перетягивал гимнастерку. Бригадный командир всмотрелся в лицо. Оно было мальчишеским, загорелым, осунувшимся. Уши по-детски оттопыривались, глаза лихо-радочно блестели. Однако глядели уверенно и с достоинством, лишь напряжение в зрачках выдавало скрытое волнение.

Эта уверенность в себе не понравилась комбригу. У него сложилось собственное мнение о случившемся и виновнике, то есть о бывшем ротном. И то, что Голиков, представляясь, назвал себя командиром, а не бывшим командиром четвертой роты, то, что он не проявлял ни малейших признаков раскаяния, оборачивалось сейчас против него.

— Садитесь. — Комбриг показал на стул возле письменного стола и сел сам. — Вы бы могли коротко объяснить, за что вас отстранили от командования ротой?

— Нет.

— Игра в обиженную овечку вам ничего хорошего не принесет.

— Я ответил на ваш вопрос.

— Молодцов в своем рапорте доложил, что вы затеяли недостойный скандал в присутствии всего полка, который двигался в походной колонне. Когда же он попытался урезонить вас, вы позволили себе оскорбительные выражения и даже угрожали оружием. Мы на фронте. Молодцов требует передать ваше дело в трибунал. Что вы мне ответите?

— Молодцов... одним словом... это неправда.

— Голиков, вы снова, уже в моем присутствии, позволяете

себе оскорбительное высказывание в адрес своего командира.

— Товарищ комбриг, я готов повторить: комполка Молодцов доложил вам неправду.

— А вы разве не угрожали Молодцову в присутствии всего полка, что он пойдет под суд? И не выхватили при этом пистолет, который у вас отобрали силой?..

— Я даже не прикоснулся к маузеру, товарищ комбриг. Маузер при аресте я передал в застегнутой кобуре. А шашку в ножнах. Что касается того, что я будто бы угрожал,— я только предупредил Молодцова, что он пойдет под суд, если застрелит меня, потому что Молодцов стал целиться из нагана мне в лоб.

— В рапорте Молодцова этого нет.

— Мои слова могут подтвердить комиссар полка Зубков и комиссар моей роты Вальяжный.

— Вальяжный, который назначен на ваше место, выполняет вместе с ротой важное задание, а Зубков срочно отбыл.. У него открылась рана.

— Товарищ комбриг, вам не кажется странным, что оба комиссара, главные свидетели по моему делу, оказались за короткий срок далеко от штаба бригады?.. Но ведь есть и другие свидетели..

— Хватит! — прервал его комбриг.— Вы действительно слишком заносчивы. Пока дело не получило дальнейшей огласки, предлагаю вам принести извинения Молодцову. А я позабочусь, чтобы он их принял.

— Извиняться я не стану.

— Трибунал будет с вами разговаривать иначе.

— Если я пойду с повинной к Молодцову, я не смогу взглянуть в глаза своим бойцам.

— Воля ваша. Вы свободны.

Голиков шел, не чувствуя земли под ногами. На разговор с комбригом, человеком, по общему мнению, смелым, умным и справедливым, он возлагал свои главные надежды. Но разговора не получилось. Или у комбрига не хватило времени, чтобы вникнуть, либо он слишком верил Молодцову.

Еще не поздно было вернуться и сказать: «Товарищ комбриг, я согласен». Но Голиков вспомнил ухмылку ординарца, когда тот неторопливо вешал на плечо карабин, вспомнил пустые, жестокие, ненавидящие глаза Молодцова. Увидел себя перед командиром полка уже с повинной головой и представил, что скажет ему Молодцов, одержав над ним победу и сознавая свою полную безнаказанность — отныне и впредь.

«Нет, лучше трибунал,— решил Голиков.— Я попрошу вызвать свидетелей.. Если, конечно, у трибунала будет на это

время,— охладил он свой пыл.— И если свидетелей не ушлют еще дальше».

Потянулись тягостные дни. Чтобы не сойти с ума от неостановимого потока мыслей и мрачных картин, которые возникали в его воображении, Аркадий вызвался помогать поварам. Он колот дрова, носил по сорок — пятьдесят ведер воды в день, таскал мешки с крупой и мукой, чистил картошку, водил на речку коней — поил, мыл и тер их скребком.

Он еще никогда не чувствовал себя таким одиноким. После гибели Яшки Оксюза обзавестись друзьями здесь, в армии, он просто не успевал: каждые полтора-два месяца новое назначение. Хороший человек Вальяжный, но вот их тоже разлучили.

Вечером в доме, где он жил с обозниками, Аркадий сел к столу, придвинул к себе коптилку, вынул из сумки, которую не отобрал Молодцов, бумагу и карандаш. Ему захотелось написать все подробно Шурке.

Думая о Шурке Плеско, он невольно вспоминал Зою. И ее слова: «Я бы хотела это услышать от Шуры». Но Шурка тут ни капли не был виноват. И хотя счастье, как думал Аркадий, улыбнулось Шурке, друг не стал от этого хуже. Или менее близок. И Аркадий написал Шурке, что находится под арестом, что у него была возможность избежать следствия ценою унижения, но он не согласился, и теперь его судьбу решит трибунал.

Когда Голиков сложил листки, то почувствовал, что на душе стало легче, будто поговорил с Шуркой, а через несколько минут понял, что отсылать письмо нельзя. Шурка не сумеет сохранить его в тайне. Узнает мама. В доме начнется переполох. Аркадий разорвал письмо и написал другое, в привычно четкой и бодрой манере:

«Я живу по-волчьи. Командую ротой, деремся с бандитами вовсю...»* Хотел добавить, что и бандиты встречаются разные... Но философский поворот показался бы в Арзамасе странным. И Голиков только добавил, что вспоминает их всех, шлет привет. В том числе Зойке.

Заклеив конверт, загрустил еще больше. В душе оставалась невысказанность. И он написал сестре.

«Как-то поживает моя Талочка? Отчего это она не напишет мне хотя бы несколько строчек?.. Я нахожусь сейчас на Кубани, на внутренних фронтах против белых... Хорошо здесь: и реки, и заросли, и ручейки — а чего-то не хватает: не хватает сознания, что обо мне кто-либо когда вспомнит и напишет теплое и хорошее письмо...

Я сильно втянулся в обстановку фронта и еще долго-долго

не увижу никого. Скучать здесь некогда, но, занятые разрушением во имя строительства, мы иногда между делом находим минутку поделиться с товарищами о себе, о «своих» или известиями, пришедшими из дома, и только двое-трое есть таких, вроде меня, до которых никому нет дела.

Пока прощай... Тебя крепко целую, только пиши про всех. Голиков»*.

...Соединение участвовало в боях, четвертая рота — тоже, а бывший ротный оставался в обозе. Порою Аркадию казалось: о нем забыли и он останется в обозе навсегда, то есть до полной победы мировой революции. Он поделился этими мыслями с Василием Мефодиевичем, спросив совета, не подать ли рапорт.

— Начальство все помнит,— ответил старый солдат (он воевал еще в русско-японскую).— Отдыхай.

Но Аркадий, напротив, старался устать. Он изматывал себя физической работой, помогая уже кузнецам, коновалам и плотникам. Однако, что бы ни делали руки, голова думала о своем. Когда же становилось совсем неважно, Аркадий вынимал из мешка синенький, изрядно истрепавшийся томик Гоголя, взятый из дому. И хотя помнил в этой книге все от первой до последней строки, принимался читать.

Открывал он чаще всего «Тараса Бульбу». Сцены мужества Остапа и самого Тараса наполняли Аркадия стойкостью и силой. В который раз дочитав повесть, стерев ладонью слезу, он ощущал, что готов сражаться за свою жизнь и свое достоинство.

Как-то днем, раздетый до пояса, перемазанный сажей, Голиков топил сразу две походные кухни. Дрова попались полусырые. Время близилось к обеду, а котлы не собирались кипеть. В эту неподходящую минуту возле кухонь осадил резвого коня незнакомый боец в фуражке со спущенным на подбородок ремешком, с австрийским карабином за спиной.

— Мне нужен... Голиков,— прочитал гонец на бумажке.— Где он тут будет?

Когда Аркадий услышал свою фамилию, внутри что-то оборвалось. Он с трудом распрямился и глянул на гонца, желая понять, с какими вестями тот к нему послан, но по загорелому лицу парня ничего нельзя было угадать.

— Это я Голиков.

— Ты? — усомнился посыльный.— Тебя вызывает командир бригады.

— Зачем? — не выдержал Аркадий.

— Там узнаешь.

— Мы поедem вместе?

— Вместе. И поскорей.

— Я буду готов через двадцать минут.

Посыльный недовольно поморщился, но ему предложили пообедать, и он перестал торопиться. А пока что все, кто был рядом — повара, оружейники, возчики, кузнецы, — кинулись снаряжать Аркадия. Один вынул из мешка припрятанный кусок мыла, другой — чистое полотенце, третий — новую гимнастерку, четвертый — лакированный офицерский ремень, пятый побежал за водой к колодцу.

Аркадий не успел ничего сказать, как его побрили, потом окатили из двух ведер ледяной водой, обтерли, натянули на него гимнастерку и чьи-то галифе, усадили на телегу, обули в начищенные сапоги, звякнув пряжкой, застегнули пояс и причесали мокрые после мытья волосы. Полковой парикмахер, прищуря глаз, надел ему чуть набок кубанку. И затем все придирчиво поглядели на дело своих рук.

— Кажись, ничего, — порешили обозники. — Можно отправлять.

— Спасибо, братцы, — растроганно сказал Голиков. — Простите, если что было не так и если не сумею это все возратить.

— Золотой ты парень. Бог тебе должен помочь... — заговорили обозники.

— Мы ждем тебя, Аркаша, — оборвал их всех добрейший Василий Мефодиевич и обнял его.

Голикову подвели оседланного коня, возившего походную кухню. Аркадий легко вскочил, едва приметно повел, прощаясь, рукой, тронул поводья и стал догонять посыльного, который уже нервничал.

По дороге Голиков строил разные предположения, что означает вызов, и поглядывал искоса на парня: сопровождает или конвоирует? Но по лицу его и теперь ничего нельзя было прочесть. Обозники и повара подкатывались к парню за обедом, однако и после двух мисок картофельного супа с мясом он не стал словоохотливее. Скорее всего, просто ничего не знал.

Штаб бригады располагался в том же здании, что и три недели назад. Гонец передал Аркадия дежурному по штабу, кивнул и ускакал. Дежурный, человек лет тридцати пяти, с отличной выправкой, перетянутый множеством ремней, провел Аркадия в кабинет комбрига, козырнул и исчез.

Комбриг принял Голикова стоя возле того же приоткрытого окна, словно между первым и вторым вызовом миновало не более получаса. Только теперь Аркадий заметил, что комбриг тяжело дышит и не меняет позы потому, что в лицо ему дует струя теплого свежего воздуха. «Наверное, астма», — пришло на ум Голикову.

Он щелкнул каблуками, поднес руку к шапке, готовясь рапортовать. Комбриг поморщился, сделав знак, что это не нужно, и негромко произнес:

— Садитесь.

Без стука появился давешний дежурный и молча положил на стол несколько телеграфных бланков.

«Шифровка»,— догадался Аркадий.

Комбриг нехотя отошел от окошка, приблизился к столу, надел очки и стал читать, отмечая карандашом отдельные строчки.

Аркадий сидел на краешке стула, чтобы в любой момент встать. Все его тело напряглось. Он не ожидал ничего хорошего и готовился к тому, чтобы не сказать лишнего и не уронить себя, какую бы весть он ни услышал.

Комбриг дочитал, расписался и вернул телеграммы дежурному.

— Я пригласил вас...— сказал командир бригады и остановился перевести дыхание. Его легкие издавали тонкий свист.— Чтобы ознакомить с одним документом.— Он подал листок, который лежал возле письменного прибора.

Аркадий стремительно поднялся. В голове пронеслось: «Разжалование? Постановление о передаче дела в трибунал?.. Или уже приговор?.. Нет, приговор бывает только после суда. А в суд меня не вызывали». Однако, пробежав первые строчки документа, Голиков протянул его обратно.

— Вы, наверное, ошиблись. Это не та бумага.

— Отчего вы так думаете? — неожиданно усмехнулся комбриг. С его лица исчезла маска безразличия, которую, видимо, накладывала болезнь. Глаза глянули молодо и весело.

— Здесь написано: «Командиру 303-го стрелкового полка тов. Молодцову».

— Да, верно. Читайте вслух.

— «Предписываю с получением сего сдать вверенный вам полк тов. Вялову, а самому прибыть в штаб бригады»*,— прочитал Голиков.

— Я отстранил Молодцова от командования полком за хулиганство, которое он учинил с вами...

— Я хотел, чтобы вы просто разобрались.

— Я разобрался. Молодцов пытался выгородить вора, ошельмовав вас. Но главное даже не это. Все, в чем меня уверял Молодцов, оказалось клеветой. Все, что говорили вы, оказалось правдой. Я благодарю вас за мужество и достоинство, с которым вы держались. Ординарец арестован и пойдет под суд. Дело Молодцова будут разбирать другие инстанции. Меня прошу извинить за прошлый разговор.

Аркадий не знал, что ответить, не находил слов.

— Возвращайтесь к себе в роту,— сказал комбриг.

— Благодарю, но не могу...— с трудом выдавил Голиков.

— Почему?

— Скандал произошел на глазах моих бойцов.

— Справедливо. Я вас переведу в другой полк.

Аркадий не помнил, как вышел от комбрига. Здесь в его сознании был полный провал. И не помнил, как вернулся в обоз, но, когда он очутился среди своих, у него начался припадок. Лежа на возу, он стал вдруг метаться и что-то кричать, не разжимая челюстей. Его долго окатывали холодной водой, а потом силой, сквозь стиснутые зубы влили в рот что-то обжигающее. С непривычки его тут же сморило.

...Эти три недели Голиков готовил себя к худшему, потому что до последней минуты угрозы Молодцова постепенно сбивались. Аркадий написал и прощальные письма — отцу, матери, сестрам и тете Даше. Не забыл и Шурку. Письма были сдержанные, полные любви и нежности к каждому. Он писал, что ни в чем не виноват, по-прежнему верит в светлое царство социализма и «желает скорейшей ликвидации всей сволочи».

Четыре конверта лежали в вещевом мешке, Василий Мефодиевич обещал их отослать, если бы это случилось.

Письма Аркадий долго потом возил с собой, не решаясь их разорвать или сжечь, пока они не пропали. Жалко — вместе с мешком.

ШКОЛА «ВЫСТРЕЛ»

Аркадий не успел обосноваться на новом месте, в 302-м полку, где ему дали хорошую роту,— из Москвы поступил приказ: «Направить А. П. Голикова учиться в Высшую стрелковую школу». Сокращенно ее называли «Выстрел».

Находилась школа в пригороде Москвы, в Кускове. Руководил ею бывший генерал Николай Михайлович Филатов, выдающийся специалист стрелкового дела. По его книге «Об основаниях стрельбы из винтовок и пулеметов» учились несколько поколений русских офицеров. В Филатове поражало удивительное сходство со Львом Толстым: огромный рост, пушистая расчесанная борода, молодые, пронизывающие глаза, мудрая, приветливая улыбка. Обучение в «Выстреле» было поставлено с неторопливой обстоятельностью, будто фронт не ждал и не требовал все новых выпускников.

Здесь Голиков понял, что даже строевая подготовка — это

целая наука, имеющая множество скрытых тонкостей. Преподаватель Рыжковский, например, объяснял: «Когда командир идет в роту, она должна быть уже построена. Командир обязан издали определить, как выглядит строй. И если он заметил: что-то не в порядке, — ему следует остановиться на полпути, расправить на себе гимнастерку, потуже затянуть ремень, ни на минуту при этом не спуская глаз со своих бойцов. И те, у кого небрежный вид, тут же приведут себя в порядок»*.

Аркадия зачислили на отделение командиров рот, куда принимали обнаруживших способности рядовых, в лучшем случае взводных. Однако на первых же занятиях выяснилось, что Голиков мгновенно, быстрее всех решает задачи по тактике. Обладая завидной памятью, он на занятиях самого Филатова цитировал целые страницы учебника «Об основаниях стрельбы», который изучал еще в Киеве. На даровитого слушателя обратили внимание. И через месяц состоялось решение о переводе Аркадия на отделение командиров батальонов.

Но и здесь повторилось то же самое. Он не только легко постигал и запоминал теорию (что давалось далеко не всем, подготовка у многих была слабая), но и приводил подтверждающие теорию случаи из своего боевого опыта. На занятиях по тактике он ссылаясь на примеры удачных и ошибочных решений под Киевом и Лепелем, точно указывая, что давало правильное решение и какой урон причиняли ошибки. В этих разборах не щадил и себя: он не отвечал урок — он готовился к будущим сражениям и пользовался редкой возможностью осмыслить бывшие ситуации в присутствии боевых командиров, взглянуть на недавнее прошлое их глазами.

И опять заседала мандатная комиссия. Шестнадцатилетний Аркадий Голиков был снова переведен, теперь уже на тактическое отделение, которое готовило командиров полков.

В январе 1921 года шли занятия на местности. Отрабатывалась операция по штурму сильно укрепленной позиции. Укреплением служила немалых размеров снежная крепость, сооруженная в чистом поле. Голикову поручили командовать наступающими. Он повел свое войско после условной артподготовки цепью, в лоб. Однако условный ответный огонь обороняющихся оказался очень сильным, и Голиков приказал отступать.

Поражение Аркадия и его батальона было столь очевидным, что обороняющиеся предприняли контратаку. В этот момент с тыла на крепость обрушилась вторая часть отряда Голикова. В балахонах из простыней, взятых с постелей, бойцы незаметно подобралась по глубокому снегу и решительным броском овладели крепостью.

При том, что это была игра, победа произвела внушительное впечатление. На учениях присутствовал заведующий военным отделом ЦК партии Александр Константинович Александров, грузноватый человек с энергичным умным лицом. После разбора занятий он подозвал к себе Голикова.

— Вы из офицерской семьи? — спросил Александров.

— Мой отец учитель. Правда, воюет с четырнадцатого.

— Но вы с детства увлекались военным делом?

— Играл в войну, как все мальчишки. Предпочитал «морские» бои на прудах.

— Откуда же у вас такой профессионализм?

— Третий год на войне.

Через неделю Аркадия пригласил к себе Филатов и предложил расписаться в получении важного пакета. Голиков надорвал конверт. В нем лежала бумага:

«Голиков Аркадий Петрович (комбат), окончивший «Выстрел», командировается в распоряжение Центрального Комитета РКП»*.

— Но ведь я еще не закончил, — удивился Голиков, показывая бумагу Филатову.

— Уже подписан приказ о вашем досрочном выпуске. Остальное вам объяснит товарищ Александров.

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ КОМПОЛКА

Голиков стоял на площадке вагона. Ехал он к месту новой службы по личному приказу товарища Александрова, назначенного командующим Орловским военным округом. Кроме Орловской губернии, в округ входили Тамбовская, Курская и Воронежская. Назначение было ответственным, и людей для работы Александров отбирал себе сам. В литерном поезде вместе с командующим ехало пятьдесят выпускников «Выстрела».

Хотя Голиков закончил тактическое отделение, где готовили командиров полков, его выпустили комбатом. Мандатную комиссию в последнюю минуту смутило, что человеку всего две недели назад исполнилось семнадцать лет, а совсем недавно он был лишь ротным. И сразу полк?! Не закружится ли у мальчишки голова? Не наломает ли он дров?

Голикова решение мандатной комиссии обрадовало. В полковые командиры он пока что не рвался.

В Воронеже Аркадий получил резервный батальон и был

доволен тем, что побудет недолгое время в тылу, освоится с новой должностью. И он трудолюбиво осваивался с нею... четыре дня. На пятый его пригласил к себе Александров.

— Как ваши дела? — буднично спросил командующий.

Он опустился на обитый голубым бархатом диван (командующий по-прежнему жил в вагоне) и жестом пригласил Голикова сесть рядом.

— Батальон хороший, — быстро заговорил Аркадий. — Интересные люди. Большая умница начальник штаба... И пока не забыл: очень нужна еще одна походная кухня.

— Кухню поищем, а вам я хочу дать другое назначение.

— На передовую?!

— Нет.

— Тогда позвольте остаться в батальоне. Я уж к нему привык.

— На Тамбовщине, как вы знаете, Антонов поднял мятеж. Вчера поступили сведения, что мятеж в поддержку Антонова готовился и у нас в Воронеже. В нем были замешаны многие командиры 23-го полка. Нужна срочная замена. Я хотел бы вас послать в этот полк.

— Александр Константинович, я готов. Но стоит ли менять батальон резервной дивизии на батальон 23-го полка? Может, я все же останусь? Очень симпатичный народ.

— Я не собираюсь предлагать вам батальон. Я хочу дать вам полк.

— Но я командовал только ротой. И четыре дня — батальоном.

— Я тоже впервые команду округом.

В плохо натопленном вагоне — Александров любил прохладу — Голикову сделалось жарко. Казалось, судьба, которую на картинках изображали в виде обаятельной женщины с крылышками, несла его в самое пекло.

— А полк большой?

— Не особенно. Четыре тысячи штыков. Без малого.

— И арестованы все командиры?

— К счастью, не все. Есть отличные люди, преданные революции. Но я бы не хотел рисковать и выдвигать кого-либо из них.

— Я могу подумать?

— Конечно. Только приказ уже подписан.

Голиков выпрыгнул из вагона на оледеневший снег, поскользнулся, но удержался на ногах, вызвав улыбку часового. Мысли в голове новоиспеченного полкового командира мешались.

Два с половиной года назад Голиков так же выпрыгнул из штабного вагона, чувствуя себя безмерно несчастным: несмотря на старания Пашки Цыганка, его не взяли на фронт. Для него в тот день это было катастрофой. И вот, ему казалось, опять все рушится.

Утром он должен был принять 23-й полк, где нужно назначить новых ротных, взводных и батальонных командиров. А он ни одного человека не знал. Как быть? С чего начать? Что сказать завтра бойцам, когда он их увидит?

Закончив к ночи дела в батальоне, Голиков вернулся в литерный поезд. Купе, в котором он прибыл в Воронеж, оставалось свободным. Голиков повесил шинель, зажег керосиновую лампу и вспомнил, что с утра ничего не ел. В чемодане и сумке не нашлось даже крошек от сухаря. Голиков выглянул в коридор и спросил красноармейца из охраны:

— Нет ли кипятку?

— Может, вы есть хотите? — догадался боец.

Он принес литровую жестяную кружку с кипятком — такими молочницы отмеряли молоко — и четверть буханки свежего, чуть примятого хлеба. Голиков поблагодарил, съел весь хлеб и выпил весь кипяток. Сразу исчезло чувство слабости, которое порой возникало из-за недоедания, но душевного спокойствия хлеб и кипяток ему не вернули. Поговорить о случившемся, посоветоваться опять было не с кем.

Приятели, которые вместе с Голиковым приехали в Воронеж, получили свои назначения. И найти кого-либо из них сейчас в полутемном городе было нереально. Не считая часового, в вагоне Аркадий находился один. И он снова вспомнил об отце, который частенько рассказывал, как ушел из дома, чтобы учиться, бедствовал, почти нищенствовал, голодал, перебиваясь малыми и редкими заработками. Нечего было носить, но больше всего он страдал от одиночества. И если возникали ситуации, когда хотелось поговорить и было не с кем, он садился за дневник и все записывал. На душе становилось легче, и нередко в голову приходили дельные решения и мысли.

Писать для самого себя Аркадий не захотел, а случай был такой, когда он мог рассказать о себе все без утайки, не опасаясь напугать или переполошить близких.

«Пишу тебе из Воронежа, — сообщал он отцу, — с Юго-Восточного вокзала, на запасном пути которого стоит наш вагон. Я недолго пробыл здесь, но у меня произошло уже довольно много перемен по службе... сейчас сижу и размышляю над той работой, которая предстоит с завтрашнего дня мне, вступающему в командование 23-м запасным полком, насчитывающим

около 4-х тысяч штыков. Работа большая и трудная... во всяком случае, при первой же возможности постараюсь взять немного ниже — помкомполка или полк полевой стрелковой дивизии не такого количества и организации, да и не люблю я, по правде сказать, оставаться в запасе...

Письма пиши по адресу: Воронеж, 2-я бригада, 23-й запасной полк, командиру — мне. Прощай и будь бодр.

А. Голиков»*.

Запечатав письмо, решил сразу лечь спать, чтобы утром подняться со свежей головой, но, как только он задул лампу и вытянулся на мягком диване, в голову полезла всякая чертовщина.

Ему привиделось, что в темноте, перешагивая через рельсы, пролезая между колес теплушек, к его вагону приближаются фигуры в офицерских, тонкого сукна шинелях, но без погон. При скудном свете желтых станционных фонарей, в полумраке мелькнет то заросшая щетиной щека, то злой, сосредоточенный глаз, то хищный охотничий оскал. И Голиков видел, что вся эта полуразбойничья ватага приближается к его вагону, потому что — так ему снилось — он не лежал у себя в купе, а стоял на площадке у распахнутой двери. Он ее дергал, но она почему-то была привинчена к стене и не закрывалась. А дежурный красноармеец, который приносил хлеб и кипяток, конечно, знал, как ее отвинтить, стоял рядом, нарочно не помогал и смеялся, пока вся ватага не собралась возле площадки, наведя на него, Аркадия, браунинги, маузеры, винтовки со штыками и даже один ручной пулемет.

...Голиков вскочил и долго сидел в темноте, медленно с облегчением осозная, что все это ему только приснилось. На всякий случай он вышел в тамбур. Двери были плотно закрыты, а боец, подремывая, сидел, обняв винтовку, на табуретке. Услышав шаги, он мгновенно вскочил:

— Товарищ командир, вам что-нибудь надо?

— Благодарю, просто захотелось подышать свежим воздухом.

Щелкнув ключом, боец открыл тяжелую дверь. На соседнем пути стоял товарный. Смазчики с двухцветными керосиновыми фонарями обстукивали и подливали масло в буксы. Аркадий вспомнил, как смазчик прогнал его с площадки товарного вагона у станции Кудьма. Это было шесть лет назад. Какой он тогда был маленький...

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОМАНДИРА ПОЛКА

С Юго-Восточного вокзала в казармы 23-го полка Аркадий шел пешком. У него оставалось больше часа, чтобы еще раз обдумать ситуацию.

«Я иду принимать полк,— говорил он себе,— в котором едва не случилась катастрофа. На кого я смогу опереться? Пока еще не знаю. Следовательно, для начала ни на кого... Правда, Александров сказал: «Комиссар Берзин — надежный человек. Это он обнаружил в последнюю минуту...» Возможно, что человек он отличный. Но если в полку существовал заговор, а Берзин узнал об этом в последнюю минуту, значит, и на него я целиком положиться не смогу. Буду вникать во все сам. Авось разберусь».

В семь тридцать возле кирпичного здания штаба полка Голикова ждали трое: высокий, худой человек, в кожу которого, казалось, навсегда впиталась копоть,— комиссар полка Берзин, из металлистов; вторым был среднего роста толстячок с всеселыми настороженными глазками — начхоз Шепилов; третий — человек в суконной кепке, в очках с железной оправой, переносица которых для прочности была обмотана ниткой,— начальник особого отдела Гопонюк.

— Голиков Аркадий Петрович,— отрекомендовался новый командир полка, беря под козырек, а затем пожимая всем руки.

— Полк уже построен,— доложил комиссар.— Красноармейцы нервничают. Многие говорят: «Теперь нас всех начнут шерстить...»

— Я все понял,— прервал его Голиков. Ничего обсуждать он не хотел: нужно было сначала увидеть полк.

И он его увидел: на плацу Голикова ожидало более трех тысяч человек (остальные несли караульную и иную службу, многие болели). Комиссар скомандовал:

— Полк, смирно!

И Голиков обошел строй. Он внимательно вглядывался и в приветливые, и в потухающие, и в бодрые, и в недобрые, и в хитроватые лица красноармейцев. Читал он в глазах и откровенное удивление: из всех присутствовавших на плацу Голиков был самым молодым. Комполка подметил, что бойцы одеты и в новые, и в выдавшие виды шинели. У многих было плохо с обувью. Комиссар Берзин подал знак, и четверо бойцов вручную подкатили тачанку, которая должна была заменить трибуну. Берзин вскочил на подножку.

— Слово предоставляется командиру полка товарищу Голикову.

Строй замер. Аркадий поднялся на облучок, стоять на котором было неудобно, потому что четверть шага — и полейтишь вниз. Но Голиков хотел, чтобы его не только видели, но и слышали.

— Товарищи! — громко и внятно произнес он. — Я принимаю 23-й полк в трудное время. Вас хотели бросить на помощь левоэсеру Антонову. Не знаю, если бы это удалось, что бы это изменило в судьбе Антонова. А в вашей судьбе это изменило бы все. Вам была уготована жизнь в лесу — без всякой надежды из леса выйти. Вам была уготована трагическая судьба. И я благодарен всем, кто помешал этому случиться, кто в трудную минуту остался верен революции. Не сомневаюсь, что каждый из вас еще многое сделает для окончательной победы над контрреволюцией!

Раздалось громкое недружное «ура!». По лицам было видно, что бойцы выступлением командира довольны.

Голиков отпустил полк, распорядился, чтобы обед был приготовлен получше, и сказал, что хочет осмотреть свой рабочий кабинет. Аркадия Петровича провели в зал. Слева и справа от входа шли сплошные широкие окна с белыми шелковыми шторами, а у противоположной стены, на фоне резных книжных шкафов стоял немалых размеров письменный стол. К нему примыкала вереница столов для заседаний. Было такое впечатление, что прежний комполка, увидев в «Ниве» кабинет Николая Романова или императора Вильгельма, задумал соорудить себе похожий.

— В этом зале для танцев я работать не могу, — сказал Голиков Берзину. — Нет ли комнаты попроще и поменьше?

Комнату, разумеется, нашли. Стол в ней был. Сейф тут же поставили. И Голиков попросил ознакомить его с составом полка. Берзин принес три толстые папки. Начальник особого отдела прибавил к ним две потоньше — от себя. В одной папке, принесенной Гопонюком, был список арестованных заговорщиков. Голиков на время отложил его, чтобы позже внимательно просмотреть. А во второй папке увидел пятьдесят в разное время вписанных от руки имен.

— Кто такие? — спросил комполка.

— Бойцы, находящиеся в самовольной отлучке, — ответил Гопонюк. — Некоторые из них в скором времени, видимо, возвратятся. Здесь имеются и местные. Ушли проведать близких.

— Вы это серьезно? — не поверил Голиков. — А если они временно отлучились в банду, а затем по личной просьбе Антонова вернутся из тамбовских лесов, мы их примем обратно?

— У некоторых девушки. Любовь,— разъяснил начальник особого отдела.

— А когда эти молодцы вернутся, вы сумеете по глазам понять, у кого неземная любовь, а у кого задание штаба Антонова? Я не желаю принимать их в полк, если даже они вернутся. Пригласите писаря...

— У нас машинист. Он печатает на машинке «ремингтон».

— Пусть явится вместе с машинкой.
Двое красноармейцев внесли столик с тяжеловесным печатающим агрегатом. Следом за ними, со стулом в руках, появился молодой длинноволосый человек, похожий на семинариста. Поставив стул, он вытянул руки по швам.

— Ремингтонист Тулупов.
— Садитесь и пишите, товарищ Тулупов, приказ номер один.

Машинист поспешно сел, заправил лист бумаги, бойко отстучал номер приказа.

— «Самовольно отлучившихся в разное время нижепоименованных красноармейцев считать дезертирами, снять со всех видов довольствия и начать розыски таковых для предания суду. Командир полка Голиков...»* Дайте я подпишу... А теперь возьмите блокнот и пойдете со мной.

Голиков вышел на улицу. Его сопровождали четыре человека. Справа от крыльца стояло одноэтажное темного кирпича здание.

— Здесь что? — спросил Голиков Берзина.
— Караульное помещение.
— Давайте зайдем.

Их никто не встретил. Посреди продолговатой комнаты сиротливо тянулся длинный стол с полуразобраным пулеметом, вдоль стен в аккуратных стойках поблескивали винтовки. И не было ни одного человека. Голиков взглянул на комиссара, а затем на заигравшего желваками начальника особого отдела.

— Где часовой? Где начальник караула? — негромко спросил Голиков.

Начальник особого отдела стремительно вышел и через минуту вернулся с молодым раскрасневшимся красноармейцем в сбившейся на ухо папаче.

— Вот и я! — радостно доложил красноармеец, словно прибежал в родной дом, где его давно ждали обедать. Никакого оружия при нем не было. На ремне болтались два патронташа.

— Вы часовой? — спокойно поинтересовался Голиков.

— Он самый.— Было заметно, что парень в хорошем настроении.

— Где ваше оружие? — спросил Голиков.

— А вот.— И боец схватил винтовку, прислоненную к стене. Командир полка взял винтовку из его рук, открыл затвор — она даже не была заряжена.

— Почему вы оставили пост? — спросил Голиков.

— А я не оставлял. Я разбирал пулемет, заметил в окошке Ваську Колбаскина — мы с ним земляки — и выбежал, но глаз с дверей не спускал. Я ж понимаю, начальство или что. Как увидел вас — сразу бегом. Вот они могут подтвердить.— И он простодушно обернулся за поддержкой к начальнику особого отдела.

— Вам разъяснили обязанности часового? — вмешался комиссар.

— А как же. Но я далеко не уходил. А добежать мне — полминуты. Я на жратву и ногу быстрый.

Если бы глаза часового не были так простодушно ясны, Голиков подумал бы, что он искусно играет под дурачка.

— Запишите,— обратился Голиков к ремингтонисту,— часовою... Как ваша фамилия?.. Арестован на пять суток за халатное отношение к обязанностям. Немедленно арестовать и послать на гауптвахту караульного начальника, который не растолковал часовому его обязанностей.

— Я пришлю на замену своих людей,— обещал Гопонюк и стал крутить ручку телефона.

Голиков заметил неподдельную обиду на лице часового.

— Товарищ командир, за что?

— Представьте, что мы заговорщики. Значит, мы уже захватили караульное помещение со всеми винтовками и пулеметами. А вам даже выстрелить не из чего, чтобы поднять тревогу... Это первое. Но вот вы прибежали и застали здесь нас. Что нам остается сделать?.. Только заколоть вас, чтобы вы не подняли шума. Так что гауптвахта — это наименьшая неприятность, которая могла вас тут ожидать.

Появились два сотрудника особого отдела. Оставив их в караульном помещении, Голиков направился к цейхгаузам. Он бегло осмотрел продовольственный склад, решив про себя, что сюда еще наведается,— ему не нравился начхоз: что-то ненадежное было в его глазах,— и велел показать склад боевого снаряжения.

Здесь обнаружилось, что ящики с патронами для винтовок разных систем перепутаны и перемешаны. А револьверные патроны вообще найти не удалось. Практически это означало, что весь комсостав оставался безоружным, то есть с тем запасом патронов, который имелся у каждого. Попутно выяснилось, что исчезли или затерялись ящики с запалами для гранат. Правда, не все — три из пяти.

Начхоз Шепилов, еще час назад посматривавший на все происходящее самодовольными, сытенькими глазками, растерянно бегал по всем углам громадного каменного амбара в поисках ящиков с револьверными патронами, а главное — с запалами.

— Товарищ Берзин, пошлите людей в караульное помещение,— попросил Голиков.— Товарищ Гопонюк, вызовите освободившихся сотрудников сюда на склад. Шепилова не выпускать, не давать разговаривать по телефону. Начальнику оружейного склада тоже. Если до вечера патроны и запалы не обнаружатся, обоих арестовать для предания суду.

Берзин позвонил в штаб, Гопонюк — в караульное помещение. На пролетке подкатили двое давешних особистов. Они получили наставление. И Голиков направился к выходу.

— Я думаю, что ящики найдутся,— сказал негромко Берзин.

— А если они уже на тайном складе, который создавали заговорщики? Или если нашими патронами стреляет Антонов?

— Куда желаете сейчас? — устало спросил Берзин.

— В любой батальон.

— Ближе всех четвертый.

Батальон обедал. Бойцы сидели за столами в своих спальнях, вяло, без аппетита доедая суп. А в коридоре, заметил Голиков, стояли помойные ведра. Зачем? К чему их так много?

Из спальни вышел боец лет девятнадцати, наголо остриженный, и привычно вылил в ведро из жестяной глубокой миски суп. Голикова передернуло. Он не мог видеть, если выбрасывали хлеб или иную пищу. В детстве отец много рассказывал, как он голодал. А после его отъезда на войну голод пришел и в семью Голиковых. Цена миски супа и куска хлеба не стала для Аркадия Петровича меньше, когда он сделался командиром. Наоборот, ему приходилось думать, чем накормить бойцов, служба которых была тяжелой и опасной.

— Вы почему выливаете суп? — рванулся к бойцу Голиков.

— А вы его покушайте сами,— сгоряча ответил боец.

— Как вы разговариваете с командиром полка? — осадил его Берзин.

— Извините, товарищ командир полка. Но суп есть нельзя.

— Покажите, где у вас тут кухня,— попросил Голиков.

Красноармеец повел их по лестнице вниз. Здесь проверяющих нагнал командир батальона. Судя по огорченному лицу, он был уже в курсе случившегося.

— Командир батальона Маркелов,— представил его Берзин.

В подвальном помещении, довольно просторном, с высоким потолком, их встретил худой и высокий повар в очень грязной куртке. Трое красноармейцев без всякой спецодежды чистили картошку. Завидев начальство, повар вытянулся и доложил:

— Повар Степан Черкасских при исполнении обязанностей.

— Дайте нам, пожалуйста, супа,— распорядился Голиков.

— Мы можем пообедать в другом месте,— находчиво оживился комбат.— И нам принесут.

— Я хочу супа из этого котла,— ответил Голиков, показывая на громадный чан, который стоял на плите.

— Всем налить? — обратился повар к батальонному.

— Одну миску и четыре ложки,— внес ясность Голиков.

Повар от усердия плеснул половником одну гущу и поставил миску на стол возле плиты.

Голиков с комиссаром черпнули супа. Комполка попробовал, отошел и выплеснул остатки из своей деревянной ложки в помойное ведро, которое отыскалось и здесь. Комиссар, давясь, мужественно проглотил доставшуюся ему порцию.

— Вы тоже, верно, еще не обеды и желаете попробовать,— обратился Голиков к Маркелову и, не дожидаясь согласия, черпнул со дна миски полную ложку.

Батальонному ничего другого не оставалось, как, широко открыв рот, в него эту ложку опрокинуть. В кухне стало слышно, как на зубах Маркелова захрустело, будто его угостили речным песком. Голиков не выдержал — засмеялся. Батальонному было не до смеха. Бежать к ведру он считал для себя стыдным, а проглотить быстро не мог.

— Степан, ты почему не промыл пшено? — спросил Голиков повара.

— А разве пшено моют? Я так поглядел — вроде чистое. Картошечки добавил, посолить не забыл.

— А ты знаешь, что ребята выливают твой суп?

— Я-то чем виноват? Я стараюсь, но я ж не повар.

— А кто же ты?!

— Плотник. Я не хотел. А вот они,— он показал на батальонного,— сказали: ты честный, будешь поваром.

— А прежний где? — поинтересовался Голиков, оборачиваясь к Маркелову.

— На губе. Украл восемь фунтов гвоздей,— сокрушенно ответил батальонный.

— Тулупов, запишите: «Повара Черкасских Степана, как несоответствующего своему назначению, смещаю с должности и для пользы дела прикомандировываю к хозяйственной команде, как специалиста-плотника»*.

— Не знаю, кто вы такой, — обрадовался Степан, — но спасибо вам великое! Может, пообедаете? Я для командира другой супчик приготовил, с потрохами. Хватит на всех.

— С потрохами, Степан, съешь сам. А командиру батальона подашь, когда он попросит обедать, тот суп, что остался у тебя в миске. Только не забудь его погреть.

Голиков взглянул на совершенно подавленного Маркелова и направился к дверям.

...Уже темнело, когда Аркадий Петрович в сопровождении Берзина и Гопонюка подошел к трем бревенчатым строениям, огороженным колючей проволокой. У калитки притопывал часовой.

— Что здесь? — спросил Голиков.

— Лазарет.

— Пропустите, — попросил Голиков часового.

— Не могу. Дохтур не велел, — ответил часовой, загоразживая дорогу.

— Это командир полка, — сказал Берзин.

— У меня тут командир дохтур. Вызвать дохтура? — И он дернул веревку.

Из дверей главного строения выбежал седеющий человек в шапочке и накрахмаленном халате. Он распахнул калитку и вопросительно взглянул на посетителей сквозь стекла золотых очков.

— Главный врач полка доктор Де-Ноткин, — отрекомендовал его комиссар. — А это, доктор, наш новый командир полка.

Голиков протянул руку. Де-Ноткин проворно спрятал свою за спину.

— Простите, осматривал больного.

— Что за больные?

— В двух корпусах — сыпняк. В третьем — холера. Сегодня доставили пятый случай.

— Я хочу проведать больных, — сказал Голиков.

— Столько народу пропустить не могу.

— Я пойду один.

— Не советую, — сказал Де-Ноткин.

— Сыпняком, доктор, я болел.

— Бывает и возвратный.

— Товарищ Де-Ноткин, это приказ, — теряя терпение, произнес Голиков и обернулся к Берзину и Гопонюку: — Обождите меня где-нибудь поблизости. — Ему показалось, что Гопонюк с облегчением вздохнул.

В кабинете Де-Ноткина, маленьком и тесном, Аркадий Петрович снял шинель и папаху, облачился в халат и шапочку и следом за доктором направился в отделение.

В палате было чисто: пол вымыт, на окнах занавески, свежее белье на постелях, но в ноздри ударил тяжелый запах. Комната давно не проветривалась. К духоте примешивался запах гниющей раны.

— Доктор, почему здесь такой воздух?

— Мы проветриваем раз в день со скандалами. Больные, все больше из крестьян, боятся свежего воздуха. Дома у них окна никогда не открываются — ни зимой, ни летом. А в дальнем углу — молоденький парнишка. Раздроблена голень. Его должны были оперировать — подхватил тиф. Случай безнадежный, — понизив голос, пояснил Де-Ноткин.

Голиков прошел в дальний угол. Возле окна, отгороженный ширмой, лежал парнишка лет восемнадцати — с белесыми волосами и бровями, пухлым, картошиной, носом. Лицо его было розовым: он находился в горячке. Глаза открыты. Они радостно блестели.

— Здорово мы их, а? — произнес он, завидев Голикова. — Вон они опять ползут... Хватай пулемет...

Голиков снял полотенце, которое висело у изголовья, плеснул на краешек из стакана, что стоял на тумбочке, и положил полотенце парнишке на лоб. Парнишка блаженно прижал ко лбу полотенце и руку Голикова и затих.

Аркадий Петрович осторожно высвободил ладонь и прошел вдоль всех коек, где люди маялись в бреду или, примолкшие, слушали, как их медленно покидает болезнь. На некоторых кроватях отрешенно сидели те, кто уже точно шел на поправку. Они были худы, медлительны в движениях, в их взглядах застыло удивление, что они выжили.

— Много в полку сыпняка? — спросил Голиков у врача.

— Много. Меньше двух сотен одновременно не болеют. Тут и новобранцы — прихватывают из дома, в поездах. Но есть и свои. В казармах грязь. А то еще командиры гимнастерки и рубашки в дезкамеру сдают, а шинели и шапки нет: лень возиться...

— Понятно. А теперь, пожалуйста, проводите меня в холерный барак. — И, уловив протестующее движение Де-Ноткина, добавил: — Это тоже приказ.

Во флигеле, где находились холерные больные, пять коек были заняты, а три оставались свободны. Когда Голиков с Де-Ноткиным вошли в помещение, громадного роста санитар в белейшем халате сразу увел доктора в маленькую служебную комнатку. Голиков остался один.

Он вспомнил, как мама принесла в дом известную книгу В. В. Вересаева «Записки врача». Вересаев в ней рассказывал, как начинал свою врачебную деятельность, почти сразу попав

на эпидемию холеры. В инфекционные бараки к нему приходили добровольцы, желавшие помогать. Они рисковали тоже подхватить холеру, что нередко и случалось. Аркадий тогда думал: «Я бы так не смог...»

И вот он стоял посреди холерной палаты. Никакой необходимости в этом посещении не было. Но он взял себе за правило вникать во все подробности жизни и службы красноармейцев.

Четверо больных спали, а пятый, с широкой крестьянской бородой на крупном квадратном лице, приоткрыв веки, наблюдал за редким в этом бараке гостем.

Тут один из дремавших, с обескровленным лицом и шрамом поперек щеки, зашевелился, поморщился и произнес:

— Печет, ох, печет под сердцем... Пить!

Бородатый встрепенулся, но его порыва хватило лишь на то, чтобы оторвать от подушки голову, и он обессиленно плюхнулся обратно.

— Слышь, парнишка,— странным, сухим голосом произнес бородатый,— подай ему водички, Христа ради, вишь, я еще не могу.

Первым побуждением Голикова было выбежать в сени и позвать санитаря, но он устыдился этого, взял с тумбочки медную кружку с кипяченой, еще теплой водой, приподнял голову больного со шрамом и коснулся кружкой его свинцово-серых губ. Больной принялся пить с такой жадностью, будто провел неделю под палящим солнцем в пустыне. Выпив до капли, утомленно откинулся, глубоко, с облегчением задышал.

Внезапно глаза его начали закатываться, серое лицо посинело, больной стал давиться и сел. Голиков вспомнил: в госпитале за несколько мгновений до смерти вскакивали, иногда прыгивали на пол умирающие. Он испугался, что и этот больной сейчас умрет, и почувствовал себя виноватым: быть может, не нужно было давать ему воду? По крайней мере столько?

— Это его тошнит,— пояснил бородатый.— Бадейка под койкой.

У комполка отлегло от души: значит, человек этот сию минуту не умрет и он, Голиков, ни в чем не виноват. Но мысль, что надо прикоснуться рукой к бадье, вызвала спазм у него самого. Аркадий Петрович справился с ним, быстро вынул из кармана белоснежный платок, обмотал им руку и взялся за грязную дужку... В этот момент вошел Де-Ноткин.

— Товарищ Голиков, немедленно уходите отсюда,— сердито произнес он.— Здесь команду я. В сенях рукомытник

и сулема. А ты, Селедкин,— повернулся доктор к бородатому,— чем просить командира полка, позвал бы санитаря.

— Дак я и думал, что это новый санитар... Устин!

Из сеней навстречу Голикову выбежал давешний богатырь — лет сорока, с нездоровым, в оспинах лицом, на котором было виноватое выражение.

— Тут я, тут!

Но он не успел добежать — того, со шрамом, вырвало.

Голиков поспешил в сени. «Все-таки надо было мне позвать санитаря, а не лезть самому», — отругал он себя. В сенях он отыскал рукомойник и другой, поменьше, с надписью «Сулема». Набрав в ладони резко пахнувшей жидкости, Аркадий Петрович стал тщательно обтирать ею руки. В носу и горле от этого запаха остро закололо, но он продолжал тереть, помня, что брался за бадейку, пусть и через платок.

Несколько минут спустя, когда Де-Ноткин вывел его из барака, Голиков сказал:

— Я хотел бы знать, откуда в полку холера.

— История темная,— ответил доктор.— Холера в этих местах вообще-то была. Возбудитель в воде и земле живет долго, но эти пятеро из одного взвода. Их отпустили в город. Они напились на базаре квасу, торговала какая-то баба.

— Холера только у нас?

— В городе еще три случая. Их происхождение выяснить не удалось. Этим сейчас занимается ЧК. Вероятна и случайность — плохо помытая посуда, но я не исключаю и злого умысла. Мне показывали в ЧК французскую газету. В ней генерал-медик, мой давний сослуживец, заявил журналистам, что в «нынешней войне все средства дозволены». Я вполне допускаю: раз уже применялись ядовитые газы, то и за спиной этой бабы с квасом могли стоять весьма образованные в микробиологии люди. Посему бью вам челом — примите самые решительные меры к санитарному состоянию полка. За последние три месяца в полку от сыпняка и другой заразы умерло немало народу. А бескультурье страшное: руки моют редко, иногда от бани до бани. У прежнего руководства я помощи допроситься не мог. Теперь-то мне все понятно. А если сейчас распоздается по ротам холера, слягут все четыре тысячи.

Мальчишеское лицо Голикова напряглось. Ноздри раздулись, на лбу появились продольные складки.

— После ужина я соберу всех командиров. И приглашу вас перед ними выступить.

— Я уже выступал — результат один.

— Напишите на листке, что вы считаете необходимым сделать, я издам приказ.

Де-Ноткин проводил Голикова до калитки и вернулся в барак. На улице командира дожидались Берзин и ремингтонист.

— Зачем вы пошли в холерный барак? Доктор бы вам и так все объяснил,— сказал Берзин. Он чувствовал себя неловко оттого, что стоял за воротами, пока новый командир навещал больных.— Вы могли заразиться.

— Де-Ноткин здесь бывает каждый день.

— У него такая работа — он врач.

— У меня тоже — я командир.

К концу дня во всех подразделениях знали, что Голиков посетил бараки для заразных больных и помогал санитарам.

— Холера очень прилипчивая,— говорили вечером красноармейцы,— хуже болезни нету. А наш новый комполка, вишь, не побоялся.

— В Наполеоны метит,— с тонкой усмешкой заметили командиры из числа бывших офицеров.— Во время африканского похода Бонапарт навестил солдат, больных чумой. Вручал им кресты, дарил деньги, жал руки.

— Наш руки не жал, он только подавал бадейки.

Все же большинство сошлось на том, что поступок Голикова заслуживает уважения.

Утром во всех ротах был развешен приказ:

«ВВИДУ ПОЯВИВШИХСЯ СЛУЧАЕВ ХОЛЕРЫ ПРЕДЛАГАЮ ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНДИРОВ, КОМИССАРОВ, СТАРШЕГО ВРАЧА... ПРИНЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К ПРИВЕДЕНИЮ В ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК ДВОРОВ... И ОЧИСТКЕ ПОМЕЩЕНИЙ... ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПРИКАЗА ДЛЮ НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК... И ТАМ, ГДЕ БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ ДЕФЕКТЫ, ВИНОВНЫЕ БУДУТ ПРЕДАНЫ СУДУ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА, КАК ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВОГО ПРИКАЗА...

КОМПОЛКА А. ГОЛИКОВ»*

ДИВЕРСИЯ

Голиков встал без четверти шесть. Просыпался он сам, без всяких будильников. Научил его этому отец. «Сын, когда ты уже лег и потушил лампу,— говаривал он,— прикажи себе: «Я должен проснуться в такое-то время». И ты откроешь глаза минута в минуту». Скольким нужным вещам, которые пригодились здесь, в армии, научил его отец!

Заслышав, что командир поднялся, в кухне снял с таганка чугунок с кашей и поставил на огонь чайник ординарец Михаил Осипович, надежный, основательный мужик лет тридцати пяти из Витебска. Он отличался неизменным спокойствием, даже некоторой меланхоличностью, но любую работу выполнял быстро и точно. Михаил Осипович следил, чтобы командир ел хотя бы дважды в день и носил все чистое. Когда бы Голиков ни вернулся домой, его ожидал в печи или под подушкой ужин. А утром на спинке стула висели чистая рубашка и френч с белейшим подворотничком. Помня пушкинского Савельича из «Капитанской дочки», Голиков в шутку прозвал своего ординарца «мой дядька».

И в это утро, неторопливо одевшись, дядька взял в сенях ведро с водой, приготовленное с вечера, и остановился возле сарая, где, казалось дядьке, меньше дуло. Ординарец никак не мог привыкнуть к требованиям командира и боялся, что Голиков от своей причуды заболит.

А командир полка выбежал на крыльцо в длинных, до колен, трусах и в сапогах. Прищурясь от полоснувших по глазам лучей солнца, Голиков подошел к дядьке и, словно собираясь ударить его в живот головой, пригнулся. Ординарец осторожно ковшиком начал лить воду ему на загривок, шею, спину. А Голиков принялся себя похлопывать и растирать. Несмотря на прохладу, его тело начало окутываться легким облачком пара. Когда, скребнув по дну ведра ковшиком, ординарец вылил на спину командира остатки воды, Голиков попросил:

— Дядька, черпни еще.

— Так холодная ж!

— Не бойся, черпни.

Вполголоса, то ли молясь за молодого сумасброда, то ли ругая его, дядька черпнул в колодце еще одно ведро — вода была ледяная, бог знает с какой глубины.

— Лей всю! Сразу!

Ординарец выплеснул все, что было в ведре, ему на голову и спину. Радостно ойкнув, фыркнув, смахнув с себя разбрызгавшиеся струйки, Голиков снял с плеча дядьки длинное полотенце из грубого холста и растерся.

Ординарец тем временем возвратился в дом. И ровно в шесть, в белоснежной рубашке, розовый от ледяной воды, с зачесанными назад волосами, Голиков появился к столу. Его ждала кружка принесенного из погреба молока, несколько ломтей свежего хлеба, испеченного хозяйкой, миска гречневой каши и еще одна кружка — с чаем, заваренным мятой.

Пока Голиков завтракал, ординарец вывел из сарая коней, напоил их, оседлал. И в шесть двадцать они выехали со двора:

Аркадий Петрович начинал объезд подразделений своего полка. Голиков делал это каждое утро, и никто не знал, с какой роты он начнет, и ждали его утреннего появления все. Он успевал побывать в пяти-шести местах.

В одном месте проверял, знают ли часовые свои обязанности; в другом осматривал оружие; в третьем заходил в спальню, отбрасывал одеяла и глядел, чистое ли белье, а затем, позвав двух-трех красноармейцев, предлагал им раздеться. Те снимали рубахи. Упаси бог, если рубашка была у кого заношенной или в складке обнаруживалась вошь!.. Доставалось и бойцу, и его командиру. В результате сыпняк пошел на убыль. От него перестали умирать. Не было и новых случаев холеры.

Столь же тщательно следил комполка и за тем, как кормят бойцов. Он приходил на кухню и говорил: «Дайте мне попробовать из этого котла. И еще из этого». Но больше двух-трех ложек супа или ложки каши — и это было всем известно тоже — не съедал. Аркадий Петрович терпеть не мог проверяющих, которые шатались от котла к котлу, наедаясь во время своих неутомимых инспекций «от пуза» и делая вид, что не замечают ехидных взглядов поваров и дежурных красноармейцев.

Отведав супа или каши, Голиков нередко замечал: «Не хватает соли. Хорошо бы добавить жареного лучку». И никогда не оставался завтракать или обедать. Он знал: если пообедаешь в первой роте, то придется и во второй, и в третьей, и так до четырнадцатой. И не исключено, что обед начнут готовить получше специально для него. И Аркадий Петрович предпочитал иногда вообще до вечера не есть, помня, что верный дядька дома накормит.

А на занятиях Голиков поочередно присутствовал в каждой роте. И полк за короткий срок преобразился. Это установила комиссия, направленная командующим округом. В секретном рапорте она доложила: несмотря на то что в полку был раскрыт заговор, в котором была замешана значительная часть командного состава, 23-й полк по моральным качествам и подготовке представляет боеспособную часть, вполне пригодную для использования против антоновских банд.

...Пять рот двигались по улицам города. Впереди, блестя золотом зычных труб, громыхая звонкими тарелками и гулками барабанами, шествовал известный всему Воронежу военный оркестр. Он играл каждое воскресенье на гуляньях. Там он исполнял по преимуществу вальсы, народные плясовые и мелодии душещипательных романсов. А сейчас, сознавая торжественность момента, оркестр играл поочередно «Вихри враж-

дебные» и «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон».

Голиков и Берзин сопровождали колонну верхом на лошадях. На звуки музыки из дворов, переулков выбегали люди. Женские и детские лица высывались из дверей и даже из открытых, несмотря на прохладу, окон. Заметив такое внимание, красноармейцы приободрились. Они стали тверже и молодцеватей печатать шаг — и колонна достигла вокзальной площади. К Голикову подбежал расстроенный начальник станции — лет пятидесяти, тщательно и гладко выбритый.

— Прощу извинить,— сказал он, неумело поднося руку к козырьку своей железнодорожной фуражки.— Нет локомотива. Еще вечером паровоз был совершенно исправен, а утром бригада стала разводить пары...

Аркадий Петрович помрачнел. Он читал оперативную сводку по состоянию на восемь утра. Из нее он узнал о диверсии в депо, расследование которой было поручено железнодорожной ЧК. Но в суматохе сборов Голиков никак не связал это сообщение с предстоящей отправкой рот.

— Другой локомотив ожидаем через полтора часа,— закончил начальник станции.

— Если будет возможность, пожалуйста, ускорьте,— на всякий случай попросил Голиков и приказал бойцам разойтись, чтобы не маялись в строю до посадки.

Красноармейцы, сложив в кучи заплечные мешки, составив в козлы винтовки и выделив часовых, рассыпались по площади. Кто кинулся покупать у торговок ржаные лепешки, кто горячую картошку, извлеченную из чугуна, покрытого рваной кацавейкой, а кое-кто разохотился на миску домашней, тут же на жаровне сваренной похлебки с требухой. От расстройства желудка любителей похлебки должно было спасти то, что котел на треноге кипел беспрерывно.

Голиков хотел было запретить бойцам что-либо покупать в этом «обжорном ряду», но его остановил Берзин:

— Пусть. Иначе они растратят деньги на первом полустанке, и неизвестно, чем их угостят там.

Передав своих коней дядьке, Голиков и Берзин разделились. Комиссар направился в местную ЧК узнать, что прояснилось относительно взрыва на паровозе. А командир полка остался на площади. Голиков не считал себя суеверным, но сейчас у него было предчувствие, что уходить ему не следует.

Отправка пяти рот была задумана как операция секретная. Совершенно скрыть от глаз отъезд тысячи бойцов, разумеется, было невозможно. Однако Александров нашел нужным, чтобы о предстоящей отправке до последнего часа знал самый узкий

круг людей. И то, что взорванным оказался паровоз, которому предстояло везти подкрепление против мятежников, свидетельствовало о том, что о секретной операции давно знали люди Антонова. Голиков вполне допускал, что осуществленная диверсия была не единственной из задуманных. И он считал, что обязан предусмотреть или разгадать, что его бойцам уготовано еще.

От командира полка — формально — сейчас требовалось одно: посадить бойцов в эшелон. Дальше за них отвечал уже Тамбов. Но Голикова не покидала тревога за то, что может произойти с людьми в дороге. Больше того, тревога эта с каждой минутой нарастала.

...Во время службы у Ефимова Голиков ежедневно сталкивался с многочисленными способами вредительства на железных дорогах. По распоряжению командующего он систематизировал наиболее типичные случаи диверсий. И в своем докладе, который Аркадий сделал перед работниками штаба, в присутствии сотрудников железнодорожной «чрезвычайки», он обратил внимание, что отдельные эшелоны, почему-либо избежав аварии на одном участке, нередко попадали в катастрофу на другом. Чаще всего это были эшелоны особой важности. Отсюда Голиков приходил к выводу, что в ряде случаев противник имел запасные варианты диверсий.

— Предположим, — выслушав доклад, произнес Ефимов, — что в пункте А, благодаря бдительности часового или стрелочника, диверсия сорвалась. Каким же образом противник оповестит своих агентов, что попытку следует повторить в пункте Б, если расстояния исчисляются сотнями километров?

Аркадий не успел ответить. Его опередил болезненного вида сотрудник из железнодорожной ЧК.

— Товарищ Ефимов, — сказал он, откашлявшись, — мы сутки назад арестовали двух телеграфистов...

Возвращаясь мыслью к утренним событиям, Голиков вспомнил, что в тендер паровоза ночью была подброшена сильная мина, замаскированная под внушительный кусок угля. Видимо, предполагалось, что она попадет в топку на перегоне Воронеж — Тамбов.

Но мина попала в топку, когда паровоз только начали разогревать. Кочегара убило, машиниста ранило, топку разворотило. Однако задуманное крушение сорвалось. Понимали люди Антонова, что план их может сорваться?..

Если считать, что противник глупей тебя, то нет. А если вспомнить, что в окружении Антонова много кадровых боевых офицеров, то естественно, что они должны были учитывать: при каких-то обстоятельствах мина могла не сработать. Прибытие

же еще одной тысячи красноармейцев было нежелательно для мятежников. Поэтому должен был существовать запасной вариант. Какой? Минирование полотна? Но гражданская война заканчивалась, число фронтов резко сократилось. И теперь уже была возможность лучше охранять дороги на одном из самых важных для страны перегонов — до Тамбова. Нет, разрушение полотна — это не «безосечковый» вариант. Он слишком примитивен. На память пришли слова доктора Де-Ноткина, что за спиной Антонова стоят весьма образованные люди.

По мере того как приближалось время посадки, у Голикова крепло желание поделиться своей тревогой со знакомыми парнями из железнодорожной «чрезвычайки». Но чекистам нужны были факты. Неясностей и предположений им хватало и без него.

Берзин не возвращался. Видя озабоченность на лице командира, верный его дядька передал коней знакомому бойцу, а сам, сняв с плеча карабин, присоединился к Голикову.

Аркадий Петрович прогуливался по площади с видом человека, который раньше положенного времени приехал на вокзал и мог распорядиться свободным временем как хотел. Он шел между группами бойцов, узнавая многих в лицо, отдавая честь, кланяясь. И ему было тепло на душе, что бойцы, заметив его, приветливо брали под козырек, радостно улыбались, приглашая постоять с ними напоследок. Но тревога гнала его по площади, словно от того, что он делал второй или третий круг, что-то могло проясниться.

Возле одной группы Голиков внезапно остановился. Неподалеку от входа в вокзал собралось шестеро бойцов, которые показались ему незнакомыми. И хотя невозможно запомнить овал лица, форму носа, цвет глаз и разрез рта четырех тысяч человек, Голиков этих шестерых не узнавал. Прежде всего, они чем-то отличались от остальных. У того, что повернулся спиной, была очень длинная шинель. Бежать в такой шинели неудобно: запутаешься, упадешь. Аркадий Петрович месяц назад дал указание: всем, у кого шинели не по росту, заменить на другие. В крайнем случае подкоротить. А у этого шинель была кавалерийская, почти до пят. Не замененная и не укороченная. Почему? И второе: шея бойца заросла давно не стриженными волосами, хотя по строгому полковому правилу, попав в 23-й, любой красноармеец прежде всего знакомился с баней и парикмахерской.

— Из какой роты, товарищи? — напустив на себя простодушный вид, спросил Голиков.

— Из четырнадцатой, — ответил тот, что в длинной шинели, охотно оборачиваясь и улыбаясь. У него было молодое лицо.

Когда он говорил, становилось видно, что у него крупные редкие зубы.

— А командир кто ваш?

— Который? Их у нас много. Взводный Топорков — вон картошку горячую ест, а нам не дает. (Бойцы засмеялись.) Ротный — Мельников, а батальонный — Хмурый. (Бойцы засмеялись опять.)

Хмурый — было прозвище батальонного командира, исполнительного и четкого службиста из офицеров, у которого была одна странность — он никогда не улыбался. Говорили, что у него случилась семейная трагедия, от которой он до сих пор не оправился.

— А настоящая фамилия батальонного командира как? — строго спросил Голиков.

— Да чудная у него фамилия, товарищ командир полка, — ответил парень с редкими зубами. — Тризубный вроде.

Фамилия батальонного действительно была странная — Трапезундов. Запомнить ее неграмотному красноармейцу было непросто. И на миг возникшее подозрение, что это люди не его полка, начало рассеиваться. Тут Голиков заметил, что рядом с этими шестерыми на мешках сидит седьмой, низкорослый, плотный парень, темные волосы которого тоже были не стрижены и прикрывали лохмами уши. Парень не смеялся, даже не прислушивался к разговору: ему явно нездоровилось.

— Товарищ, что с вами? — обратился к нему комполка. Темноволосый попытался встать.

— Сидите, сидите, — остановил его Голиков.

— Занемог он со вчерашнего дня, — ответил боец в длинной шинели.

— Почему же вы не отвели его в лазарет?

— Мы ж не знаем, где он... Доложили ротному, тот Тризубному или как его там по фамилии будет. А батальонный вроде бы ответил: «Все едут, и он пускай едет. В дороге отдохнет и поправится».

— Вы новобранцы? — догадался Голиков.

— Не-е, я служу третий месяц.

— А в полку нашем сколько служите?

— В полку пятый день.

— И все пятый день?

— Все. Мы ж тамбовские.

— А санобработку прошли? В бане мылись?

— А как же. Обязательно мылись. И мыло нам выдали. Спасибо. По полкуска. Обязательно домой пошлем. Только вода в бане была холодная. Помылись, как сумели. Но белье у всех чистое. Мы знаем, здесь строго.

— А шинели, гимнастерки в баню отдавали?

— А зачем? И потом, нам сказали: шинели от этого портятся, сукно скукоживается, шинелка маленькая становится, носить нельзя.

«Надо было проследить, как приняли пополнение,— подумал Голиков.— Но, с другой стороны, Трапезундов — человек опытный. Мог обойтись и без меня. Только зачем же он посылает на Тамбовщину людей, которые только что оттуда прибыли? Какой толк их отправлять обратно, ничему не научив? К чему такая спешка, если из его батальона была нужна всего одна рота?»

Голиков обернулся к дядьке.

— Немедленно врача. И Трапезундова. А вы,— попросил он бойца в длиннополой шинели,— позовите ко мне ротного. Он, кажется, доел свою картошку.

Ротный подбежал, придерживая на поясе бьющую по бедру кобуру. Он был высокий, подвижный, слегка плутоватый, с невзрачным, плохо запоминающимся лицом.

— Это ваши люди? — спросил Голиков, показывая на группу, с которой у него возникла беседа.

— Так точно.

Задыхаясь от быстрой ходьбы, подошел Де-Ноткин, а следом за ним, придерживая шашку, Трапезундов.

— Доктор, посмотрите, что с этим красноармейцем,— показал Голиков на больного, который маялся на мешках.

— Аркадий Петрович, я и так вижу: заурядный тиф.

— Вы докладывали батальонному командиру, что боец болен? — обратился Голиков к ротному.

— А как же? Мы со Смеховым,— он кивнул на парня в длинной шинели,— отводили его утром к ним,— он показал головой на Трапезундова.

— Почему больной красноармеец не отправлен в лазарет? — обернулся Аркадий Петрович к Трапезундову.

— Я подозревал симуляцию перед отправкой на фронт.

— Предположим. Комроты Мельников, почему ваши люди мылись в бане холодной водой? И почему они не прошли полную санитарную обработку?

— Они поступили вечером, когда баню уже перестали топить,— ответил Мельников.— А товарищ Трапезундов сказали, что другого времени для мытья в ближайшие дни нашей роте не дадут. Дезкамера тоже была холодной.

Голиков посмотрел на Трапезундова. Тот стоял внешне спокойный, однако руки его безостановочно теребили малиновый темляк шашки. Пальцы были неестественно белы. И неестественно белым становилось лицо. Такое Голикову доводилось

видеть в бою, когда человек внезапно терял много крови.

— Доктор, заберите больного в тифозный барак,— приказал Голиков.— Всю четырнадцатую роту в санобработку и в карантин. Трапезундов, вы арестованы!

— Товарищ командир полка, это недоразумение,— произнес Трапезундов, еще больше бледнея.

— Это могло бы выглядеть случайностью и недоразумением порознь. А вместе выглядит совершенно иначе. Из целого батальона формируется одна рота. К чему было отправлять новобранцев? Да еще тамбовцев?.. Эти люди нуждались в санобработке. Неужели для них на другой день не нашлось бы по шайке горячей воды? А в дезинфекционной камере — места для десяти шинелей?.. Наконец, последнее. Вам докладывают, что один из новобранцев болен...

— Я полагал, повторяю, что это симуляция!..

— Симулянт он или нет, должен определять врач. А главное, вас устраивало, чтобы тифознобольные поехали на фронт... Сдайте оружие. Вы пойдете под суд.

Трапезундов снял шашку и протянул ее Голикову, но комполка ее не принял и показал движением руки, что шашку возьмет ординарец. А кобуру с пояса Трапезундов снимать не стал. Он расстегнул ее, привычно положив палец на спуск, вынул трофейный парабеллум и стал медленно распрямлять руку. Эта замедленность всех насторожила.

Рядом с Трапезундовым, держа на изготовку карабин, очутился дядька. Он встал слева, и Голиков слышал, как дядька щелкнул затвором, поставив его на боевой взвод. А справа стоял ротный. При своей неказистой внешности он отличался медвежьей силой и проворством: до последнего ранения командовал разведвзводом и любил сам ходить в тыл противника. Ротный мог в долю секунды скрутить и оглушить любого.

Было заметно, что Трапезундов в нерешительности. Голиков быстро просчитывал за него варианты: «Попытается бежать?.. Но ротный молниеносно собьет его с ног... Да и толпа кругом. Откроет стрельбу?.. Но для этого ему нужно взвести затвор — и дядька с ротным его опередят... Похоже, ему не из чего выбирать...»

Внезапно Трапезундов ткнул стволом пистолета себе в грудь. Ротный схватил его за руку, но выстрел прозвучал на миг раньше.

— Будьте прокляты! — успел произнести Трапезундов.— Я очень жалею...

* * *

«Трапезундов, выходит, допускал, что в любой момент его могут разоблачить,— размышлял Голиков, когда эшелон ушел, а задержанная рота была отправлена в баню.— И затвор у него был взведен заранее. А я нынче совершил две грубейших ошибки. Не заметил, что затвор взведен, а ведь Трапезундов мог убить пять-шесть человек. Главное же, позволил ему застрелиться, а он знал тех, кто задумал обе диверсии».





часть четвертая

РЯДОМ С ТУХАЧЕВСКИМ

ЧТО ТАКОЕ АНТОНОВЩИНА?

«9 апреля 1921 г. Моршанск.

Два с половиной года прошло с тех пор, как я порвал всякую связь, мой друг, с тобою. За это время я не получил ни одного письма, ни одной весточки от тебя, мой славный и дорогой папа. Да я и не мог получить благодаря той беспокойной жизни, которую приходилось и приходится мне вести все время...

Я ушел в армию еще совсем мальчиком, когда у меня, кроме порыва, не было ничего твердого и определенного. И, уходя, я унес с собой частичку твоего миропонимания и старался приложить его к жизни, где мог, и кажется мне — смог...

Сейчас я пока командир 23-го запасного полка, но вскоре бригада переходит на трехполковой состав, и крайний полк расформируется. Вот и попробуй тут наладить связь с тобой...

Осенью, по всей вероятности, уеду держать экзамен в академию (Генерального штаба.— Б. К.), но только вряд ли выдержу, если не дадут месяцев двух отпуску для подготовки по общеобразовательным предметам, а то ведь что и знал, то позабыл все...»*

Голикова направили в Тамбов.

Штаб командующего войсками Тамбовской губернии помещался на Большой улице, в трехэтажном здании бывших присутственных мест. В просторном вестибюле часовой долго и недоверчиво рассматривал документы Голикова: направление и командирский мандат. Затем, не спуская с посетителя глаз, дернул за проволоку звонка. Слышно было, как в соседнем помещении звякнул колокольчик. И в вестибюль, торопливо дожевывая, испуганно выскочил рослый усатый начальник караула с кривоватыми ногами кавалериста. Часовой зашептал ему на ухо. Голиков отчетливо расслышал: «мальчишка».

Караульный начальник сам подержал в руках документы, сердито взглянул на часового и взял под козырек: «Прошу извинить за нечаянную задержку. Второй этаж».

Аркадий Петрович поднялся по широкой парадной лестнице с мраморными перилами. Возле приемной командующего у него опять проверили документы, после чего он — в третий раз! — предъявил их адъютанту командующего. Меры безопасности диктовались сложностью обстановки и коварными хитростями, на которые пускался Антонов.

Седеющий, с отличными манерами адъютант в безукоризненно шитом френче предупредил:

— Михаила Николаевича в городе нет. Вас примет его начальник штаба товарищ Какурин.

Голиков был разочарован: он готовился к разговору с Тухачевским.

— Командиры полков нам нужны, — сказал Голикову Какурин, бритоголовый, слегка сутулый, интеллигентного вида человек, — но эти вопросы решает сам Михаил Николаевич. До его прибытия зачисляю вас в резерв и советую изучить в политотделе материалы по антоновщине.

В политотделе Голикова посадили в маленькую комнату спецчасти, где стояло два пустых стола. За дверью лязгнула дверца тяжелого купеческого сейфа, и неразговорчивый сотрудник с пистолетом на ремне положил перед Аркадием Петровичем несколько тщательно пронумерованных папок с грифом «Совершенно секретно».

Голиков развязал первую папку. В ней оказался увеличенный портрет с пометкой: «Александр Степанович Антонов, 1918, в должности начальника Кирсановской милиции». Антонов сидел в кителе с накладными карманами. Был Антонов узкоплеч. Лысеющая голова с гладко прилизанным чубчиком выглядела при таком хилом теле уродливо большой. Нос картошечкой, губы толстоватые, щеки ввалившиеся. Глубоко посаженные глаза из-под крошечных бровей смотрели насто-роженно. При этом бывший начальник Кирсановской милиции самодовольно улыбался: себе он очень нравился.

В биографической справке говорилось: «Антонов А. С. Из семьи слесаря-кустаря г. Кирсанова. Учился в уездном училище. Еще там обнаружил бандитско-хулиганские наклонности, за что из училища был исключен.

В партию эсеров вступил в 1905 году, получив кличку Осиновый. Принимал участие в ряде экспроприаций и террористических актов, в частности ограбил кассу железнодорожной станции Инжавино, винную лавку в Ржаксе, убил старосту Бирюкова. Хитрый, осторожный конспиратор, он долгое время

уходил от преследования, но в 1909 году был пойман жандармами, присужден к каторжным работам и отправлен в Сибирь, откуда явился после февраля 1917 года, именуя себя «жертвой борьбы с царизмом».

Антонов обладает сильной волей, но имеет пристрастие к кокаину¹.

Политически безграмотен, однако с детства мечтает стать вождем и гарцевать на белом коне. Себя считает «революционным романтиком».

Кем-то из приближенных сочинена песня, которую Антонов очень любит:

*Пулеметы затрещали,
Александр кричит: «Ура!
По колена крови стану,
Чтобы власть была моя».*

Себя именует: «Начальник штаба революционной народной армии Антонов»*.

Голиков откинулся на стуле. За время службы он прочел пуды бумаг о всяких «бело-зеленых» атаманах и «батьках самостийных отрядов». Иных из этих атаманов он видел и допрашивал. Были среди них люди сильные, но недалекие, которые не знали, чего они хотят; были умные, но что-то обозленные, озверевшие от долгой безнаказанности и потерявшие человеческий облик; были «идейные», то есть ненавидевшие революцию, которая не давала им богатеть за чужой счет, и потому сжигавшие, сметавшие все, что было связано с народной властью.

Но, рассматривая снимок Антонова, вчитываясь в коротенькую справку, Аркадий Петрович не мог понять: как же этот человек с внешностью подросткового карлика, в прошлом обыкновенный уличный грабитель, а по тайным своим пристрастиям кокаинист, смог поднять восстание в громадной губернии?

Голиков читал дальше:

«Лозунг Антонова: «Не платите разверстку!»

Уничтожил около 240 коллективных хозяйств в губернии. Забрал 10 тысяч пудов хлеба, 250 тысяч пудов фуража, уничтожил противочумную опытную станцию. Убыток — несколько миллиардов рублей.

Его бандитами убито более 2000 сотрудников госучреждений и членов партии. В селе Оржевка зверски умерщвлены дети, члены детской коммуны, а их воспитательницы подверглись

¹ Кокаин — белый порошок из листьев кокаинового куста, растущего в тропиках. В начале века шуханне кокаина было распространенным видом наркомании.

сацистским пыткам. Приговаривая кого-либо к смерти, Антонов, рисуясь, кричит: «В яругу!»¹

На 1 января 1921 года в рядах Антонова насчитывалось около 50 000 человек. Они разделены на полки. В каждом есть суд, который приговаривает к розгам всех недовольных своими командирами антоновцев. Каждый полк имеет официальную должность палача для пыток и казни «врагов Антонова», то есть захваченных активистов, партийцев, бойцов Красной Армии.

Многие крестьяне вовлечены в банды Антонова страхом и силой, что является слабым звеном созданного им движения. Крестьян Антонов именует «лаптежниками» и время от времени разгоняет их по домам, потому что они не умеют воевать. Но если к нему приезжают или даже прилетают представители от Деникина или контрреволюционного центра, Антонов, чтобы повысить численность «народной армии», снова силой загоняет к себе в лес несколько тысяч мужиков.

...Со своими полками, насильно меняя и отбирая в деревнях у крестьян лошадей, Антонов способен проходить за день 90—120 километров, что недоступно нашей кавалерии. У Антонова хорошо поставлена разведка. Агенты ходят в кепках и фуражках с козырьком определенной формы и размера. Благодаря этому они друг друга узнают и оказывают помощь. Отлично налажена связь между селами. Например, если появляется красный отряд, останавливаются мельницы. И весть за короткий срок достигает самых дальних углов губернии.

...Цель Антонова хотя бы на день-два взять Москву... Тогда, полагает он, подымется против Советов все крестьянство...»*

В той же папке Голиков обнаружил копию разведдонесения. За два месяца до того, как Антонов начал свой мятеж, один из наших заграничных агентов сообщал, что 13 мая 1920 года в Париже Центральный комитет партии эсеров принял решение поднять восстание здесь, в Тамбове.

«Значит, «самостийный мятеж»,— понял Голиков,— волна «народного гнева» неторопливо готовилась в Париже? Господа в отлично сшитых сюртуках, сидя в ресторане и обсасывая косточки петуха, тушенного в красном вине, или жуя мясо омара по-американски, методично перечисляли, что должно быть на Тамбовщине взорвано и сожжено и кого в первую очередь следует убить. Но вряд ли эти планы,— подумалось Голикову,— были бескорыстными». И он не ошибся.

¹ Я р у г а — производное от слова «яр» — крутой берег или овраг.

В другой агентурной телеграмме за той же подписью «Гастон» говорилось: «ЦК эсеров рассчитывает, что в результате мятежа удастся свергнуть правительство в Москве, во главе страны окажутся эсеры, которые начнут решительные преобразования в России: откажутся от власти Советов, созовут Учредительное собрание, возвратят фабрики и заводы прежним владельцам, концессии — иностранцам. Поскольку мятеж задуман как «крестьянская революция», то предполагается, что на промышленные товары, производимые рабочими, будут установлены твердые цены, а за хлеб мужик сможет назначить любую цену — какую захочет. И рабочему придется платить...»*

Голиков поднялся со стула, прошелся вдоль комнаты. Она была маленькой — не разбежишься.

«Что же получается? — размышлял он. — Малограмотный Антонов, который не закончил даже уездного училища, Антонов, которого при нелепом его телосложении в детстве много дразнили и били, страдая комплексом неполноценности, мечтает хотя бы разок покрасоваться на Красной площади верхом на белом коне.

В это же время господа в сюртуках от лучших парижских портных, проев и прокутив увезенные из России фамильные бриллианты, мечтают получить обратно свои фабрики, имения и золотые прински.

Но какое до всего этого дело тамбовскому мужику, одному из самых бедных в России? Что позволило эсерам-эмигрантам так точно спланировать поджоги и разбой тут, в губернии? Положим, эсеры были знакомы с бесславным до недавней поры «индивидуальным экспроприатором» Антоновым. Однако имелось, видимо, что-то еще, сообщенное разведкой, что позволило им так уверенно действовать.

Но что же?»

Голиков пролистал еще немало бумаг — сообщения с мест о начале волнений, акты о последствиях совершенных диверсий, сводки о принятых ответных мерах и потерях с обеих сторон, пока не увидел номер газеты «Тамбовский пахарь» от 27 февраля 1921 года со статьей «Что сказал тов. Ленин крестьянам Тамбовской губернии».

В Воронеже, на совещании в штабе Орловского округа, Александров рассказал об этой встрече. Владимир Ильич хотел уяснить для себя подлинные причины мятежа. Многочисленные донесения и рапорты ответа на главные вопросы не давали. Тогда Ленин сказал, что желает сам побеседовать с крестьянами Тамбовской губернии. Его спросили:

— Это должны быть крестьяне, пострадавшие от мятежа?

Или, объективности ради, люди, которым мятеж личного ущерба не принес?

Ленин ответил, что хочет говорить с крестьянами, которые участвовали в мятеже. Ему нужно было услышать от них самих, что толкнуло мужиков к Антонову.

Указание было выполнено в точности. Под Кирсановым отряды Красной Армии нанесли Антонову серьезное поражение. Сотни мятежников попали в плен. Большинство из них после короткой проверки было отпущено домой. Но еще до того, как эта проверка была завершена, секретарь губкома Немцов отобрал из числа пленных несколько человек и поехал с ними в Москву.

Когда бывшие антоновцы прибыли в Москву, в Кремль, Владимир Ильич отложил все дела и предупредил, что беседовать с крестьянами будет один — без стенографистов и, естественно, без охраны. И пока за плотно закрытой дверью несколько часов шел разговор, в Кремле не на шутку поволновались. Говорят, что в кресле у кабинета не шелохнувшись сидел сам Феликс Эдмундович...

Это была удивительная по откровенности беседа. Вчерашние враги государства, находясь наедине с главой правительства, излагали ему свои обиды. Ленин терпеливо и жадно выслушивал горькую, но многое проясняющую правду, чтобы глубоко осмыслить ее и принять в короткий срок исторические для страны решения.

Со слов крестьян беседа была записана и опубликована в газете «Тамбовский пахарь» 27 февраля 1921 года. «Тов. Ленин принял нас в зале один, — говорилось в статье, — любезно поздоровался, пожал руки и пригласил сесть и сказал: «Крестьяне-тамбовцы, дорогие товарищи, объясните мне, какое у вас неудовольствие и что такое банда Антонова и что она делает».

Крестьянин Бочаров... объяснил: банда грабит советские хозяйства и потребиловки¹ и частных граждан, у крестьян отымает скот, лошадей, сбрую, фураж. А после приходят красные и тоже обижают крестьян.

Тов. Ленин записал это на бумаге и просил высказываться еще. Тов. Бочаров указал, что наложили непосильную продовольственную разверстку. Тов. Ленин спросил: «А в 1918 и 1919 годах вы без скандала выполнили разверстку?» Бочаров ответил: «Без скандала, только в этом году был сильный неурожай, и разверстку выполнить было невозможно».

¹ Потребиловка — имеется в виду магазин потребительской кооперации. Такие магазины на селе осуществляли (и до сих пор осуществляют) закупку сельхозпродуктов и продажу городских товаров.

Тов. Ленин дальше спросил: «А как относятся местные власти?»

Мы давали ему ответы, что агенты продорганов не считались ни с чем, требовали и брали, а власти не обращали внимания. И еще очень обидно, что, бывает, берут картошку. Мы ее свозим, где картошка гниет, и нас же опять заставляют очищать это место. Нам, крестьянам, очень жаль, что нашим трудом красноармеец и рабочий не пользуется.

Тов. Ленин сказал на это, что люди бывают не на своих местах. Причем просил нас выбирать в Советы самых лучших... и высказывать власти все нужды крестьянства. А если люди, избранные нами к власти, оказались негодными, то надо их смещать и заменять другими... а на после сказал: «Если теперь крестьяне будут обижены властью, сообщайте в губернию, а если губернская власть не примет во внимание, обращайтесь в Москву, в Кремль, ко мне. Можно письменно и лично».

Остальное Аркадий Петрович знал. По распоряжению Ленина здесь, на Тамбовщине, раньше, чем в других губерниях, продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Излишки крестьяне могли продавать на рынке. Знал Голиков и то, что на Тамбовщину прибывали один за другим составы с хлебом и картошкой — взамен того зерна, которое сжег и увез Антонов, и той картошки, которую сгноили горе-заготовители.

Известно было, что присланная Владимиром Ильичем комиссия ВЦИКа под председательством Антонова-Овсеенко разбирала все заявления и жалобы, которые поступали в ее адрес. И не было пощады тем, кто действительно оказался виновен в беззакониях и беспорядках. По примеру Ленина Антонов-Овсеенко сам беседовал с посетителями в огромной проходной комнате при открытых дверях. Попасть к нему на прием мог любой.

...Прочел Голиков и официальную справку о том, что задолго до начала мятежа сотни людей писали в Москву о безобразиях в губернии, но все письма, адресованные в столицу, перехватывались, а взамен направлялись вполне благополучные рапорты...

Тем временем из arsenалов и складов Тамбова исчезало оружие и боеприпасы. В губЧК проникали эсеры. К началу мятежа у Антонова во многих учреждениях Тамбова были свои люди.

ЗНАКОМСТВО С ТУХАЧЕВСКИМ

Через день Голикова вызвал к себе Тухачевский. Когда адъютант провел Аркадия Петровича в кабинет, Михаил Николаевич, склонив голову с ровным пробором, быстро писал за массивным столом, на котором были аккуратно разложены стопки книг, папки и отпечатанные на машинке бумаги.

Заметив, что в кабинет вошел посетитель, командующий быстро, по привычке, поднялся. Тухачевский был в солдатской гимнастерке без карманов, которая плотно облегла мощные плечи атлета. На груди поблескивал орден Красного Знамени. Впервые так близко увидев командующего, Голиков заметил, что лицо его утомлено, а веки покраснели и набухли, видимо, от постоянного недосыпания.

— Товарищ командующий, разрешите представиться: Голиков, бывший командир 23-го запасного Воронежского полка. Прибыл по вашему вызову.

Тухачевский недоуменно потер лоб. Он уже привык, что его самого считали непозволительно молодым, но сейчас перед ним стоял совсем еще подросток: розовощекий, с припухлыми губами и до дерзости смелым взглядом. Несмотря на ладно сидящий френч, шашку и кобуру, он в лучшем случае мог быть гимназистом-старшеклассником.

Четким движением Голиков вынул из сумки и положил на стол мандат с неразборчивыми подписями и бледной, размытой печатью.

Вместо обычных четырех часов Тухачевский спал в эту ночь всего полтора. И ощущал, что голова работает менее четко.

«Что-то здесь не так,— подумалось ему,— слишком молод командовать полком». А вслух произнес:

— Садитесь, товарищ Голиков. Сколько бойцов было в вашем 23-м полку?

— Четыре тысячи. Без малого.

— Сколько же вам лет?

— Семнадцать.

— Как давно вы служите? Полгода? Больше?

Голиков уловил иронию.

— Я служу с восемнадцатого.

— Три года? — не удержался Тухачевский.

— Два с половиной. Записался в Красную Армию в четырнадцать лет.

— Но ни в одну армию так рано не берут. Даже у нас.

— Записываясь, я прибавил себе два года.

— Где вы начинали службу?

— В Арзамасе.

— И сразу командиром?

— Нет, сначала был адъютантом командира коммунистического батальона.

— Но в коммунистические батальоны записывают только членов партии.

— С тринадцати лет я был связным в большевистской организации. В четырнадцать меня приняли в партию. Вот мой партбилет. Прошел курс военного обучения. В пятнадцать закончил Шестые командные курсы в Киеве.— Он достал из кармана краскомовское удостоверение.— Командовал взводом, полуротой, ротой. Был контужен, ранен, перенес тиф. Закончил школу «Выстрел» по тактическому отделению. Досрочно отозван из школы по указанию ЦК партии...

— Достаточно, товарищ Голиков. Извините. Я только ночью вернулся. Мне о вас докладывали, но я не успел ознакомиться с вашими документами... Богатая у вас биография...

— Обыкновенная, товарищ командующий.

Тухачевский с интересом посмотрел на собеседника. Семнадцать лет! Отличная выправка. И трудно поверить, что всего за два с половиной года этот молодой человек прошел путь от мальчишки-школьника до командира полка Красной Армии. Когда-то людям на это требовалась целая жизнь.

— Я пригласил вас,— переходя на теплый дружественный тон, сказал Тухачевский,— познакомиться. Мятеж в целом идет на убыль, но работы еще много. Прячутся в лесах главным образом те, кому уже нечего терять. Где они прячутся, сколько их там, что они замышляют, этого мы чаще всего не знаем. И потому первейшая задача — сделать так, чтобы банды не получали подкрепления, чтобы их перестали снабжать продовольствием и фуражом. Полк, в который мы вас направляем, не совсем благополучен. Он постоянно нес большие потери, не причиняя особого ущерба противнику. Мы послали туда комиссаром Сергея Васильевича Бычкова. Он местный. Прошел всю мировую. Когда начался мятеж, Бычков быстро сориентировался в обстановке, собрал вокруг себя энергичных людей и оказал бандгруппам смелое и решительное сопротивление. В 58-м полку Бычков быстро разобрался в обстановке и обратил наше внимание на странные действия комполка Загулина.

— Загулин арестован?

— Пока только смещен. Подробнее вам обо всем расскажет сам Бычков. Если же возникнут вопросы, милости прошу...— И командующий встал, давая понять, что беседа закончена.

На улицу Голиков вышел расстроенный. Ему казалось, что он уже достаточно возмужал, но каждое новое назначение влекло за собой беседу наподобие той, которая закончилась четверть часа назад.

Он болезненно воспринял ее, потому что к Тухачевскому у Голикова было совершенно особое отношение. Если удавалось хотя бы издали увидеть Михаила Николаевича, Голиков всматривался в его чуть полное, удивительно красивое лицо, желая разгадать тайну особенного дарования Тухачевского, без которого не могла обойтись революция.

В «Выстреле», на занятиях по тактике, целых три лекции были посвящены Тухачевскому, как выдающемуся полководцу современности. Осуществленные им операции тут же изучались и становились классикой военного искусства.

На тех же занятиях Голиков узнал, что Михаил Николаевич из древнего дворянского рода. В канун мировой войны закончил в Москве знаменитое Александровское офицерское училище (в котором теперь размещался Реввоенсовет Республики). По успехам, как один из первых, он имел право поступить в гвардию и сделать блестящую карьеру, но Тухачевский выбрал рядовой пехотный полк. Когда началась мировая война, он попал на германский фронт. Вместе с солдатами уходил на разведку в глубокий вражеский тыл и за полгода — единственный в русской истории случай — удостоился шести боевых наград. Потом Тухачевский попал в немецкий плен, бежал, с началом революции примкнул к восставшему народу. Проявил незаурядные способности. Молодым офицером заинтересовался Ленин и после беседы с ним назначил бывшего поручика Тухачевского командующим Первой армией Восточного фронта. Михаилу Николаевичу было тогда двадцать четыре года.

Первая армия освободила Поволжье и большую часть Урала. Командуя Пятой армией, Тухачевский завершил разгром Колчака. Война с панской Польшей принесла Тухачевскому мировую известность. Белополяки напали на Советскую Республику весной 1920 года, получив от Англии и Франции вооружение, боеприпасы, обмундирование и продовольствие. А Россия была обескровлена.

Когда Тухачевский принял командование Западным фронтом, многие регулярные части невозможно было направить в бой, потому что красноармейцы ходили босиком, не хватало даже лаптей. И все же Тухачевский за короткий срок сумел перейти от обороны к наступлению. Осенью 1920 года он достиг предместий Варшавы. Главком С. С. Каменев направил Тухачевскому приказ взять столицу Польши к 12 сентября.

Победы Красной Армии привели в революционное движение рабочий класс всей Западной Европы. Но пять недель непрерывного наступления ослабили наши войска. Посланные на помощь Первая конная и Двенадцатая армии опоздали. Взять Варшаву не удалось. Однако впечатление, произведенное мощью Красной Армии, оказалось столь велико, что мир с Польшей был заключен на самых выгодных для России условиях.

Голиков жалел, что в декабре 1919-го его ранило, он не вернулся на Западный фронт и не принял участия в легендарном марш-броске на Варшаву.

КОМАНДИР ОТДЕЛЬНОГО ПОЛКА

В тот же день Тухачевский подписал приказ. Голиков был назначен командиром 58-го отдельного полка особого назначения. Слово «отдельный» означало, что это самостоятельно действующее боевое соединение. В разных непредвиденных обстоятельствах все решения командир должен был принимать сам.

Еще полк именовали Нижегородским, поскольку формировался он в Нижнем Новгороде¹, неподалеку от Арзамаса. И было вполне вероятно, что Аркадий Петрович встретит среди командиров и красноармейцев своих земляков. По странному совпадению за короткий срок Голиков получал уже второй полк, откуда только что убрали командира. Удастся ли навести порядок и тут?

С этими мыслями Голиков доехал в кабине грузовика до Моршанска, где теперь ему предстояло служить. По дороге шофер на минуту остановился и показал могильный холмик со звездой вместо привычного креста.

— Здесь похоронен Чичканов,— пояснил шофер,— председатель исполкома. Первый местный руководитель, убитый Антоновым.

Голиков постоял возле холмика, огляделся вокруг. Темнело. Выложенная булыжником дорога была пустынна. По краям росли редкие деревья. Устроить засаду здесь можно было только в полном мраке или даже закопавшись в землю...

В Моршанск Голиков прибыл поздно вечером. Он почувствовал себя утомленным и попросил шофера отвезти его

¹ В 1928 году Нижний Новгород был переименован в город Горький.

в гостиницу. Там он выспался, надел утром парадную форму и отправился разыскивать штаб своего полка.

Аркадий Петрович миновал площадь, по краям которой стояли приземистые желтые здания гостиного двора. Несмотря на ранний час, многие лавки были открыты. На углу Лотиковской и Почтовой улиц Голиков увидел двухэтажное каменное здание. Это и был штаб 58-го полка.

Голиков предъявил часовому документы. Боец, козырнув, пропустил Аркадия Петровича внутрь. За проходной стояла вешалка, совершенно, правда, пустая. Голиков снял с себя шашку, сумку, пояс с маузером, оставил на вешалке шинель, затем пристегнул все снаряжение обратно.

И пока он раздевался, а потом неторопливо причесывался, глядя в обломок зеркала, прикрепленный гвоздиками к стене, из проходной выскользнул боец, сапоги его торопливо застучали по ступеням лестницы. Голиков сделал вид, что ничего не заметил. Он поправил ремни, новую шашку в блестящих ножнах с металлическим колесиком на конце, так что ее можно было просто катить по полу, и, легонько позванивая шпорами с серебряными звездочками, которые нарочно достал из чемодана в гостинице, начал неспешно подниматься на второй этаж.

Он медлил, волновался. Казалось бы, глупость: он воевал уже третий год и навиделся всякого. Но стоило ему получить новое назначение, и он испытывал робость: «Справлюсь ли?» А сейчас вдобавок ему хотелось произвести солидное впечатление на Бычкова, который предотвратил катастрофу в полку.

На лестнице с точеными перилами было ступеней пятнадцать, но, пока Голиков их одолел, сверху, хлопнув дверями по обеим сторонам площадки, пронеслось мимо него человек шесть. И каждый с любопытством, удивлением и даже испугом глазел на него, уже зная, кто он и для чего прибыл.

Комиссар полка Бычков, предупрежденный часовым, ждал нового командира у себя в кабинете. Когда Голиков постучал в дверь и вошел, он увидел высокого темноволосого человека лет двадцати восьми с изогнутой трубкой в зубах. Аркадия Петровича поразило напряженное выражение лица комиссара, словно Бычков по самому первому впечатлению желал составить себе исчерпывающее представление о новом командире. От беспощадной прямооты взгляда, в котором читалось: «Что ты умеешь?.. Что можешь?..», Голикову сделалось не по себе, но он четким шагом, придерживая саблю, прошел через комнату; звякнув шпорами, вскинул руку, представился и, вынув из сумки заранее приготовленный листок приказа, четким

движением (адъютантская школа) протянул его Бычкову. Отступив на шаг, снова звякнул шпорами. В такт шпорам звякнула сабля.

Комиссар, недвижно наблюдавший за ним, читать бумагу не стал и положил ее возле чернильного прибора, а затем протянул руку, поздоровался и показал на жесткий венский диван возле окна.

— Садитесь, пожалуйста, товарищ Голиков... Простите, как вас зовут?

— Аркадий...

— А по отчеству?

— Аркадий Петрович,— смутился Голиков.

— Очень рад с вами познакомиться, Аркадий Петрович. Мы давно вас ждем. Полк уже порядочное время без командира. Я сегодня опять звонил комиссару боеучастка Сергееву. «Сколько,— спрашиваю,— еще ждать?» — «Едет,— ответил,— Тухачевский сказал: «Бывалый, опытный». Я, признаться, ждал такого солидного. А вы, оказывается, еще очень молоды. Это не упрек,— поспешно добавил комиссар.— А теперь скажите, как добрались. На квартире своей ещё не были?

Голиков смутился. Ему было приятно, что его ждали. Обрадовал добрый отзыв Михаила Николаевича. И захотелось ответить, что он тронут, что на квартире не был, но что-то во взгляде комиссара его остановило. И он просто сказал:

— Это все мелочи. Не будем терять время. Я бы желал знать, какая обстановка в полку.

— Я здесь недавно, с мая,— начал Сергей Васильевич Бычков.— Полк, когда я сюда поступил, насчитывал две с половиной тысячи бойцов при ста двух командирах, пулеметной роте и кавалерийской разведке в девяносто сабель. Сейчас в нем на тысячу человек больше. По приезде я тут же пошел на базар. Это, можно сказать, экономическая и политическая биржа. И по тому, кто и чем торгует, можно понять многое. Гляжу, полно красноармейцев. Торгуют кусочками сахара, консервами, кнутами, женскими кофтами, ситцевыми платками. Я приказал оцепить рынок, задержать красноармейцев. Выяснилось, что это были наши бойцы — из недавно присланного резервного подразделения. С одним у меня произошла беседа.

«Откуда сахар?»

«Мой паек. Менял на табак».

«А консервы?»

«Опять мой паек. Получил взамен котлового довольствия. Что в котел кладется — никто не видит. А тут каждый получает свое. Хочет — ест. Не хочет — меняет».

«Но ведь если ты меняешь, то сам остаешься голодным?»

«Зачем? Хозяйка, если попросить, накормит. А то как же? Для того и на квартире стою. Вон даже в газете пишут: «Надо прокормить Красную Армию».

«А салопчик бабий ты тоже вместо котлового довольствия получил?»

«С салопчиком, врать не буду, вышел грех».

Парня с салопчиком отвели к хозяйке, а затем определили в штрафбат, но я серьезно задумался. Отмена котлового довольствия — это нарушение приказа главкома. А торговля пайком — толчок к стремительному развалу дисциплины. Тем более, как я узнал, полк еще недавно имел хорошо налаженное питание.

Я пошел к командиру полка Загулину. Он ответил:

«Мне некогда».

Я говорю:

«Но что это за бойцы, которые бегают по гарнизону с кульками?»

«Я лично вижу в этом преимущество, — ответил Загулин. — Боец несет паек в дом, где он стоит. Делится с семьей, которая его приютила. Это укрепляет смычку полка с местным населением».

От такой железной логики я даже растерялся, но Загулин проговорил все это гораздо старательней, чем мог бы позволить себе занятой и абсолютно уверенный в своей правоте человек. Ушел от Загулина озабоченный. У меня сложилось впечатление, что он хладнокровно и продуманно разваливает полк, но неоспоримых доказательств у меня не было.

Кинуться к начальнику боевого участка? Загулин и ему ответит, что укрепляет смычку. Тогда своей властью я запретил выдачу сухого пайка и ввел обязательное горячее питание, о чем поставил в известность Загулина. Он ответил, что не возражает, но бойцам, словно в издевку, начали привозить сущие помои — без сала, без мяса, даже без соли. Это повторилось и на второй, и на третий день. Мне стало очевидно, что и приготовлением помоев тоже кто-то руководит. Бойцы снова стали требовать выдачи сухого пайка, и моя затея провалилась.

А тут я встретил одну свою знакомую. Упомянул в разговоре с ней Загулина.

«Это какой же Загулин? — поинтересовалась она. — Похож на калмыка, высокий, вот здесь шрам?.. Так это ж бывший частный пристав».

«А ты не путаешь?» — усомнился я.

В тот же день я поднял документы Загулина. Я полагал, что он скрыл свое прошлое, но Загулин писал во всех анкетах,

кем был до 1917 года. Я понял, что имею дело с умным человеком, от которого могу ждать любых сюрпризов. К несчастью, ждать пришлось недолго.

Прислали пополнение — сорок человек. Их нужно было перебросить на другой край уезда. Я сказал Загулину:

«Это лучше сделать с наступлением темноты».

Он кивнул. Я не проверил. Ребята отбыли рано утром, а вечером в новом, только полученном грузовике привезли убитых: бандиты устроили засаду.

Я не имел оснований обвинить Загулина в том, что он сообщил Антонову о предстоящем переезде новобранцев, но у меня было основание обвинить его в безразличии к судьбе бойцов. Я подал рапорт, что не доверяю Загулину. Его отстранили от должности, и я начал ждать нового командира.

Голиков провел рукой по своим волосам. Они отросли, и он начал их смачивать и зачесывать на пробор, но когда они подсыхали, то торчали ежиком. Лицо его горело. Он был ошеломлен. Еще недавно он наводил порядок в 23-м полку, но то был резервный полк, в нем можно было в последнюю минуту что-то поправить, как он не дал в последнюю минуту посадить в поезд зараженную вшами и тифом роту. А здесь, на Тамбовщине, фронт. Ошибка может обернуться еще одним грузовиком трупов. Особенно если внутри полка тайный саботаж.

— Судьба полка, Аркадий Петрович, зависит теперь от вас, — прервал его мысли Бычков. — От того, как вас примут, как сумеете себя поставить. Тем более вы такой молодой. Поэтому, чтобы не давать поводов для насмешек, снимите с себя, пожалуйста, часть вашей амуниции. Пока вы не в бою, вам не нужен артиллерийский бинокль, не обязательно вам носить и такую длинную шашку, а тем более мушкетерские шпоры.

Голиков опустил глаза и несколько мгновений не решался взглянуть на комиссара.

Позднее Голиков узнал: Сергей Васильевич Бычков, крестьянский сын, действительно родился в этих местах. Он был на десять лет старше Голикова. Прошел солдатом всю первую мировую. В восемнадцатом году вступил в партию. Выбирался делегатом на VIII Всероссийский съезд Советов. Здесь познакомился с Владимиром Ильичем Лениным — но по необычному поводу.

Бычков вместе с другим моршанским делегатом приехали

на съезд в валенках. А началась оттепель. И Бычков с напарником решили попросить у Ленина сапоги — на время. Владимир Ильич велел выдать насовсем. И долго расспрашивал, что происходит на Тамбовщине.

Если Голиков в первые дни пребывания в полку ощущал поддержку и не чувствовал себя одиноким, то обязан был этим Бычкову. Комиссар ни разу первым не вошел в дверь. На совещаниях в полку не произнес первым ни единого слова. Если кто из бойцов по старой памяти в присутствии Голикова обращался к Бычкову, комиссар деликатно поправлял: «Пожалуйста, к командиру».

Однажды Аркадий Петрович шел с комиссаром в третью роту. По дороге Голиков где-то задержался. И комроты, думая, что полковой командир не слышит, спросил у комиссара:

— Что за мальца нам прислали?

— Нового командира, — ответил Бычков, — нам прислал Тухачевский. Кого ни будь Тухачевский присылать бы не стал. Голиков молод по возрасту, но зрел по опыту. Это бывалый командир. Имеет заслуги. И вы должны объяснить это вашим бойцам, чтобы не вышло насмешек.

СТОЛКНОВЕНИЕ С БАНДОЙ КОРОБОВА

В ночь на 21 июля 1921 года из штаба 5-го боевого участка поступил приказ: по сведениям войсковой разведки, в районе села Хmeliно появилась банда Коробова численностью до 300 всадников. В этой связи командиру 58-го отдельного полка предписывалось: к 5 часам утра 21 июля выслать в село Перкино команду разведчиков — не менее 50 всадников при двух пулеметах — и произвести обследование местности. «В случае обнаружения банды, — говорилось далее в приказе, — ее следует, не дожидаясь особых распоряжений, немедленно атаковать и уничтожить»*.

Коробов принадлежал к числу наиболее известных помощников Антонова. Он и шагу не делал без тщательной разведки, умел незаметно подобраться для неожиданного и точного удара. А если ситуация становилась для него опасной, Коробов так же внезапно уводил банду в заросли, где преследование становилось трудным. Он даже разработал особую тактику и действовал непременно вблизи леса.

Появление банды Коробова всерьез встревожило штаб 5-го боеучастка, куда входил и 58-й полк. Видимо, этот умелый

и ловкий подручный Антонова получил серьезное задание.

Разведотряд Голиков выслал на рассвете. Километрах в двух от деревни Хмелино на лесной дороге разведчики неожиданно столкнулись с бандой. Около ста антоновцев ехали верхом. Внезапность встречи объяснялась тем, что приближения бандитского отряда красноармейцы не услышали. Позднее обнаружилось, что люди Коробова обмотали копыта своих лошадей тряпками, а у некоторых коней были специально сплетенные лапти.

Несмотря на численное превосходство, бандиты растерялись: встречи с разведчиками они тоже не ждали. Открыв беспорядочную стрельбу, бандиты ринулись в глубь леса. Разведчики ударили вдогонку из винтовок, выбив из седел двоих.

Когда бандитов подобрали, они были мертвы, но местные жители узнали убитых: это были отъявленные негодяи Меркушев и Чекмарев, даже среди антоновцев они славились жадностью при дележе добычи и отменной жестокостью с населением.

Прочитав сообщение о стычке, Голиков убедился, что сведения войсковой разведки в целом были точны. Смущало лишь одно: в разведсводке 5-го боеучастка говорилось, что у Коробова до трехсот всадников. Командир разведотряда Чистихин сообщил, что им повстречалось не более ста. Была ли первая цифра ошибочной или разведчики столкнулись только с частью отряда?.. Но сколько бы ни насчитывала банда Коробова, ее требовалось уничтожить.

Во второй половине того же дня поступила новая шифровка, что в районе Николаевского кордона, в десяти верстах от села Перкино, банда собралась в полном составе. И была названа новая цифра — двести сабель. Голиков взял сто кавалеристов и отправился на соединение с отрядом разведчиков.

К лесничеству оперативный отряд Голикова подобрался к шести вечера. Поначалу было намерение дожидаться темноты и тогда ударить по банде, но в темноте и атакующим трудней. Будь то деревня — другое дело. А здесь — лес. Пусть не очень густой, с широкими просеками, а все-таки... И потом, в лесу раньше темнеет.

Голиков позвал к себе командира конной разведки Федора Чистихина. Они вместе подсчитали, сколько понадобится времени, чтобы окружить лесничество. Операция должна была начаться через пятьдесят минут. Голиков попросил:

— Обход делайте как можно скрытнее, иначе Коробов уйдет, не приняв боя.

Те пятьдесят минут, которые Голиков отвел для занятия

исходных рубежей, текли медленно и напряженно. Это была первая большая операция, в которой он участвовал, вступив в командование 58-м полком. И сегодня должно было решиться, примут ли его как боевого командира бойцы; примут ли остальные командиры; наконец, примет ли Бычков, который с чужих пока что слов говорил: «Голиков молод по возрасту, но зрел по опыту».

Положение осложнялось тем, что с этой бандой полк сталкивался и раньше. Но Коробов либо, не приняв боя, прорывался к лесу, либо успевал в короткой стычке ранить несколько наших бойцов, и в 58-м полку Коробова с его шайкой побаивались.

Голиков вынул из кармана большие серебряные часы. Время, которое он отвел на обход, истекало. Двое спешенных разведчиков, возвратясь из лесничества — это было несколько домиков и сараев, — сообщили:

— Там все спокойно. Бандиты что-то варят. Пасутся стреноженные кони. Часовые покуривают. Похоже, никого не ждут. Так что самое время.

«Это хорошо, что там кони, — подумал Голиков. — Можно будет ближе подобраться».

Он снова взглянул на часы со светящимися стрелками. Прислушался — тихо. И кивнул Чистихину, чтобы тот начинал. Говорили, это был отчаянный парень. Если требовалось что узнать, или скрытно подобраться к бывшему помещицкому имению, где располагались бандиты, или совершить неожиданный налет, чтобы выявить силы противника, командир разведчиков всегда умел найти заброшенную дорогу или тропинку через овраг или отыскивал брод и шел через речку...

Теперь, когда отряд беззвучно тронулся и бойцы озабоченно замкнулись, Голиков волновался больше всех — и по той причине, что в бою легче действовать самому, чем наблюдать за другими, а главную роль сегодня он отводил разведчикам; и по той, что он вполне допускал: Чистихин может оплошать или его ранят, и тогда волей-неволей придется взять командование на себя.

Голиков не представлял, как в минуту боя к нему отнесутся разведчики, которые привыкли подчиняться только своему лихому командиру. Тем более, когда люди остаются с глазу на глаз с опасностью, начинают действовать свои законы. И Голиков дал себе слово без крайней нужды не вмешиваться.

Кончился реденький лесок. Дальше вела прямая дорога. Голиков придержал коня, ожидая, когда подъедут остальные.

Чистихин спросил шепотом:

— Начнем, что ли?

Голиков ответил:

— Начинайте.

Чистихин шепнул:

— Приготовить бомбы.

Его приказ шелестнул по рядам вмиг повеселевших всадников. Негромко щелкнули вставляемые запалы, и конники тронулись с места. Отряд был разделен на три части. С Голиковым и Чистихиным двигалась полусотня разведчиков, которым отводилась главная задача.

Узкая лесная дорога скоро кончилась. Открылась большая поляна с постройками. У телег, у скирд жевали сено и свежескошенную траву кони. Бандиты не отпускали их пастись, чтобы в любую минуту они были под рукой. Одно было плохо: двое дозорных, посланных вперед Чистихиным, не обнаружили часовых. Или их не было вовсе? Или они искусно прятались? Это беспокоило Голикова. И не зря: с крыши сеновала ударили выстрелы.

Чистихин по-разбойничьи пронзительно свистнул и, дав шпоры коню, ринулся вперед. За ним — остальные. Стреляя на ходу, они ворвались в лесничество. До ближайших строений оставалось еще больше ста метров, когда Чистихин швырнул первую гранату: он любил шум и грохот.

«Пусть,— писал Гайдар позднее в «Школе»,— пули, выпущенные на скаку, летят мимо цели, пусть бомба брошена в траву и впустую разорвалась... Было бы побольше грома, побольше паники! Пусть покажется ошарашенному врагу, что неисчислимая сила красных ворвалась в деревеньку. Пусть задрожат пальцы, закладывающие обойму, пусть подавится перекошенную лентою наспех выкаченный пулемет...»

Из сараев, сеновалов, изб стали выбегать бандиты. Отстреливаясь, они вскакивали на неоседланных коней, надеясь убраться подобру-поздорову, но с противоположной стороны, а затем слева и справа тоже донеслись выстрелы и гранатный грохот. Это вступили в бой еще две группы сводного отряда. Раздались истошные крики: «Окружили!.. Красные окружили!»

Сам Голиков не стрелял и не кидал гранат. Он вбирал в себя картину суматошного боя, догадываясь, что впереди предстоит еще немало подобных столкновений, и надеясь вечером, когда останется один, все по деталям разобрать и обдумать.

Результаты боя были такими: бандиты оставили шесть

убитых. А раненых — сколько? — увезли с собой. Отряд захватил три лошади, шесть сабель, двадцать пять винтовок, две тысячи патронов. С нашей стороны потерь не было. И еще — Голиков был доволен, что не лез очертя голову, не рвался подменить Федора Чистихина, который, как умел, выполнил поставленную задачу. С этим Аркадий Петрович и вернулся в Моршанск.

Но дня через два, когда восторженные впечатления улеглись, Аркадию Петровичу стали приходиться совсем иные мысли.

«Что же получается? — думал он. — Сначала работала войсковая разведка. Потом я послал свою, и она произвела разведку боем. Затем мы собрали сводный отряд и отличным образом — я отдаю должное Чистихину — провели операцию, не потеряв ни одного человека. А в итоге уничтожено — считая Меркушева и Чекмарева — всего лишь восемь бандитов. В лесу же их тысячи. Значит, надо провести сотни таких операций, чтобы не осталось ни одного антоновца? Сколько же лет на это уйдет?»

Но обожди, — сказал себе Голиков. — Желающих идти к Антонову день ото дня все меньше. Основная часть его войска — люди, загнанные в банду под страхом смерти. Мужичу такому антоновские агитаторы говорят: «Ты еще не сделал ни одного выстрела, но дороги домой тебе больше нет. Ты теперь до могилы тамбовский волк». А какой он волк, если он мечтает о доме, о работе на своем наделе? Значит, если увести таких из леса, останутся самые отпетые, которым нечего терять. Но как сделать, чтобы эти подневольные мужики стали сами уходить из леса?»

И он поехал в Тамбов к Тухачевскому.

— Я читал донесение о вашем бое с бандой Коробова, — сказал командующий.

— Коробов потерял всего восемь человек, — сокрушенно ответил Голиков.

— Мы располагаем агентурными сведениями, — возразил Михаил Николаевич, — у Коробова много раненых. И есть еще один важный психологический момент: при Загулине полк в любой стычке нес потери. У Загулина был особый талант терять людей. А вы сумели в ночном бою не подставить под пулю ни одного человека. — Тухачевский встал и сделал несколько шагов по кабинету, Голиков тоже поднялся. — Сидите, сидите, — сказал Тухачевский и, положив руку ему на плечо, мягко, но сильно надавил.

Голиков опустил обратно в кресло.

— В бандах много случайного народу, товарищ командующий. Если бы помочь им выйти...

— Так... любопытно,— оживился Тухачевский.— И как вы себе это представляете?

— Я бы напечатал в газетах объявление: «Кто попал в банду против своей воли, кто ни в чем серьезном не замешан и не повинен, может выйти из леса. После короткой проверки он будет отпущен домой». И в листовках то же напечатать. Разнести по селам и разбросать по лесу.

— Насчет газет и листовок — это в принципе неплохо,— согласился Тухачевский,— но если каждый станет сам определять, кто больше виноват, кто меньше, ничего хорошего из этого не выйдет.

— Почему? Ведь каждый знает, натворил он что-нибудь или нет.

— Допустим, вы считаете, что попали в банду силой и ничего худого никому не сделали. А я подозреваю, что за вами числится много темных дел. Кто решит наш спор? Суд? Комиссия ВЦИК под председательством Антонова-Овсеенко?

— Зачем трогать комиссию ВЦИК? Поручить сельсовету. Они своих знают.

— Допустим,— повеселел Тухачевский, который любил, когда с ним спорили,— я вышел из леса. Вы — председатель сельсовета. На основе каких документов и сведений вы будете решать мою судьбу, если главные свидетели останутся в лесу?.. Молчите?! — довольный спросил он.— И вот, пока вы так будете молчать и думать, остальные будут продолжать сидеть в лесу и совершать налеты. А у страны нет средств продолжать эту бессмысленную и разорительную войну.

И еще. Допустим, вы, председатель сельсовета, постановили, что какой-нибудь Ведерников не виноват. И тот занялся своим хозяйством. Вдруг приходит письмо, что Ведерников сжег полгода назад сарай с семенным зерном совхоза. Как это проверить? Как после этого относиться к Ведерникову — считать его несправедливо обиженным или вовремя не разоблаченным?

— Значит, я предлагаю нелепую вещь? — упавшим голосом спросил Голиков.

— Почему? — искренне удивился Тухачевский.— Я проверю на вас свои доводы. Поначалу я думал, как вы. А потом понял: если я хочу, чтобы они вышли, то нельзя делить антоновцев на сильно и несильно виноватых. Надо позволить любому из них — в заранее определенный день — выйти из леса. Кто выйдет, назовет себя и положит винтовку, получает право тут же, без всякого следствия, отправиться к себе домой.

— А если выйдет душегуб? — спросил Голиков, которому показалось, что и он нашел слабое место в рассуждениях командующего. — Его тоже отпустить домой без всякого следствия?

— Я полагаю, что главные душегубы останутся в лесу. Антонов недавно прислал письмо, в котором предложил считать его не главарем банды, а политическим противником. Чтобы избежать суда. Мы на это не согласились. Но если пожелает выйти из леса кто-либо из душегубов помельче... Что ж, пусть лучше косит и пашет, чем он будет по-прежнему сжигать и убивать.

— А если такой душегуб выйдет, днем будет пахать, а ночью помогать Антонову? А мы будем думать, что он мирно трудится.

— В любом серьезном деле неизбежны издержки, — погрустнев, сказал Тухачевский. — Возьмем бывших царских генералов. Были горячие головы, которые полагали, что всех захваченных генералов надо расстреливать. И уж ни в коем случае не брать на службу. А Владимир Ильич рассудил иначе. Он предложил отпускать генералов под честное слово, что они против нас не станут воевать. Или принимать под то же честное слово к нам на службу... Я вижу на вашем лице, Аркадий Петрович, изумление. Но в русской армии существовал кодекс чести. Когда офицер давал честное слово, оно считалось надежней любых письменных гарантий. Если обнаруживалась ложь или офицер совершал иной порочащий поступок, суд чести изгонял виновного из полка. Вернуть доброе имя такой офицер мог, только пустив себе пулю в лоб.

— И все-таки одни генералы, дав честное слово, пошли воевать против нас, а другие принялись тайно вредить, — заметил Голиков.

— К несчастью, так, — согласился Тухачевский. — Прогнившая монархия разрушила многие нравственные устои... Но вы забыли о тех русских офицерах и генералах, которые согласились верно служить народу и помогли нам создать боеспособную Красную Армию. Они с большой пользой трудятся до сего дня. Следовательно, в целом решение Владимира Ильича было и человечным, и дальновидным... Что касается вашего предложения, то я, к сожалению, не считаю его перспективным.

— Почему?

— Мы несколько раз объявляли «прощенные дни», но вышло мало народу. Очень велико влияние агитаторов Антонова.

— Давайте пошлем своих.

— Переодетых? Люди Антонова их сразу выловят.

— Зачем переодетых?.. Просто пошлем толковых бойцов по деревням. Вести такие беседы в лесу, конечно, сложно. А в деревнях никто не помешает. Что такое «прощеный день», нужно объяснять в семьях. Семья должна звать мужика домой из леса.

— Такой поворот мне нравится. Ваше предложение мы обсудим.

...Через два дня в Моршанск поступила шифровка: «Комполка 58 Голикову. Приступайте. Желаю удачи...»

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВАСЬКИ ШИЛОВА

Голиков сам написал листовку. Сначала она была многословная. Он убеждал мужиков, что им лучше вернуться домой, но затем понял: не надо никого убеждать. Надо коротко и четко объяснить: кто выйдет из леса в точно назначенный день и сдаст оружие, тому полное прощение.

Листовки были отпечатаны. Голиков раздал их командирам небольших, по восемь — десять сабель, отрядов и разослал отряды по деревням. Задание было такое: останавливаться в домах, чаевничать с хозяевами, вести неспешные и терпеливые беседы на любые темы (для чего бойцов специально готовили). Если же, советовал Голиков, зайдет разговор об Антонове и людях, которые с ним, и о том, могут ли они выйти, нужно тоже не спеша все объяснить, а под конец вынуть листовку, пусть даже слегка помятую, будто случайно оказавшуюся в кармане...

Чтобы красноармейцы не выглядели нахлебниками, каждый отряд получил хороший сухой паек и несколько банок консервов — «для представительства». И еще по маленькому пакетику колотого сахара, которого в деревнях не видели, считай, с 1914 года.

А поскольку села выбирались для бесед самые бандитские, то малым этим отрядам комполка наказывал: «Ночуйте все вместе, лучше в сараях, нежели в избах. И часовые пусть не спят. А то вы можете не проснуться...»

С одним таким отрядом Голиков поехал сам. В деревнях в лицо его не знали. По возрасту он и вовсе не походил на командира. И хотя командующий боевым участком Пильщиков возражал, Голиков убедил его, что такая поездка необходима, и сослался на беседу с Тухачевским.

В последнюю минуту от верного человека узнали, что

в деревне Пахотный Угол два месяца назад сын Шиловых, Васька, махнул дуриком в банду. Но, пожив в сырой землянке, попав за какую-то провинность под бандитский дисциплинарный суд и получив пятьдесят ударов розгами, Васька сильно захотел домой, однако боится, что за пребывание в лесу его накажут еще хуже.

Из того же источника стало известно, что парень Васька неплохой. Никаких злодейств не совершал. И коль скоро нужно было, для почину, кому-то помочь выйти из лесу, то Васька для этого вполне подходил. А следом за ним могли потянуться и другие «лаптежники», как их презрительно называл Антонов.

В Пахотный Угол отряд Голикова прибыл к вечеру. Деревня выглядела пустой. То ли народ еще не вернулся с полей и огородов, то ли, завидя конников, попрятался. Молчали даже собаки. И Голиков с болью подумал, что жизнь тамбовского крестьянина сейчас немыслимо опасна и трудна. Бандиты требуют, чтобы их кормили, давали лошадей, не то будет плохо. А Советская власть за хлеб, отданный бандитам, по головке не гладила тоже. Как тут быть мужику с семьей, с каким ни на есть хозяйством, которое не бросишь, от которого не убежишь?..

Единственным признаком того, что село обитаемо, были три гуся, которые мирно отдыхали в тени у дощатого забора, за ним виднелся недавно поставленный дом. Рядом высился колодезный журавль, он служил точной и безошибочной приметой.

Когда отряд поравнялся с колодцем, Голиков скомандовал: — Стой! Нужно напоить коней.— И добавил: — А ну, ребята, попросите у хозяев пару ведер. Да скажите, мы тут же вернем.

Голиков произнес все это громко, имея основание думать, что за действиями отряда непременно кто-нибудь следит.

— А вот справный дом,— сказал Коля Кондратьев, показывая на избу Шиловых — новую, просторную, обшитую тесом. Приметы дома тоже были тщательно обрисованы разведчиками.

— Зайди, Кондратьев, хоть в эту избу,— позволил командир.

Кондратьев был арзамасцем, школьным товарищем Голикова, секретарем уездной комсомольской организации. Вместе с Шуркой он встречал Аркадия у входа в комсомольский клуб, когда Голиков впервые после ранения пришел туда. Вместе с Ваней Персоновым Кондратьев дежурил в театре в злосчастный вечер объяснения с Зоей. В армию Николай записался доб-

ровольцем и стал рядовым 58-го полка, куда командиром назначили Голикова. Из дальнего подразделения Аркадий перевел Кондратьева в разведроту в Моршанск. Каждый свободный вечер они проводили вместе. Голиков истосковался без друзей и близких. Он подробно расспрашивал о маме, сестришках, тете Даше, к которым Николай перед отъездом забегал прощаться, спрашивал о знакомых и, разумеется, о Зойке...

— У Шурки с Зойкой никакой дружбы не получилось, — сдержанно обронил Кондратьев. — После твоего отъезда Зойка ходила совершенно потерянная. Кому-то из девчонок сказала, что виновата перед тобой. На твоём бы месте я ей написал.

Две ночи Голиков не спал. На третью сел к столу, чтобы написать письмо. Он сразу вспомнил все: как увидел Зою впервые в клубе и милое лицо ее, на которое не мог наглядеться, ее глаза и себя в зрачках ее глаз. Подумалось: какое счастье, если он опять приедет в отпуск домой, Зоя уже не станет его дичиться, они будут всюду появляться только вместе, и он расскажет ей то, что не успел рассказать в первый свой приезд, и о многом, что было потом. И еще он подумал: а как будет к Зое относиться мама?.. И с тревогой: не станут ли его ревновать к ней сестры? И он, волнуясь, вывел на листе: «Дорогая Зоя!..»

И вдруг услышал ее голос. В ушах его зазвучали те самые слова, из-за которых он больше ни дня, ни часа не смог оставаться в Арзамасе. Обида вспыхнула в нем с новой силой. И теперь ему было больно не за то, что она сказала правду, а за то, что, догадываясь о его отношении к ней и, видимо, готовясь к разговору, не потрудилась подобрать менее жестокие слова.

Голиков скомкал и выбросил начатое письмо.

...С появлением Кондратьева в полку жизнь Голикова стала чуть легче. То есть количество работы не уменьшилось, но, изредка встречаясь у пыхтящего самовара на квартире Аркадия Петровича, они подолгу беседовали о книгах, давно или недавно прочитанных. Коля много знал, был замечательным собеседником и блестящим полемистом, и Голиков во время беседчаепитий отдыхал, ненадолго забывая о разведсводках, бандгруппах и заботах, связанных с жизнью полка.

В этой поездке в Пахотный Угол Николай Кондратьев был единственным человеком, которого Аркадий Петрович посвятил в замысел операции.

Николай толкнул калитку дома с высоким новым забором и вскоре возвратился с двумя ведрами.

— Хозяин разрешил у них остановиться,— громко сообщил Николай.— Дом большой, места хватит.

Пока у колодца шумно и весело поили коней, появился хозяин — лет сорока пяти, кряжистый, русобородый, в домотканой рубахе навыпуск, в картузе и опорках. Он молча открыл ворота. Закончив поение, Голиков взял под уздцы своего гнедого и направился во двор. За ним последовали остальные. Командир поздоровался с хозяином. Тот сдержанно поклонился и сказал:

— Коней можно поставить сюда,— и повел за дом, где темнел крепкий сарай.

Обе половинки ворот были распахнуты. Конюшня была пуста. Куда девались лошади, Голиков спрашивать не стал. Их могли угнать бандиты, мог продать или спрятать сам хозяин. Доверив двум красноармейцам охрану коней и поручив зорко наблюдать, что происходит вокруг, Голиков с бойцами вошел в избу. Их встретила хозяйка в темном платке, коричневом платье и клетчатом переднике. С ней поздоровались.

— Здравствуйте,— ответила она,— проходите.— Но лицо ее оставалось замкнутым и несчастным: ничего хорошего от приезда отряда она не ждала.

Голиков с бойцами прошли в залу. В углу, перед иконой божьей матери с крупным упитанным младенцем на руках, теплилась лампада. Середину комнаты занимал стол, окруженный разного фасона стульями. А справа высился резной буфет, привезенный из города или барской усадьбы.

— Садитесь, отдыхайте,— предложила женщина и удалилась.

Хозяин вернулся во двор. Слышно было, как он колет дрова. Похоже, Шиловы не собирались общаться с незваными гостями. Это ломало все планы. Бойцы осторожно уселись вокруг стола, покрытого свежей полотняной скатертью, боясь нарушить нежилой порядок парадной комнаты. А Голиков вышел в переднюю.

Коридорчик вел в кухню. Голиков заглянул в нее. Хозяйка, напрягшись, доставала ухватом огромный, ведра на полтора, чугун.

— Давайте я помогу,— кинулся Голиков.

— Не надо, я сама,— сдавленным голосом ответила женщина.

— Кипяточка у вас не найдется? — спросил Голиков, когда хозяйка опустила чугун.— Хлеб, сахар у нас свой. А вот кипяток не возим. Чтобы не ошпариться.

Женщина подняла на него глаза, хотела улыбнуться, но, словно что-то вспомнив, снова замкнулась.

— Картошки я вам сварю,— сдержанно произнесла она,— и вздую самовар.

— Картошка — это хорошо,— обрадовался Голиков.— Самовар мои ребята смогут согреть. А вы с мужем придите посидеть с нами. Как на посиделках.

Глаза женщины потеплели, губы насмешливо вздрогнули, к щекам прихлынула кровь. Голиков увидел: хозяйка вовсе не стара, но если женщина занята непосильной крестьянской работой, а сын подался в бандиты — это не молодит.

А кроме того, понимал Голиков, приезд отряда, вроде бы даже случайный, был хозяйке подозрителен. Во всяком случае, настаивал. И она, естественно, ждала, что последует дальше.

— Кондратьев! — крикнул из кухни Голиков. Появился Николай.— Нарезайте хлеб, открывайте консервы. Пусть кто-нибудь из ребят вздует самовар. Ужинаем здесь.

— А завтракаем где? — подхватил игру смысленный Николай.

— Если не проспихь, то километрах в двадцати отсюда.

От глаз Голикова не ускользнуло, что хозяйка вмиг повеселела. Движения ее стали менее скованными.

— Вы идите тоже отдохните,— помягчевшим голосом произнесла она.— Сварится картошечка, я принесу.

Когда через полчаса хозяйка вошла в комнату, бойцы ее не узнали: она была в темно-красном платье, волосы ее, густые, каштановые, были собраны на затылке узлом и скреплены большим черепаховым гребнем. На усталом лице появился румянец, и было оно успокоенным и радостным: дом навестили хорошие гости.

Женщина сняла скатерть. Из банок, которые стояли на подоконнике, переложила в миску мясо, а на деревянную хлебницу — уже нарезанный на газете хлеб. Затем принесла тарелку с ломтиками сала, миску соленых огурцов и фаянсовое блюдо с дымящейся картошкой. Положив на середину стола груды новеньких деревянных ложек, хозяйка направилась к двери.

— А вы? А муж? — обратился к ней Голиков.— Нет-нет, приглашаем к столу. Что это за ужин без хозяев?

Шилов продолжал колоть дрова. Женщина вышла. И через пять минут они вернулись оба. Шилов был в тех же брюках и опорках, но в чистой рубашке и пиджаке. С лица его исчезла неприязненность.

— Просим.— Голиков широким жестом показал на два свободных места.

— Благодарим за приглашение,— ответил хозяин и робко

добавил: — У меня есть немного вина... самодельного. И наливочка из черной смородины. Я принесу?

— Вина мы пить не будем: на службе,— весело ответил Голиков, понимая, что речь идет о самогоне.— А наливку доктора даже детям прописывают. Для аппетита. Давайте попробуем наливку.

Хозяин хмыкнул. Любителей самогона за этим столом он перевидал немало, а наливку у него просили впервые. Он принес высокую бутылку, а хозяйка — стаканы. Из другой посуды здесь никогда не пили. И хотя наливка — не самогон, но, если пить ее стаканами, тоже ничего хорошего не получится.

Голиков взял тяжеленную бутылку, налил полстакана хозяйке, почти полный — хозяину и совсем немного себе и бойцам.

— Ну что вы так? — удивилась и даже обиделась хозяйка.— Сами ж говорили — детям дают.

— Нельзя, служба,— ответил Голиков и поднял свой стакан.— Я предлагаю тост за этот дом, в который мы сегодня приехали, а на рассвете покинем. Чтобы здесь всегда были достаток, спокойствие и радость.— Он чокнулся с хозяйкой, которая всхлипнула, с хозяином, лицо которого посуровело и в нем появилась торжественность, со своими бойцами — им тоже до смерти надоело гоняться за бандюками — и глотнул наливки, сладкой и тягучей, как варенье. Она легонько ожгла язык.

Все хотели есть и накинулись на остывающую картошку. Голиков перво-наперво положил мяса в тарелки хозяев.

— Да что вы! — Лицо женщины стало пунцовым от смущения.— Да мы сами возьмем.

Ни разу в жизни за ней никто за столом не ухаживал, всегда вокруг гостей суетилась она.

— Не беспокойтесь,— растроганно вторил ей муж.— Это ж вы к нам приехали.

— Аркадий Петрович, я тоже хочу сказать,— поднялся Кондратьев.

— Да вы долейте, долейте, у них же стаканы пустые,— забеспокоилась хозяйка.

Голиков опять всем немного добавил.

— Я предлагаю тост за то, чтобы поскорей закончилась никому не нужная здесь война. И все бы вернулись домой. Все, у кого дом близко, и все, у кого он далеко.

Хозяйка выбежала из-за стола. Голиков сделал вид, что не заметил этого, чокнулся и принялся за картошку с мясом и соленые огурцы. Тем более что от сладкой, тягучей наливки, напоминавшей домашнюю, которую тетушка давала лизнуть

по большим праздникам, у него начала слегка кружиться голова.

Через минуту женщина вернулась, села на свое место. Голиков похвалил картошку и огурцы и подумал, что пора переходить к главному.

— Николай Кондратьев,— повернулся Голиков к хозяевам,— мой школьный товарищ. Мы оба из Арзамаса, и оба сильно скучаем по дому, особенно последнее время, потому что война скоро кончится и уже нет сил ждать.

— Это в каком же смысле кончится? — внезапно осевшим голосом спросил хозяин.

— Есть решение Москвы: вводятся «прощенные дни». Каждый, кто служит у Антонова, сможет выйти из леса, сдать винтовку, и его тут же отпустят домой. Думаю, что в лесу после этого пожелают остаться немногие.

— И которые выйдут, их не станут судить? — с ехидцей в голосе произнес хозяин.

— День потому и называют «прощеным», что революция в этот день всех прощает...

— Послушай, парень, а ты, случаем, не врешь?! — рассердился хозяин.— Люди, скажем, тебе поверят, выйдут, а твои начальники поставят их к стенке!

— Как вы смеете?! — вскочил Николай.

— Боец Кондратьев, сядьте на место и запомните: любой человек имеет право получить ответ у представителя Советской власти на любой вопрос.— Голиков обернулся к хозяину: — Извините, ваше имя-отчество?.. Так вот, Фадей Кондратьевич, постановление о «прощеных днях» опубликовано. Оно является законом на территории всей Тамбовской губернии. И руководитель, который его нарушит, понесет самое суровое наказание — вплоть до расстрела. Ребята,— обратился он к красноармейцам,— осталась хоть одна листовка у вас?

Голикову протянули вчетверо сложенный лист. Он развернул его и передал хозяину.

— Мне про такие листки говорили,— сказал хозяин, прочитав.— Но как можно этому верить? То есть я в каком смысле. Антонов, если ему нужно было войско, приезжал в деревню, хотя бы в нашу, ставил пулемет и говорил: «Кто не согласный ко мне идти — под пулемет». И уводил к себе тьму невинного народу. Таким чего не простить? А ведь у него есть и кровососы. Бывало, поймают кого из ваших, разрежут саблей живот, насыпят ржи: мол, хлеб тебе нужен — возьми. Вот люди и сомневаются: как же всех одинаково можно простить? Тут какая-то хитрость.

— Нет здесь хитрости,— резко сказал Голиков.— Мы ни-

когда не простим Антонову или Матюхину, что они из самых подлых побуждений затеяли на родной земле братоубийственную войну. Но вы же сами сказали: большинство ни в чем не виновато. И Москва готова простить даже тех, кто виноват, чтобы вернулись домой попавшие в лес по ошибке или насильно. Нам не нужны трупы. Посчитайте, сколько Россия потеряла самых молодых и здоровых людей с 1914 года — за семь лет. Нам не нужны арестанты. Республика нуждается в рабочих. Ей нужны люди, которые бы трудились и растили детей. Поэтому, если у вас в лесу есть знакомые или просто кто спросит, смело отвечайте: «Выходите и ничего не бойтесь!» Я даже назову пароль. Если кто выйдет, а его задержат, нужно сказать: «Я иду к командиру полка Голикову...»

...Накануне вновь объявленного «прощеного дня» военные и милицейские посты были еще раз обстоятельно проинструктированы. Их предупредили, что в городе с утра появятся «люди из леса». Скорей всего, с оружием. И хотя антоновцы причинили много бед и горя, обращаться с ними нужно вежливо. Иначе громадная подготовительная работа пойдет прахом.

С другой стороны, следовало быть готовым, что Антонов зайдет в город людей, которые будто бы выйдут, чтобы сложить оружие, а на деле пустят его в ход.

Но самой большой неожиданностью явилось то, что ни один человек в новый «прощеный день» из леса не вышел.

Голиков с утра ни на минуту не оставлял кабинета; ожидая вестей, не притронулся к чаю, который ему принесли. В десять вечера сам обзвонил все посты. Ему подтвердили: ни одного перебежчика. В половине одиннадцатого он доложил об этом командующему 5-м боевым участком Пильщикову, а тот — деваться некуда — Тухачевскому. Голиков благодарил судьбу, что не ему выпало звонить в Тамбов.

В полночь возле штаба 58-го полка раздался винтовочный выстрел. Голиков еще не ушел домой. Он вскочил, отодвинул занавеску, но разглядеть ничего не сумел. При свете уличного керосинового фонаря он только заметил, что к перекрестку метнулась фигура, за ней другая, с винтовкой, — видимо, часовой. И по булыжнику в ночной тиши звонко и тревожно заклацали тяжелые подкованные сапоги.

Внезапно стук сапог прервался. На перекрестке послышалась возня. И до окошка отчетливо донесся то ли испуганный, то ли плачущий голос, который произнес: «Голиков». Из тьмы вынырнула группа: двое красноармейцев вели кого-то в гражданском.

Затем в кабинет постучали. Вошел начальник караула. — Товарищ комполка, возле штаба задержан неизвестный.

Себя не называет. Пытался через забор проникнуть в штаб. Говорит, что вы о нем знаете.

— Введите, — озадаченно ответил Голиков.

В кабинет втолкнули малого лет двадцати, высокого, налитого силой. У него были белесые, давно не стриженные волосы, одутловатое, нездоровое лицо. Полосатый пиджак и такие же брюки, заправленные в сапоги, были испачканы, словно он ползал по земле. Комполка мог поручиться, что ни разу этого малого не видел.

— Отведите меня к Голикову, — не здороваясь, прямо с порога произнес задержанный.

— Я Голиков.

— Мне нужен командир полка Голиков. Я Васька Шилов. Он про меня знает.

— Развяжите ему руки, — попросил Аркадий Петрович, еще боясь поверить тому, что происходит.

Когда конвойные ушли, комполка сказал:

— Садись, Василий, — и показал на стул возле столика, приставленного к громадному письменному.

Шилов сел.

— Что так поздно? — спросил Голиков.

— Я ведь из лагеря позавчера ушел, — быстро и радостно заговорил Шилов. — Винтовочку прикопал, чтобы, значит, с нею не ходить. И со вчерашнего вечера все тут и кручусь.

— А чего же не пришел днем? Зачем полез через забор? Тебя же могли подстрелить.

— Робел. Маманя все уговаривала: «Выходи да выходи. Командир молоденький приезжал. Человек такой, что не обманет...» А я хожу — везде часовые. Не знаю, как и подступиться. И в лес обратно идти боязно. Там небось меня уже хватились...

Все это Шилов поведал, сидя на краешке стула. От волнения он ерзал, бледнел или внезапно делался пунцовым — тогда он становился похожим на мать. И руки его не находили себе места. Он то раздергивал полы пиджака, то застегивал на все пуговицы. От возбуждения у Шилова срывался голос, и он против воли поглядывал на стакан остывшего чая и два ломтя хлеба на тарелке. Это был завтрак Голикова, к которому он не притронулся за весь день.

«Есть хочет», — догадался комполка. Выйдя из кабинета, он велел дежурному принести горячего чаю и хлеба побольше.

Один из бойцов, которые задержали Шилова, принес фаянсовый чайник, стакан с ложечкой и тарелку с нарезанным хлебом. Голиков налил в стакан красноватого морковного чая, подал его Шилову, а затем пододвинул и тарелку с хлебом.

— Ешь,— сказал Голиков. И взял свой остывший чай, отломил кусочек хлеба. Он вдруг ощутил, что голоден не меньше Васьки.

Васька обнял громадными своими лапищами стакан, чтобы согреться. Несмотря на теплый вечер, он дрожал. Потом поднес чай ко рту и вдруг со всей силы грохнул стакан о полированный стол.

— Все равно расстреляете! — закричал он. — Так чего суετε чай?!

В комнату с наганом в руке вбежал начальник караула и боец, который приносил чай и хлеб: теперь в руках у него была винтовка. Васька обмер.

— У нас тут стакан разбился,— негромко сказал Голиков.— Чай оказался слишком горячим. Я попрошу вытереть стол и принести новый стакан. А лучше кружку.

Боец вернулся с тряпкой и веником. Вытер столик, смел в жестяной совок осколки, затем принес медную кружку.

Когда они снова остались одни, Аркадий Петрович налил в кружку чай, протянул ее Шилову и снова взял свой стакан.

— Ты, Василий, ешь и пей,— сказал он,— а я буду рассказывать. Понимаешь, остолопов вроде тебя, которые полезли в банду неизвестно зачем, у нас в тюрьмах достаточно. Посадить еще и тебя? Тебя надо кормить. На тебя кто-то должен работать. А ты будешь лежать на нарах... Поставить тебя к стенке? Еще меньше толку. Ты уже ничего полезного для людей не сделаешь. И Советская власть хочет, чтобы ты вернулся домой и работал. Да и жениться, наверное, тебе пора. Поэтому, скандалист, допивай свой чай и отправляйся к родителям.

— Под конвоем? — зло спросил Васька.— Вон двое все у дверей стоят.

— Они стоят потому, что ты, не успев прийти, уже начал кричать и бить посуду. Но если ты успокоился, то дороги у вас будут разные: ты отправишься в свой Пахотный Угол, а они останутся здесь. О двух вещах тебя только прошу: откопай винтовку и сдай ее в сельсовет. И не забудь каждое утро там отмечаться.

— А это зачем?

— Чтобы я знал, что ты почнешь дома, а не в банде...

Васька поднялся, не веря счастью и машинально засовывая в карман кусок хлеба. Он дошел до двери и вдруг оглянулся, будто опасаясь, что Голиков сейчас его с хохотом оставит.

— Мы в такие игры не играем,— горько усмехнулся Ар-

кадий Петрович и, выйдя вслед за Васькой на широкую лестницу, громко сказал часовому: — Товарищ, гражданин Шилов отпущен домой.

Несмотря на поздний час, Голиков позвонил командующему боеучастком.

— Хорошо, — ответил сонный голос в трубке. — Только одна ласточка не делает весны.

Голиков не стал объяснять, что следом за Шиловым могут потянуться и другие.

На пятый день в ответ на запрос сельсовет сообщил, что Василий Шилов, двадцати двух лет, в селе Пахотный Угол не появлялся, а его родители распространяют провокационные слухи, будто он в «прощеный день» вышел из леса и был арестован или даже убит в штабе 58-го полка.

Получив эту весть, Голиков заметался по кабинету. В чем дело? Что случилось с Васькой? Неужели не поверил и вернулся в банду? Но тогда бы родители не подняли тревогу...

А могло быть и так, думал Голиков, немного поостыв: о переговорах в доме Шиловых узнала разведка Антонова, спрятала Ваську, а вместо него подослала другого человека... Или еще проще: они дали Ваське уйти из банды и убили по дороге домой.

Голиков доложил о случившемся в штаб боевого участка. И услышал от Пильщикова:

— Хм, все гораздо хуже, чем я ожидал.

Командир полка позвонил в милицию и ЧК. Ему сказали, что, по имеющимся сведениям, за минувшие дни в черте города и ближайших окрестностях убийств не было.

— По крайней мере, — уточнили, — таких, о которых нам было бы известно.

Тогда Голиков вызвал к себе начальника полковой разведки Чистихина. Тот явился слегка встревоженный. За ним всегда тянулся шлейф грешков: то шумно пообедал с самогоном в селе, то отрубил саблей голову жирному гусю, который встретился по дороге.

— Возьмите двадцать человек, — сказал Голиков, — и обследуйте весь путь от города до Пахотного Угла. Опрашивайте встречных, поговорите с детьми: они бывают наблюдательнее взрослых. Выясните: не слышал ли кто ночью четыре-пять дней назад криков, стрельбы, возни, не вырос ли где-нибудь подозрительный холмик. Найдете следы Шилова — представлю к награде.

Зазвонил телефон. Голиков снял трубку.

— Товарищ Голиков? — спросил вежливый мужской голос. — Здравствуйте. Тухачевский.

— Здравствуйте, товарищ командующий.

— Я очень огорчился новостями от вас.

— Я посылаю на розыски разведотряд, товарищ командующий.

— Если появятся новые сведения, не сочтите за труд позвонить.

Их разъединили. Голиков движением руки отпустил Чистихина, а сам продолжал сидеть, прижав трубку к щеке. Сейчас было важно понять, где он допустил ошибку, которая привела — Аркадий Петрович в этом уже не сомневался — к гибели Шилова.

Следовало оставить его до утра? Или выделить провожатого? Но оставаться Васька не хотел. А возвращение домой под охраной — люди посчитали бы, что он арестован.

Было стыдно перед Тухачевским, но еще мучительней было от мысли, что трагическая история с Васькой обернется новыми пожарами, разбоем и убийствами. Голиков представил агитаторов Антонова, которые разойдутся, разъедутся по селам, созовут митинги и начнут объяснять, что Советская власть умеет заманивать и обещать, вот полюбуйте, листовка, а потом... Вот перед вами несчастная, дважды обманутая мать Василия Шилова...

...На другой день возвратились разведчики. Они доложили, что Шилова никто не видел. Скорей всего, Шилова убили прямо в городе, потому что в деревнях тихо. Антонов не спешит подымать шум из-за гибели Васьки.

«Не их работа? — размышлял Аркадий Петрович. — Тогда чья же? Уголовников? На какое же богатство они польстились?.. И зачем спрятали тело?»

Настроение у командира полка было жуткое, но распускаться он права не имел. Больно было даже подумать, что огромная подготовительная работа пошла прахом из-за бессмысленного преступления уголовников. Голиков оседлал коня и отправился во вторую роту. Комиссар не позволил ему ехать одному. И послал для охраны, кроме ординарца, еще одного бойца. Верный дядька остался в Воронеже. Он ждал демобилизации. А нового ординарца Голиков долго не хотел брать.

Во второй роте командир полка провел политзанятие, то есть сначала сделал доклад о международном положении и обстановке в Тамбовской губернии, отметив, что мятеж идет на убыль, что Антонов пользуется все меньшей поддержкой крестьян. А затем рассказал о продналоге.

— До сих пор, как вы знаете, — говорил Голиков, — существовала продовольственная разверстка. Если крестьянская

семья собирала 50, 100 или 200 мешков зерна, то ей оставляли 20 или 30 (в зависимости от числа едоков). Остальное полагалось сдавать государству. Но даже если крестьянин полностью расплатился с государством, он не имел права вынести на рынок излишки, так как частная торговля хлебом была запрещена. Кулаки, имевшие огромные запасы хлеба, прятали их. Республике стало не хватать хлеба. Особенно тяжелое положение сейчас складывается в Поволжье: там засуха, сгорели все посеы. Вот почему товарищ Ленин предложил отменить продовольственную разверстку и ввести продовольственный налог. Что это значит? По новому закону крестьянин обязан сегодня уплатить в виде налога лишь малую, строго подсчитанную часть своего урожая. Примерно два-три мешка из десяти. Остальным он волен распорядиться, как найдет нужным: может продать на рынке, обменять на корову или мануфактуру. Теперь каждая крестьянская семья заинтересована в том, чтобы произвести как можно больше продуктов. На Тамбовщине продналог вводится раньше, чем в других губерниях...

Неожиданно к Голикову подошел дежурный по роте.

— Товарищ командир полка, вас просят срочно к телефону. Звонил комиссар полка. Голиков даже не узнал его голоса.

— Аркадий Петрович! — В трубке слышалось взволнованное, сбивающееся дыхание. — К штабу движется банда... вижу человек двадцать... Нет, больше... с винтовками... есть пулемет. А у меня только пятеро бойцов.

— Продержитесь минут десять!.. Я выезжаю к вам! — ответил Голиков и повернулся к командиру роты. — На штаб полка движется банда. Запрягать тачанки некогда. Ручные пулеметы, людей верхом — и за мной!

Через четверть часа во главе дюжины кавалеристов, вооруженных пулеметами, Голиков прискакал к штабу. Он увидел такую картину: у входа, прямо на земле, сидело человек двадцать пять, бородатых, с давно не стриженными волосами, в пиджаках, шинелях, пальто, один был даже в полушубке. В сторонке, под окнами, были свалены в кучу винтовки, обрезы, револьверы, патронташи. А вокруг странного сборища стояли пятеро красноармейцев с винтовками и комиссар с наганом в руке.

Последнее время Голиков был настолько подавлен, что не ожидал перемен к лучшему. И после того как ему позвонил комиссар, он мчался сюда, готовясь к бою и думая о том, что бой этот начнется в центре города, кругом дома, а пуля — она ведь дура. И, увидев возле штаба странную картину, он понял

только то, что боя нет и, похоже, не будет, но обрадоваться этому не успел. Люди, которые сидели на земле, вскочили. Конвоиры встревожились. Голикову передалась их исполошенность. И он, пряча свою растерянность, сердито спросил:

— Что за цыганский табор? Кто такие?

— Это я их, командир, привел. Али не узнаете?

Из толпы вышел совершенно незнакомый человек. Он был в полосатом пиджаке и таких же брюках. Щеки его ввалились, словно он месяц ничего не ел. Глаза сидели глубоко и болезненно блестели. Лицо обросло щетиной. Человек выглядел лет на сорок.

— Василий? — не поверил Голиков. — Шилов?

— Он самый.

— Куда же ты, дьявол, девался?! — Голиков спрыгнул с седла.

— Да никуда я не девался. Я пошел к себе. Иду и думаю: «А как же ребята? Им ведь тоже охота домой?» И обратно в лес. «Эй, робя,— говорю,— нечего тут валандаться. Вечор я с командиром 58-го полка чай пил». Они меня чуть было не прихлопнули, чтоб не брехал. А взводный уже считает меня сбежавшим. И я должен прятаться, потому как и в нашей роте есть палач. И вот прячусь от ротного. Живу на болоте. Жрать нечего. И уговариваю этих дураков. С трудом уговорил.

Голиков так стиснул Ваське руку, что Васька от боли присел, а потом командир обнял Шилова, похлопал по спине, затем обернулся к остальным:

— Здравствуйте, граждане!

— Здравия желаем, доброго здоровья, гражданин товарищ,— вразнобой ответили перебежчики.

— Вы мудро поступили, что послушались Василия. С этой минуты для вас гражданская война кончилась.

— Это как же понимать? — забеспокоились мужики. — Васька толковал, но мы люди темные... Да и жили вдаль от опчества, пни пнями.

— А понимать нужно так,— сказал Голиков и сам удивился тому, что голос его зазвенел на высокой ноте,— от имени Советской власти объявляю вам полное прощение. Через час вы сможете разойтись по домам.

— И первый же милиционер нас в кутузку? — спросил седой мужик с вьющимися волосами, на которые с трудом налезла кепка.

— Каждый из вас получит документ,— ответил Голиков. — С этим документом вас никто не задержит. С этой минуты

у вас нет прошлого. Ваше сидение в лесу забыто. Но не потому, что кровь людская ничего не стоит. А чтобы не лилась новая.

Несколько мужиков грохнулись перед командиром полка на колени. По лицам, по лохматым, давно не стриженным и не чесанным бородам катились слезы. Они блестели при желтом свете керосиновых фонарей. Мужики вразнобой неистово кланялись, стучаясь лбами о прибитую ногами и колесами землю.

— Немедленно встаньте,— сказал Голиков.

Один из мужиков, обтерев лицо старой грязной фуражкой, сказал:

— Детям и внукам накажем, чтобы молились за тебя, паря, кажинный день.

Вскоре в газете «Красноармеец» появилась заметка «С процентом!». Начиналась она так: «Плохо жилось Шилову в банде Коробова...»*

ПОМОШНИК

Василий Шилов снова не пошел в свой Пахотный Угол. Ночевал он в избе неподалеку от штаба и спозаранок ждал Аркадия Петровича у проходной.

— Идем, Василий, ко мне,— сказал Голиков, завидя его.

Завтрак им принесли в кабинет. Когда они оба съели по тарелке каши и выпили чай, Аркадий Петрович спросил:

— Ты чего здесь сидишь? Отец с матерью тебя заждались.

Василий взглянул в лицо Голикова. И комполка удивился тому, как постарел совсем еще молодой парень.

— Боюсь идти домой, Аркадий Петрович,— ответил он, не опуская глаз.— Наверное, завтра мне вынесут в лесу смертный приговор, но не подстрелят из-за угла. Скорей всего, выкрадут, привезут в лагерь и дадут отсрочку от казни — «для исправления». А «исправлять» меня будут так: велят жечь дома, пытать и расстреливать пленных — чтобы мне уже не было обратной дороги. А если откажусь, передадут палачам.

Голиков слушал, медленно вращая на столе пустую кружку, и думал: какой же путь стремительного взросления в полушаге от мучительной смерти прошел за короткий срок Василий! А ведь три месяца назад Шилов сам ушел в банду.

Комполка оставил в покое медную кружку, взял со своего стола и протянул Шилову карандаш и лист бумаги.

— Пиши заявление: «Прошу принять меня в 58-й полк, в разведывательную роту». А я с политотделом договорюсь.

— В полк я сейчас не пойду.

— Куда же ты пойдешь? В банду? «Исправляться»?

— Там еще остались хорошие ребята, Аркадий Петрович.

— Нельзя тебе возвращаться.

— Но я в последний раз. Только я не больно грамотный. Если б кто мне рассказал про политику, как теперь будет со сдачей хлеба. И насчет мануфактуры и гвоздей.

— Хорошо. Что еще?

— За родителей боязно. Как бы их не обидели.

— Хорошо. Я возьму их в полк. Только согласятся ли они?

— На время, наверное, согласятся... Дело-то к концу идет.

— Я сегодня же пошлю к ним. Бумага у тебя есть. Пиши им письмо.

МАРУСЯ

Голиков возвращался с отрядом в Моршанск. Был вечер. До города оставалось километров пятнадцать. Кони были утомлены. Бойцы тоже. Голиков мечтал о том, как выкатит на себя ведро колодезной воды, поужинает, просмотрит разведсводки, которые накопились в его отсутствие, и завалится спать. До утра. Две минувших ночи он спал вполглаза, то и дело подымаясь, чтобы проверить посты. А еще ему хотелось побыть одному и помолчать. Он слишком много разговаривал эти дни, разъясняя крестьянам — и в речах своих, и в негромких беседах, — что дает мужику сельхозналог вместо разверстки.

Отряд в пятнадцать сабель ехал следом за Голиковым по проселочной дороге. Вязкая пыль смягчала стук копыт. Слева и справа тянулись холмистые луга, которые заканчивались лесом. Тем самым, разбойным, откуда исходило столько бед. Небо затянуло облаками. Прямо над головой они чуть просвечивали, позволяя видеть дорогу. Зато все, что тянулось по сторонам от нее, погружалось в серую полутьму, которая заканчивалась глухой и загадочной чернотой зарослей.

Из облака высунулся краешек луны. Стало светлей. И Голиков почувствовал, как спало напряжение. Сам того не замечая, он тяготился тем, что задержался с возвращением и ведет свой отряд в полутьме. Дело шло к закату антоновщины. И потому сам Антонов, а пуще его заместитель Матюхин делались все

изобретательнее в подготовке налетов и засад: этим двоим с их ближайшим окружением нечего было терять.

Внезапно за бугром метнулась и исчезла тень. Значит, за отрядом следили. Разведка у бандитов была поставлена отменно. Антонов заставлял работать на себя немощных, однако приметливых старцев, убогих калек, которые ходили с сумой от села к селу, и даже малых детей. Условные сигналы передавались дымными кострами, а точные сведения — флажками с колоколен, когда за каждым движением сигнальщика с далекого расстояния наблюдали в мощный артиллерийский бинокль.

А еще существовала система почтовых станций. В дурную погоду, когда сигналов не видно даже за сто метров, от деревни к деревне, меняя коней, мчался гонец с письмом или устным приказом. За два-три часа такое письмо могло пролететь десятки верст и возвратиться с ответом.

Тень, замеченная за холмом, скорее всего, означала: что-то подлое готовится или уже происходит. Бандитского лазутчика следовало перехватить. Кажется, он был пеш, но поблизости его могли ждать и конь, и приятели.

— За мной! — негромко произнес Голиков, выхватывая пистолет и сворачивая с дороги.

Тень метнулась опять.

«Ничего, — подумал командир, — далеко не уйдешь».

Бойцы последовали за ним. Луна медленно выплыла из-за туч, посеребрив и невысокий холм с редкими кустами, и траву под копытами коней, и дальние заросли. Луна не осветила только наблюдателя. Он исчез. Уполз?.. Убежал?..

И вдруг Аркадий Петрович заметил, что к стволу толстой березы прижалась какая-то девчонка, словно хотела слиться с деревом, сделаться невидимой.

Голиков спрыгнул с седла.

Девчонки на этих дорогах тоже встречались разные. Многих уводили в банду силой. От ненавистой почти круглосуточной работы, издевательств, болезней и грязи одни умирали, другие становились похожими на старух. А была у Антонова и Маруся Косова. По жестокости она могла поспорить с легендарной Салтычихой.

Голиков шел к березе, стараясь не выходить из широкой, разлапистой тени, — на случай, если бы девчонке по глупости или со страху вздумалось стрелять. А кавалеристы начали окружать березу, отрезая лазутчице путь к лесу. Если за деревом пряталась вторая Маруся Косова, то возвратиться в банду ей было не суждено.

Девчонка быстро оглянулась, еще надеясь убежать. Чтобы

помешать ей это сделать, Голиков ступил в полосу света. Блеснула красная звездочка на его папаче. Девчонка вскрикнула, с разбегу кинулась Голикову на шею, прижалась щекой к его пыльной, пропахшей потом гимнастерке и заплакала.

— Ты кто такая и что тут делаешь? — оторопело спросил Аркадий Петрович.

На лице девчонки смешались следы ужаса от того, что она считала, будто уже обречена, и робкая радость, что, кажется, все обошлось.

— Я думала, вы тоже... а вы красные,— сбивчиво проговорила она.— Скорей! Они мучают отца...

Такой поворот насторожил Голикова. Спектакль с девчонкой мог быть подстроен. А верить ей или нет, должен был решить только он.

— Тебя как зовут? — спросил Голиков, оттягивая время.

— Маруся.

Девчонке было лет шестнадцать. Перетянутый пояском сарафан. По ноге сшитые сапожки. Длинные, до плеч, волосы были зачесаны назад и скреплены на затылке. Лицо у Маруси было чистое и нежное. Громадные глаза были распахнуты и глядели с тревогой, болью и надеждой. Эти глаза не лукавили, не ускользали в сторону. Эти громадные, блестящие при лунном свете глаза молили о помощи.

— Далеко отсюда? — спросил Голиков.

— Километра три,— ответила Маруся.

— А сколько бандюков? — поинтересовался Чучелов из седьмой роты.

— Человек десять.

— По коням! — приказал Голиков.— Ты, Маруся, поедешь со мной.

Он помог ей сесть боком и осторожно опустил на оставшийся краешек седла. Оно не было приспособлено для езды вдвоем. Отряд взял с места рысью.

— Вот сюда, здесь дорога,— показала Маруся в сторону леса.

На миг у Голикова все внутри сжалось. Девушка сидела сзади него, держась за ремень. Аркадий Петрович резко обернулся. Он хотел увидеть лицо Маруси, когда она этого не ожидала. И увидел: она кусала губы от нетерпения и душевной боли. В глазах ее стояли слезы, которые она не могла вытереть: боялась упасть.

У кромки леса действительно появилась дорога. Голиков похлопал теплый бок своего коня, тот прибавил ходу. Примерно через километр открылась просека.

— Налево,— подсказала Маруся.

Голиков повернул налево. И конь споткнулся. «Дурная примета», — подумал он и почувствовал, что Маруся вот-вот не удержится и соскользнет с седла.

— Держись не за ремень, а за меня, — велел он ей и ощутил встревоженное горячее дыхание у себя на щеке.

— Кто твой отец? Что бандитам нужно от него? — спросил он, чуть поворачивая голову.

— Отец агроном. Он вывел новый сорт ржи. Этот сорт не боится заморозков и засух. Нынче отец собрал первый урожай. Пятьдесят пудов. Эти, из леса, потребовали, чтобы отец отдал им. «То же экспериментальный материал, — объяснял отец. — Бесхлебье у нас в губернии кончится». А им что. Они его бить...

— Не плачь.

— Просека кончится — направо. — Маруся убрала одну руку. Наверное, она вытирала лицо.

За редкой стеной деревьев оказалось большое уже убранное поле. На краю его светился окнами дом.

— Прыгай, останешься тут, — велел Голиков Марусе. И бойцам: — Приготовиться к бою. — И вынул маузер.

Но стрелять не пришлось: усадьба была пуста. Черной дырой распахнутых дверей зиял сарай — в нем не осталось ни мешка ржи. Лишь рассыпанное зерно захрустело в темноте под ногами. А в доме была перевернута и разбита вся мебель — лавки, платяной шкаф, самодельный буфет. Посреди комнаты валялся колун.

Отца Маруси не было. Во дворе девушка нашла его фуражку с гербом земледельческого ведомства. Маруся уткнулась в эту фуражку и в голос заплакала. Голиков подошел к ней, погладил по волосам.

— Прости, что опоздали, — сказал он. — Раз они его увезли, значит, живой. Могут и отпустить.

— Вы сейчас уедете? — спросила она.

Он хотел ответить «да» — и не смог.

— Попробуем утром найти их следы, — ответил он.

Был тягостный ужин за кое-как сколоченным столом. Маруся пожарила мясо и вскипятила чай. Ей не мешали: она должна была что-то делать. Потом была бессонная ночь. Маруся наводила порядок в доме — до рассвета горела керосиновая лампа. Половина бойцов ночевали в избе, половина расположились на сеновале. Голиков лег посреди двора на возу. Рядом ходили часовые, но комполка не сомкнул глаз. Ему хотелось встать, помочь Марусе — он не решился. Было жаль девочку и горько, что он опоздал, хотя его вины тут не было. Засыпая на двадцать минут перед рассветом, когда уже на-

чинали таять звезды, он в полудреме подумал, что отошлет бойцов в Моршанск, а сам останется здесь с пулеметом охранять Марусю. И что вообще, если бы Маруся согласилась, он бы охранял ее всю жизнь.

Утренняя экспедиция ничего не дала. Следы вели глубоко в лес. Голиков понял, что дальше без разведки, с горстью людей двигаться нельзя. Одно дело догнать на дороге десяток бандитов, другое — идти прямо к ним в логово. Он отвечал за жизнь бойцов. И заставил себя вернуться.

— Поедем с нами, — предложил он Марусе. — Дома одной тебе оставаться нельзя. В городе найдем для тебя жилье и работу.

— А если отец вернется? — спросила она. — Я пойду к тете. Она живет в соседнем селе.

Голиков вынул из сумки блокнот, черкнул несколько слов и передал листок Марусе.

— Если передумаешь — найдешь меня в городе.

— Спасибо. — И поклонилась бойцам: — Вам, солдатики, спасибо тоже.

ДВА ЧУГУННЫХ ОСКОЛКА

Несмотря на терзавшую его досаду, Голиков, возвращаясь с отрядом в Моршанск, погрузился в привычные для него заботы. Он думал о том, что в штабе 5-го боевого участка, без сомнения, начался переполох: «Пропал Голиков с отрядом», поскольку он со вчерашнего дня не подавал о себе вестей — неоткуда было позвонить.

Проезжая мимо обширного ржаного поля, где налитые колосья клонились к земле, Голиков вспомнил о приказе выделить две роты в помощь маломощным и осиротевшим хозяйствам для уборки хлеба. И похвалил себя за то, что, возвратясь к Марусе, не забыл — велел собрать всю рассыпанную рожь и вез несколько килограммов нового, многообещающего сорта.

Думая о Марусином отце, Аркадий спохватился, что уже неделю не может ответить своему отцу, Петру Исидоровичу. Письмо от него пришло в Воронеж. Из Воронежа переслали в Тамбов. Оттуда — в Моршанск.

«Родной сын! — писал отец. — Я получил письмо, в котором ты сетуешь, что два с половиной года не имеешь вестей от меня. Прочитав это, я не удержался от слез. Мой мальчик, я вся-

кий раз отвечал тебе. И, не дожидаясь новых писем, продолжал писать.

И это какое-то несчастье, что до тебя не дошло ни единой моей строки, полной любви к тебе и гордости за тебя.

Поверь, я счастлив был узнать, что тебе в твоей работе помогли и помогают мои скромные жизненные уроки. Я, наверное, сумел бы дать гораздо больше, если бы нас не разлучила проклятая война. Но я счастлив, что духовная наша связь за эти годы не прервалась, а сделалась только крепче.

Мои товарищи по-доброму позавидовали мне, когда узнали, что у меня, комиссара полка, сын командует полком.

А. П. Чехов лет двадцать назад писал: то, что дворяне получали с детства, разночинцы добывали ценою молодости и здоровья. Революция сломала этот веками создававшийся «порядок». К управлению государством идем мы — дети и внуки крепостных.

Одно меня беспокоит: ты стал командиром, даже дня не прослужив солдатом (адъютантская служба не в счет!). Всегда ли ты понимаешь своих подчиненных? Не бываешь ли заносчив? Спрашиваю тебя, как бывший рядовой».

Мысли Аркадия Петровича снова обратились к Марусе. В груди кольнуло, и он опять ощутил острое недовольство собой, не зная, что судьба сегодня явила ему свою величайшую благосклонность: утром в лесу его ждала засада, а он повернул назад, не доехав до нее метров пятьсот.

Когда банда спохватилась, отряд был уже далеко. Преследовать его среди бела дня антоновцы не решились, но они воспользовались тем, что Голиков на обратном пути опять заехал к Марусе, и послали вперед гонца...

По дороге в Моршанск лежало село Крюково. Часть домов тут была наглухо заколочена. Кто погиб, кто подался в банду, кто служил в Красной Армии. Хозяйство приходило в упадок. Семьи разбрелись. Дважды Голиков проводил тут беседы, объясняя людям, что из леса можно вернуться, не опасаясь наказания. Немногие собравшиеся жители слушали его молча и мрачно. Только один улыбочивый такой папаша пригласил Голикова после собрания к себе.

Комполка сопровождали четверо красноармейцев. Их этот улыбочивый пригласил тоже. В просторном доме было чисто. Пахло недавно вымытым полом, хлебной закваской и вянущими травами, которые сушились на печи. А еще здесь пахло давней устойчивой безбедностью.

Голиков слышал: старший сын папашы служил в Красной Армии, младший исчез неизвестно куда, хотя в банде Антонова,

по агентурным сведениям, не числился. Кроме молодой жены, чьей-то недавней вдовы, старику вести его немалое хозяйство помогали пришлые люди, будто бы обедневшие родственники. Но все налоги папаша платил исправно. Слыл он человеком влиятельным. И послушать его Голикову было любопытно.

Молодая рослая хозяйка (она была выше мужа на полголовы) появилась из дальней комнаты. Она была нарядно одета — желтый с цветами платок, желтая, в тон, кофта, длинная темная юбка. Голиков догадался: гостей тут ждали...

— Мечи на стол, что есть, — велел жене папаша.

Дело оборачивалось к попойке, и Голиков сказал:

— Мы ненадолго. Если можно, то молочка.

Хозяйка поставила кринки с молоком на любой вкус: свежее, топленое — прямо из печки, кислое из подпола, а кроме того, в мисках сметану и досуха отжатый творог, который пришлось разрезать ножом. И положила на чисто выскобленный стол ломти мягкого, без примеси хлеба. Устоять перед таким угощением было невозможно.

Бойцы ели кто свежее, кто кислое молоко из глиняных мисок, накрошив хлеб. А Голиков пил из большой кружки топленое, в котором он любил запекшуюся пенку. Себе папаша велел подать щи. Жена принесла ему целый чугунок — небольшой, совсем еще новый, а потому не черный, а пока что серый.

— Люблю, чтобы с пылу с жару, — пояснил папаша и выхлебал весь чугунок.

При этом беседы, на которую рассчитывал Голиков, не получилось. Папаша всячески уходил от разговора о банде, о том, что надо помочь людям вернуться к земле и дому. Зато, приветливо улыбаясь и покрикивая на хозяйку, что она плохо угощает, папаша между делом высказал мысль, что хорошие люди всегда могут договориться. И если бы, скажем, их село оставили в покое, то никто бы не остался в обиде...

Голиков чуть не подавился творогом со сметаной, когда понял, что и его бы не обидели тоже. Иными словами, папаша предлагал ему, командиру 58-го Нижегородского отдельного полка по борьбе с бандитизмом, взятку за некие будущие, пока не вполне обозначенные услуги. Предлагал умело и ловко. И если бы Голиков пожелал, он бы мог так же обиняком согласиться. А если не желал, то схватить папашу за руку было невозможно: шел застольный гостеприимный разговор. Подспудных оттенков беседы бойцы даже не заметили.

Голиков сразу поднялся; видя, сколько всего остается, с сожалением поднялись и красноармейцы.

— Спасибо за угощение, — поклонился Голиков хозяйке. И направился к выходу. Часто потом Голикову приходило на память лицо папаша: коричневое от загара, с темными, без единого седого волоса усами и пытливыми, требующими ответа глазами. Похоже, старик не сомневался, что молоденький командир согласится...

Все это промелькнуло в памяти Голикова, когда он с отрядом пронесся мимо знакомой избы, пятиконной, за высоким забором. Жизнь своего двора папаша по возможности скрывал от посторонних взоров.

Село кончалось. На самой его окраине темнели покинутые дома и сарай с прогнившими крышами; клонились к земле готовые рухнуть плетни и штaketники. Обезлюдившие усадьбы заросли вездесущими акациями, кустами одичавшей малины, чертополохом и крапивой.

Краем глаза Голиков заметил: возле выцветшего от дождей и солнца полуобвалившегося амбара колыхнулись огромные листья лопухов. И оттуда на дорогу, в песчаную пыль в двух метрах от копыт коня шлепнулся чугунок — небольшой, серый, с одного только бока закопченный, обмотанный медной проволокой. Это была самодельная бомба.

Месяца два назад Антонов захватил капсули для гранат, не успев угнать подводы с самими гранатами. И наладил производство самодельных бомб. В восьми случаях из десяти самодельные снаряды не взрывались. Не спешил взрываться и этот обмотанный проволокой чугунок. Он только напугал коня, который, всхрапнув от неожиданности, сделал по инерции два или три шага и дернулся влево, привстав на дыбы.

Голиков привычно стиснул коленями его бока, чтобы не вылететь из седла.

Летом 1919-го под Киевом на край окопа, где находился Голиков, шлепнулась тяжелая граната Миллса. Она обладала большой мощностью, но взрывалась на шестой или седьмой секунде, тогда как другие — на третьей-четвертой.

Испытывая ужас от того, что может произойти в любое мгновение, загребая ногтями влажный после дождя чернозем, Голиков схватил гранату, ощущая рубчатые, в крупную клетку бока. Они были влажными. Схватил он гранату неловко, она чуть не выскользнула из руки, и бросок вышел слабым — взрыв раздался, едва граната отлетела метров на восемь. Осколки просвистели над головой, но никого не задели.

А сейчас, стоя в стременах на вздыбленном коне, Аркадий Петрович заворуженно смотрел на поблескивающий медными нитями чугунок, который нельзя было ни отбросить, ни отпихнуть ногой. Казалось, время замерло. А на самом деле рысак

уже опустился на передние ноги, рука властно потянула левый повод, и были даны шпоры коню, чтобы успеть отскочить подальше, благо отряд приотстал и было пространство для маневра.

Но в следующую секунду в сознании Голикова почти одновременно запечатлелись две картины: из лопухов и крапивы выглянуло озабоченное загорелое лицо, с темными, без седины усами, кончики которых смотрели вниз. И затем мелкий, нагретый осенним солнцем песок взметнулся столбом пыли, гром и болью. Конь рухнул на колени и начал валиться вправо. Голиков едва успел выдернуть ноги из стремян. А из лопухов ударили винтовочные выстрелы.

Аркадий Петрович помнил, что лежал на дороге, возле бившегося коня, и пытался вынуть из кобуры маузер, но правая рука не слушалась, и он ее не чувствовал. Тогда он попробовал достать пистолет левой рукой, а это было неудобно, к тому же кобура оказалась липкой, будто ее облили малиновым сиропом, и он никак не мог отбросить крышку.

Стрелять Голикову не пришлось. В зарослях, откуда выглянуло озабоченное лицо, взметнулись ветки, земля и листья лопухов — они дольше всего держались в воздухе. Голиков не зря учил бойцов пользоваться гранатами, но он почти не слышал взрывов. И на память пришел неизвестно по какой ассоциации композитор Бетховен, который был глухим и слушал музыку, держа в зубах трость, а другой ее конец он приставлял к играющему роялю...

Что-то происходило еще, но Голиков был весь поглощен тем, что немела, отмерзала правая сторона головы, затем правая рука, и он перестал чувствовать всю правую сторону тела. Возникло странное ощущение, будто он состоит лишь из левой половины, а правой у него попросту нет.

И потом он только помнил, что его покачивало в телеге. Он лежал на сене и смотрел в небо. И серое облако походило на верблюда, затем на волчью морду, пока он не увидел, что к задку телеги привязана уздечка сивого оскаленного коня, который все время вскидывает и поворачивает голову, пытаясь увидеть, что у него на спине, а через лошадиную спину было переброшено безжизненное тело. Убитый смотрел в землю остановившимися глазами, показывая крупные желтые зубы и слегка топорща кончики длинных усов, будто он беззвучно смеялся.

Голиков хотел попросить, чтобы лицо и коня убрали, но не смог произнести ни слова: отказала речь. Он хотел закричать, чтобы на него обратили внимание, но облако над головой стало черным и закрыло все.

...Разбудил Голикова стук ложек о жестяные миски. Стук был отдаленным, как бы из-за стенки, но Голиков встрепенулся от радости, что он это слышит. Он оглядел себя. Плечо и правая рука были в бинтах. Бинт обматывал и голову, как после первого ранения. Аркадий Петрович пошевелил губами и языком, пытаясь что-то произнести, но они плохо повиновались ему.

В сопровождении медсестры в палату вошел низенький, лысый, полноватый доктор.

— Ну-с, что наш новенький? — спросил он еще с порога. И направился к койке Голикова. — Как поживаете, молодой человек? — Доктор придвинул табурет, чтобы сесть рядом.

Голиков хотел пожаловаться, что плохо, но вспомнил, что не может говорить.

— Почему так уже плохо? — удивился доктор.

«Не могу говорить», — хотел ответить Голиков.

— Но вы же разговариваете. Я вас слышу. У вас что-нибудь болит?

— Голова, — произнес Голиков, радуясь, что уходит проклятая немота.

— Все могло быть хуже. Вам контузило голову. Осколки повредили ушную раковину. А кроме того, меня тревожат ваше плечо и ваша рука... Два крупных осколка. И несколько мелких. Их надо убрать. Вы меня слышите?

— Конечно.

— Тогда соберитесь с духом. Через час операция.

Из-за новой контузии Голикову опять нельзя было давать наркоз, и он осатанел от боли, пока хирург вынимал осколки. Они шлепались в таз.

— Возьмете потом себе на память, — сказал хирург, показывая осколок покрупнее.

Голиков ничего не ответил. Он сдерживался изо всех сил: не мог больше терпеть боль.

— Все. Это был последний, — сказал хирург.

Когда Голиков облегченно вздохнул, хирург добавил:

— Теперь зашью только ухо.

Жаркая, как пламя, боль охватила правую сторону головы.

— Вы человек молодой, — приговаривал хирург. — Ухо у вас должно быть красивое.

Санитары довели Аркадия Петровича на каталке и переложили на постель. Один из них, широколицый, постарше, взял с тумбочки полотенце и вытер Голикову лицо и волосы. Они были совершенно мокрые, как после бани.

Затем медсестра поила его чаем — от еды он отказался. Накатило полное бессилие, но зато боль начала отступать. Он заснул. И открыл глаза от звуков знакомого голоса. Сначала он подумал, что голос ему приснился, но в дверях палаты стояла девушка в белом халате. Он подумал: «Медсестра» — и собирался опять закрыть глаза. Ни обедать, ни разговаривать он не хотел, но что-то в медсестре было знакомое. И Голиков вскрикнул:

— Маруся!

Она не сразу узнала его в бинтах. Затем кинулась, села на край постели, положила прохладную ладонь ему на лоб и сказала:

— Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?

А он ответил:

— Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?

— Ты спи,— произнесла она, не отвечая.— Спи крепко. Я около тебя все дни буду.

Позднее он узнал: кто-то сказал Марусе: «Комполка убило бомбой — разорвало на куски».

И Маруся прибежала, думая, что его нет в живых, что он погиб из-за нее.

Первые два дня после операции ему было особенно худо. Он метался в жару и бредил. Хирург опасался, что у него начинается заражение крови. Эти двое суток Маруся неотлучно находилась при нем. Поила его чаем, пыталась кормить, заставляла пить лекарства, терпеливо меняла компрессы, которые, как только они переставали холодить, он срывал и бросал на пол. Потом ему вроде полегчало.

А на рассвете четвертого дня, стянув со лба компресс, Голиков внезапно откинул руку с полотенцем, затих и почти перестал дышать. Маруся закричала и выбежала в коридор. Она ворвалась в палату вместе с дежурной сестрой. На койках, разумеется, все вскочили.

— Ему плохо! Он умирает! — повторяла Маруся.

Медсестра потрогала лоб, посчитала пульс, редкий, но спокойный и наполненный.

— Он будет жить,— пообещала медсестра Марусе.— Это миновал кризис.— И улыбнулась.

Через несколько дней Аркадий Петрович отпросился домой. Маруся помогла ему надеть китель и повязала на шею свой темный платок. Руку нужно было носить на перевязи, иначе боль в плече становилась невыносимой. Маруся хотела понести и чемодан с вещами, которые накопились, пока Аркадий Петрович лежал в госпитале: полотенце, белье, книги,— но Голиков

не позволил ей этого, сам вынес чемодан на улицу, а там его ждала полковая пролетка.

Войдя с Марусей к себе в комнату, Аркадий Петрович почувствовал, что невыносимо устал. Сбросив папаху, он плюхнулся на табурет возле стола, за которым по вечерам, если он не оставался в штабе, ему было так одиноко пить остывший чай. Только изредка сюда забегал Кондратьев. Маруся, быстро повесив свое пальто, села рядом, готовая помочь ему снять шинель.

Он поглядел в ее полное заботы и ожидания лицо с чистым лбом, нежной линией большого детского рта и огромными глазами. И подумал, что не хватит и целой жизни, чтобы наглядеться на это лицо. Его наполнила прежде неведомая нежность и радость, что он рядом с ней, что его не разорвало самодельной бомбой на куски и что, идя такими разными путями до той тяжелой ночи, когда он принял ее за антоновскую разведчицу, они встретились и сидели теперь в этой пустой и неуютной комнате.

— Я люблю тебя,— неожиданно для самого себя произнес он. И от волнения добавил: — Не на шутку.

Маруся побледнела, словно от испуга. И не ответила. И тогда он понял, что опять оказался слишком самонадеян. Да, она ухаживала за ним по своей доброте и в благодарность за то, что он хотел спасти ее отца. А он бог знает какие строил планы. Значит, как только он снимет шинель, Маруся уйдет, и он опять останется один в этой комнате. И, ни на что больше не надеясь и опасаясь только того, что Маруся сочтет его за человека легкомысленного, он заговорил:

— Когда я увидел тебя возле березы и ты, не зная, кто мы такие, пыталась убежать от нас, я подумал: «Какая отчаянная девчонка!» Потом ты ночью прибирала в доме, я смотрел на тебя через окно и не смел подойти. А утром у меня не было сил уехать. Когда же ты в госпитале вбежала в палату, я понял: я люблю тебя...

— И я,— едва слышно произнесла Маруся.

...В ту минуту он еще не знал и не думал, что слишком скоро потеряет ее и что воспоминаниями и мыслями о ней спустя годы будут пронизаны многие страницы его повестей и рассказов.

Квартира Голикова находилась неподалеку от штаба. Утром, легонько придерживая больную руку, Аркадий Петрович отправился на службу. Встретили его радостно. Всем хотелось поздороваться с ним, сказать несколько слов по случаю возвращения. Голиков улыбался, благодарил, но держался скованно, потому что сослуживцы от всей души пожимали и трясли здоровую руку, но тряска болью отдавалась в пораненной.

Наконец в кабинете остались только комиссар и командир разведроты Чистихин.

— Что происходит? — коротко спросил Голиков.

— Новости хорошие, — ответил комиссар и улыбнулся. — Народ из леса бежит.

— А конкретнее?

— День на день не попадает. Но выходят и сдают оружие от 15 до 80 человек в сутки. Зарегистрировано и отпущено домой 1438 перебежчиков. На людей произвело сильное впечатление, об этом многие нам говорили, что первую группу в 25 человек вы отпустили по домам через час.

— Тут случай был — хоть плачь, хоть смейся, — вмешался в разговор Чистихин. — Старуха одна сына своего отыскала в лесу, привела прямо сюда, а потом отправилась с ним домой.

— А еще многие антоновцы выходят из леса и говорят: «Мы от Васьки Шилова к командиру полка Голикову», — снова вступил в беседу командир разведроты. — Это пароль стал такой...

Комиссар сердито глянул на него. Чистихин вздрогнул и осекся. Но Голиков перехватил взгляд комиссара и спросил:

— Что с Василием?

— Извините, Аркадий Петрович, не хотели сразу расстраивать, — сказал комиссар. — Шилов убит. Его искололи ножами и тело подбросили на дорогу. В тот же день сожгли его дом.

— А родители?..

— Здоровы. Состоят при кухне пулеметной роты.

— После обеда митинг, — резко сказал Голиков. — Мы почти на нем память Василия Шилова, героя и замечательного агитатора. Возьмите пролетку, привезите родителей. Мы объявим на митинге, что бойцы 58-го полка поставят им новый дом. Только Василия вернуть мы им не сумеем...

«Он сознавал, на что идет, — думал Аркадий Петрович. — И предвидел, чем для него это может кончиться. Откуда же в деревенском малообразованном парне такое мужество и такое благородство? А я не нашел для него даже часа, чтобы посидеть и просто поговорить...»

СТРАННОЕ ЗАДАНИЕ

Дел накопилось уйма. Аркадий Петрович опять засиживался допоздна. А тут с перерывом в один день из Тамбова поступили две шифровки.

В первой содержался приказ о назначении командира 58-го отдельного полка А. П. Голикова — временно, до особого распоряжения, — командующим 5-м боевым участком с правом принимать любые необходимые по обстановке решения. А вторая предписывала Голикову явиться в Тамбов, имея на руках точные и полные данные о дислокации всех частей 5-го боеучастка.

Голиков ответил: поскольку он лишь временно исполняет обязанности командующего боеучастком, то считает целесообразным для обстоятельного разговора дожидаться возвращения Пильщикова из Москвы.

Через два часа на стол Голикова лег бланк телефонограммы с пометкой «молния» за подписью Тухачевского. Аркадию Петровичу предписывалось прибыть в Тамбов на следующий день к восьми тридцати утра.

Голиков выяснил, что единственная на весь Моршанск легковая машина в порядке, велел приготовить ее к рассвету и сел тщательно изучать обстановку на участке.

Главной боевой единицей являлся 58-й полк. Он насчитывал к 1 июля 1921 года 3700 человек. Несколько рот было размещено в Моршанске, остальные располагались по окрестным деревням Бенкендорф-Сосновка, Атманов Угол, Плоская Дубрава. В том же Моршанске стояли батальоны и роты других частей, которые тоже входили в боевой участок. И хотя антоновские банды не любили долго оставаться на месте и могли одолеть за день сто километров, наведываясь и в соседние губернии, Моршанский уезд оставался одним из самых беспокойных районов.

По сведениям, которые нуждались в проверке, неподалеку от Моршанска находилось убежище самого Александра Антонова. Но точное местонахождение знал лишь самый узкий круг бандитов, лично преданных главарю мятежа. К антоновцам удалось забросить опытных чекистов. Почти ежедневно они сообщали важные сведения, но, где прячется Антонов, никому из них установить не удалось.

«Не с этим ли связан вызов к командующему?» — рассуждал Голиков. Он пригласил к себе начальников разведотделов боеучастка и полка, председателя городской ЧК и начальника Моршанской милиции. Они сообщили много важного, но о том, где логово Антонова, участники секретного совещания сказать не могли.

В пять утра Голиков сел в старый «форд» с убирающимся полотняным верхом. Через плечо у Аркадия Петровича висела похожая на портфель сумка с документами и картами, которые могли понадобиться в разговоре с Тухачевским. Время от времени Голиков ощупывал ее локтем, словно тяжелую сумку могло сдуть ветром.

Кроме шофера, командующего 5-м боевым участком сопровождали два сотрудника особого отдела, вооруженные ручным пулеметом Гочкиса. Они охраняли не только Голикова, но и отвечали за то, чтобы ни при каких обстоятельствах не пропала его сумка.

Голиков чувствовал себя не готовым к предстоящему разговору. Скорей всего, думал он, Тухачевский упрекнет его, что до сих пор неизвестно местонахождение Антонова и ничего не делается для его скорейшей поимки. И Аркадий Петрович решил: если разговор примет острый характер, то он попросит освободить его от обязанностей командующего боевым участком и командира полка и направить в распоряжение противника для агентурной работы. И хотя Голиков сознавал, что такое разрешение Тухачевский, скорее всего, не даст — каждый должен заниматься своим делом, — Аркадий Петрович внутренне к такому заданию был готов. Оно могло оказаться для него в ы х о д о м. Правда, наиболее легким.

...Часы в приемной пробили ровно половину девятого, когда в кабинете Тухачевского звякнул колокольчик. Адъютант командующего стремительно встал, вошел в приоткрытую дверь и тут же вернулся:

— Товарищ Голиков, Михаил Николаевич вас ждет.

Аркадий Петрович поправил на себе кобуру, заранее отшелкнул замок сумки и открыл дверь. Тухачевский ждал его посреди кабинета. Увидев, что Голиков хочет ему рапортовать, мягко прервал его:

— Здравствуйте, Аркадий Петрович, садитесь.

Он показал на диван со светлой обивкой, который стоял в простенке. И сел рядом.

От командующего, как и в прошлый раз, исходило спокойствие, ощущение здоровья и могучей силы, но под глазами Тухачевского лежали тени, и гладко выбритые щеки отдавали легкой желтизной, словно командующий давненько не выходил из комнаты на воздух.

— Как там наши «прощенные дни»? — спросил Тухачевский.

— Знаете, двинулось. Только на прошлой неделе из леса вышло 317 человек.

— Очень рад, — ответил Тухачевский, думая, как показало Голикову, о чем-то другом. — А вы могли бы отметить на

карте, где стоят большие и малые гарнизоны 5-го боеучастка?

— Но мы уже подавали сведения.

— Это забудьте. Я вам даю чистую карту. Она лежит вон там, на столе. И вы обведете кружочками все деревни, где у вас находятся люди, и пометите сколько. Если на хуторе стоит три человека, укажите: «3 штыка».

— Хорошо.

— Открою вам служебный секрет,— приглушив голос, произнес Тухачевский, и на его спокойном лице мелькнула простоватая, обаятельная хитринка.— Понимаете, кто-то сообщил в Москву, будто мы потому не можем поймать Антонова и покончить с мятежом, что наши бойцы, живя среди населения, которое отчасти сочувствует бандитам, сами, мол, поддаются разложению. И дисциплина поэтому никуда. Одним словом, готовят нам очень серьезную проверку. И я хочу провезти комиссию из столицы по всем медвежьим углам.

— Мы готовы принять ее хоть завтра,— решительно заявил Голиков.

— Не будем спешить. Все гораздо серьезней, чем кажется. Владимир Ильич не зря нам говорит, что мы уже имеем своих бюрократов, которым форма важнее сути. Поэтому, простите за пошлый практицизм,— Тухачевский снова понизил голос,— я отменяю все боевые операции на вашем участке. Отменяю любые вылазки. Снимаю все дальние дозоры. Только строевые занятия, политбеседы; жилье — в идеальный порядок, оружие должно блестеть, как новое. И больше ничего. Иначе жизни от непрерывных комиссий нам не будет. Я рассчитываю, Аркадий Петрович, на вашу неизменную исполнительность.— В голосе командующего послышались вопросительные интонации, словно он желал лишний раз убедиться, что собеседник его понял.

— Все будет сделано в точности,— уверил его Голиков.

На обратном пути Голиков пересел на заднее сиденье. Он надеялся час-другой поспать. Однако перед глазами возникали картины странного разговора с командующим. Интуиция подсказывала Голикову, что за сегодняшней беседой кроется что-то совсем другое. Что?! Этого он понять пока не мог.

Возвратясь в Моршанск, Голиков шифровками и лично сообщил всем командирам, что готовится большая проверка. Времени в обрез. И работа закипела...

СТРАННОЕ ДОНЕСЕНИЕ

Дежурный по штабу долго тряс его за плечо, но Голиков не просыпался. Он слышал, что его будят, отвечал что-то бессвязное, но глаз не открывал. В штабе уже привыкли: стоит в любой час ночи войти в кабинет, командир тут же просыпается и спрашивает: «Что?!» А сейчас было не добудиться, словно его чем-то опоили.

На самом деле Аркадий Петрович трое суток практически не спал. У него было предчувствие, что вот-вот должно что-то произойти. Наконец, изрядно умаявшись, он посмеялся над собой, велел натопить баню, попарился, съел миску щей с мясом и отправился спать. Впервые за трое суток он разделся и сам себе разрешил выспаться до утра...

Наконец Голиков приоткрыл глаза и произнес свое знаменитое: «Что?!»

— Срочная из Тамбова, — сказал дежурный.

Аркадий Петрович схватил бланк телеграммы, прибавил огня в керосиновой лампе.

«Последние несколько дней, — читал он, — кавбригада Котовского под видом белоказачьего отряда, пробившегося с Дона, осуществляла особо секретную операцию по обезвреживанию 14-го и 16-го бандполков под командованием Ивана Матюхина. Полки уничтожены, но сам Матюхин с группой головорезов бежал. По всей губернии объявляется боевая тревога. Всем постам...»

Аркадий Петрович кинул телеграмму на стол и начал быстро одеваться. Разные мысли и чувства одолевали его: легкая зависть, что операцию доверили не ему; досада, что Матюхин ушел; озабоченность тем, что Матюхин мог натворить со зла.

Уже за столом Голиков продиктовал текст приказа, который нужно было передать во все подразделения — по телефону, телеграфу, с нарочными. После этого он остался один, чтобы обдумать ситуацию.

С Котовским Голиков познакомился летом. Григорий Иванович прискакал со своей бригадой в Бенкендорф-Сосновку. Такие гости на территории боевого района появлялись нечасто. Лишь только Аркадий Петрович узнал о приезде Котовского, он помчался с полуэскадроном в Бенкендорф-Сосновку.

В центре большого села находилась базарная площадь, от которой шел спуск к дороге. У ее края светился яркими огнями двухэтажный кирпичный дом, возле которого царило непривычное оживление. Здесь остановился Котовский.

Григорий Иванович чувствовал себя в тот вечер плохо. Он извинился, что принимает «хозяина района» в постели.

— Это Голиков, я тебе о нем рассказывал, — представил Котовский гостя своей жене. (Она была врачом бригады и всюду сопровождала Григория Ивановича.) — Самый молодой командир полка у нас в губернии. А может, и в Республике. Еще он известен тем, что ездит по бандитским селам, останавливается в домах, откуда люди ушли к Антонову, и терпеливо объясняет родным, что бандиты могут безбоязненно выйти из леса. Да сознаешь ли ты, Аркадий, как ты рискуешь?

— Не больше других.

— Ошибаешься — больше. Антонов и его свора понимают, что им нет прощенья, и творят бессмысленные жестокости. Мне рассказывала одна женщина. Бандиты увели у нее четырнадцатилетнюю дочку и нанесли ей тридцать ударов ножом. Так способны поступить только изверги, которым чужая боль и кровь доставляют радость!..

В тот вечер и произошел у Голикова разговор, который оставил глубокое впечатление.

— Конечно, желающих уйти к Антонову сейчас почти нет, — сказал Котовский. — Авторитет его упал до самого низкого уровня. И все же я бы с окончательными выводами не спешил. На место Антонова в «народные вожаки» рвется Иван Матюхин. Этот будет пострашней. Антонов был «романтик». Он еще пытался создать видимость, будто действует в интересах обиженных. И сейчас для Антонова главное — остаться в живых самому. А Матюхин готов возродить мятеж в прежних размерах, даже если для этого понадобится убить новые десятки тысяч. Тактически сейчас необходимо поймать Антонова, устроить над ним суд, показать, к чему этот «радетель за нужды народные» стремился на самом деле. Но если смотреть вперед, то теперь гораздо важнее обезвредить Матюхина. Антонов — это уже день вчерашний. А Матюхин может стать днем завтрашним.

Иван Матюхин считался первым помощником Александра Антонова. Скрытный, властный, отчаянно смелый, он до 1917 года слыл удачливым конокрадом. В 1918-м, послужив в красногвардейцах, был отмечен за решительность и рвение и назначен командиром продовольственного отряда. Власть над людьми пробудила в нем звериную злобу к ним. Он обирал крестьян, порол их, подвергал другим унижительным наказаниям. Матюхина арестовали и должны были расстрелять. Спас его

Антонов, в ту пору начальник Кирсановской милиции. Они вместе ушли в лес. Считалось, что Матюхин для Антонова преданнее собаки.

Матюхин командовал сразу двумя полками мятежников — Четырнадцатым и Шестнадцатым. И здесь его наклонности садиста раскрылись в полную силу. Он любил собственноручно умерщвлять пленных и даже изобрел свои приемы — убивал ударом в позвоночник или отворачивал голову.

По сообщениям разведки, Матюхин в последнее время, не стесняясь подчиненных, в глаза корил Антонова, что тот «погубил народное восстание», и заявлял во всеуслышание, что «сам готов возглавить движение и довести его до победного конца». Матюхина сжигал огонь тщеславия. Из конокрадов в предводители восстания — такой карьеры не делал никто. Матюхин самоупоенно верил, что именно ему суждено, сместив неудачника Антонова, довести дело до конца. Он ощущал в себе решимость, которую уже утратил Антонов.

Голиков не мог сказать, готовился ли Котовский к поимке Матюхина, когда они встретились в Бенкендорф-Сосновке, но теперь Аркадию Петровичу было очевидно, что недавняя странная просьба Тухачевского имела прямое отношение к секретной операции Котовского. Зная, что бандиты могут совершать рейды по сто двадцать километров в сутки, Тухачевский принял меры к тому, чтобы не произошло случайного ненужного столкновения постов 5-го боеучастка с Матюхиным или кавалеристами Котовского, что могло бы сорвать операцию, порученную Котовскому.

ЗАПАДНЯ ДЛЯ МАТЮХИНА

Вскоре стали известны подробности этой операции — сверхсекретной, единственной в своем роде за всю историю гражданской войны. И Голиков снова остро пожалел, что имел к ней лишь косвенное отношение.

...Все началось с того, что чекистам удалось захватить Павла Тимофеевича Эктова — заместителя начальника главного оперативного штаба «партизанской армии» Антонова. Начальником считался сам Антонов. И Тухачевский предложил Котовскому воспользоваться таким удачным обстоятельством.

Эктова доставили в бригаду Котовского. Он дал согласие помочь в окончательной ликвидации мятежа. Тухачевский свя-

зался с Москвой. Генштаб и ВЧК разработали блестящую легенду.

У Антонова была тесная связь с Деникиным. Seriously обсуждался вопрос, чтобы часть белых войск с юга перебросить сюда, в центр России, взять штурмом Тамбов. А там они надеялись за день-два захватить Москву.

И в Москве, в Генштабе, решили воспользоваться этими планами.

На юге был разгромлен казачий полк и захвачены знамена, документы, регалии. В плен попал и командир, войсковой старшина Фролов. Он многое сообщил. И разработанная в Москве легенда оказалась на удивление простой — будто бы полк Фролова пробился на помощь к Антонову.

В Тамбов прислали захваченное у Фролова имущество: его личные вещи, печатку и тому подобное. И пятерых чекистов, которые должны были охранять Эктова круглые сутки.

О задуманной операции знали эти пятеро, особоуполномоченный ВЧК Левин, Тухачевский и несколько человек в Москве, среди которых были Дзержинский и Ленин. Круг посвященных был сужен до предела, потому что Антонов заслал своих агентов на телеграф, в Тамбовскую ЧК и даже в штаб Тухачевского.

Григорий Иванович Котовский начал готовить свою бригаду к проведению операции. Пятьсот рядовых кавалеристов в самый короткий срок следовало переодеть в казачье обмундирование, научить говорить «станичник» вместо «товарищ», и чтобы к своему командиру они обращались «ваше благородие». И каждый должен был запомнить, откуда он родом, где будто бы воевал против красных, поскольку предполагалось «братание» с бандитами, застолье и прочее. Переодетых котовцев, предупреждала Москва, до последнего мгновения будут проверять и подлавливать на мелочах...

Для начала Котовский переодел в крестьянское платье первый эскадрон и отправился с ним в большое село. По агентурным данным, Матюхин имел здесь своих людей. Рядом с Григорием Ивановичем ехал Эктов. В селе разыскали старосту. Котовский объяснил:

— Мы казаки с Дона и Кубани. Прибыли для помощи. Хотим повидать Антонова и Матюхина.

Высокий степенный староста был озадачен и напуган.

— Глухомань у нас,— начал он.— Писем-газет не читаем. Кто для чего куда едет, нас не касается. Лишь бы нас не трогали. А желаете отдохнуть с дороги, квартиры я вам отведу. Хорошим гостям мы завсегда рады.

Григорий Иванович понял, что беседует с нужным ему

человеком и теперь надо ждать, пока староста пошлет донесение и получит ответ.

Ночью с охраной приехал брат Ивана Матюхина — Михаил. Встреча произошла в избе старосты. Под потолком горела керосиновая лампа, но окна были плотно занавешены. Когда Матюхин-младший вошел в дом, Котовский, Эктов и еще несколько мнимых казаков заканчивали ужин. Завидев гостей, Григорий Иванович поднялся.

— Я войсковой старшина Фролов, — сказал он. — Вот мой документ за подписью генерала Деникина. — И протянул длинное удостоверение личности, отобранное у настоящего Фролова.

Матюхин долго рассматривал плотный лист бумаги с размашистым росчерком.

— А это господин Эктов, — продолжал Котовский, — заместитель начальника вашего повстанческого штаба. Прибыл вместе с нами. Надеюсь, вы с ним знакомы и ему мандат не требуется.

— Наслышан, но лично встречаться не довелось. — Михаил Матюхин покраснел: брат Иван допустил его к своим делам недавно.

Вести серьезные разговоры с Михаилом не имело смысла. Котовскому был нужен Иван. Но коль скоро Иван не приехал, Григорий Иванович сказал младшему Матюхину:

— Отдохните, поужинайте, а я напишу письмо.

И продиктовал своему писарю длинное послание, в котором предложил «объединить усилия в борьбе против Советской власти». Расписался, запечатал конверт печатью войскового старшины Фролова.

Вскоре поступил ответ. Иван Матюхин сообщал, что стоит со своими полками в двух верстах и приглашает «их благородия войскового старшину господина Фролова и господина Эктова в лес вдвоем для личных переговоров».

Положение Котовского становилось предельно опасным. Помимо того, что любой неучтенный пустяк мог провалить всю операцию, Григорий Иванович еще и не доверял Эктову.

Эктов согласился помочь в разгроме Антонова, когда он оказался в руках у чекистов. Для его охраны Москва прислала пятерых сотрудников ВЧК. Это были надежные люди, но сопровождать Котовского и Эктова во время свидания с Матюхиным они не могли. Достаточно было Эктову произнести во время встречи: «Перед вами Котовский» — и Эктов вырывался из плена. А по напряженному лицу бывшего заместителя начальника антоновского штаба Григорий Иванович видел, что опасения его не напрасны.

Когда обоим подвели оседланных коней, Котовский отозвал Эктова в сторону и сказал:

— Я трезво учитываю положение и вероятным исходом считаю собственную смерть. Но я иду на этот безумный шаг сознательно. И предупреждаю: при первой же попытке к предательству вы будете убиты. Поэтому, когда мы подъедем к бандитам, вы ни на минуту не должны отрываться от меня. Я должен чувствовать ваше стремя.

Эктов ничего не ответил, а для обстоятельной беседы не было времени и подходящей обстановки: за каждым жестом «войскового старшины» и его спутника наблюдали посланцы Матюхина. Котовскому оставалось надеяться, что Эктов не усомнится в его решительности.

За селом навстречу «казакам» выехала полусотня всадников. Заметив Эктова, трое из них пришпорили коней, подсккали и начали радостно трясти его руку. А чуть поодаль, несмотря на темень, Котовский разглядел вторую группу кавалеристов. Она не двигалась и ждала, когда к ней приблизятся загадочные гости.

Здороваясь с бандитами, которые так обрадовались Эктову, пожимая их жесткие, потные от волнения ладони, Котовский не выпускал из поля зрения ту дальнюю группу. В ее центре находился могучего сложения мужик в лохматой папахе, френче, перетянутом множеством ремней, и широченных галифе. Сидел он на битюге-тяжеловозе. Вероятно, другая лошадь его бы просто не выдержала. Котовский положил руку на плечо Эктова.

— Станичники,— обратился он к бандитам,— спасибо за встречу, но мы должны представиться начальству.

И Григорий Иванович тронул коня, нарочно задев стремя Эктова и напоминая тому о сделанном предупреждении.

Приближаясь к неподвижной группе, Котовский спешил во всех подробностях разглядеть того могучего мужика. Он увидел грубое, с крупными чертами лицо. Оно оплыло от обжорства и водки. Под кустистыми бровями поблескивали маленькие, злые, кабаньи глазки. Они ощупывали «казаков», взвешивали, пронзали, на что-то злились и явно трусили.

Судя по тому, что бандит на громадной лошади находился в центре и свита не решалась подъехать к нему вплотную, это и был Иван Матюхин.

Приблизясь к Матюхину, Котовский поднес ладонь к козырьку, потряс бандитскому атаману руку и тут же накинул с упреками:

— Иван Степанович, что же это происходит? Мы шли к вам с Дона через всю Россию. Тридцать раз могли нас

уничтожить. Наконец мы на долгожданной тамбовской земле. Но вместо решительных совместных действий мы, как гимназистки, обмениваемся записочками. А времени-то нет. Сколько его упущено — нами и вами?

Матюхин попытался возразить. Котовский притворился, что не заметил этого, развернул коня и сказал:

— Приглашаю всех следовать за мной.

Властность тона произвела впечатление. Матюхин не решился послушаться и поехал справа от Котовского. Слева покачивался в седле Эктон.

— Как же вы к нам пробрались? — спросил Матюхин. — Мы-то здесь все знаем: где стоит 58-й полк и куда поскакала бригада Котовского. Все сведения получаем прямо из штаба Тухачевского. А вы-то шли наобум. Хоть бы связались сначала с нами.

— Свои люди есть и у нас на Тамбовщине и в Москве, — ответил Григорий Иванович.

Беседуя с Матюхиным, Котовский краем глаза наблюдал за Эктовым. Когда Эктову казалось, что Котовский его не видит, он распрямлялся, и в лице его проступала решимость. Однако стоило комбригу мельком взглянуть на него, и Эктов моментально сникал. Но сколько такой молчаливый поединок мог длиться?

За поворотом открылась деревня, где стояли «казаки». Навстречу колонне выбежали квартирмейстеры. Приветствуя гостей, они предложили всем разделиться по десять — пятнадцать человек для ужина и ночлега.

Матюхин с тревогой спросил:

— Господин Фролов, а как у вас поставлена охрана?

Шустрый квартирмейстер ему ответил:

— Муха не пролетит.

И это была правда. Одна часть бригады принимала «гостей», а другая оцепила деревню. Наготове стояли тачанки с пулеметами.

Котовский пригласил Матюхина к себе. Он остановился в доме старосты — самом влиятельном. С приближенными и личной охраной свита бандитского атамана составила — Григорий Иванович сосчитал — 65 человек.

Котовский распахнул дверь в избу. Матюхин и здесь послал первым начальника своей охраны. Тот вернулся через минуту, шепнув:

— Там богатое угощение.

Все разместились за столами. Начались тосты: за встречу, за успех «общего дела».

— Я подымаю стакан за здоровье Александра Степановича

Антонова, — произнес Котовский. — Я желал бы и его видеть за этим столом. Если не сегодня, то в другой удобный ему день.

— Антонов контужен, — хмуро ответил Матюхин. — От всех прячется. Руководить восстанием теперь буду я. Губерния меня знает. Она за мной пойдет. Я соберу армию в десять тысяч сабель, и тогда мы посмотрим, чья возьмет...

Котовскому стало очевидно, что главные силы мятежа теперь группируются вокруг Матюхина. И силы эти — два отлично вооруженных полка — окружены сейчас его, Котовского, бригадой в селе. Операцию пора было заканчивать.

Григорий Иванович встал, вынул наган, постучал им по столу. Это был сигнал. В тот же миг поднялись командиры и начали встревоженно вскакивать бандиты.

— Долой комедию! — крикнул Котовский. — Расстрелять эту сволочь! — И направил свой револьвер на Ивана Матюхина.

На лицах бандитов появился неопиcуемый ужас. У начальника личной охраны Матюхина случился приступ икоты; заместитель Матюхина по разведке, один из главных истязателей и палачей, потерял от страха сознание и плюхнулся прямо на блюдо с недоеденным холодцом, а сам Матюхин запрокинул голову и теми самыми руками с толстыми пальцами, которыми он любил ломать пленным шейные позвонки, закрыл свое лицо с обезумевшими и всех ненавидящими кабаньими глазками.

Котовский трижды нажал спуск нагана, чтобы покончить с атаманом. И трижды курок шелкнул впустую, хотя все гнезда барабана были заполнены патронами.

...Готовясь к операции, Котовский велел оружейнику заменить ему старый наган на новый. Тот принес.

— Хорош ли наган? — спросил Котовский.

— Плохого не предложу: я сам из него сделал дюжину выстрелов.

Котовский ему поверил. На самом деле оружейник из нагана не стрелял, иначе бы сразу обнаружил фабричный брак — у револьвера был сбит боек.

К счастью, на помощь Котовскому пришли его командиры. Залп — и дюжина бандитов повалилась на пол. Еще залп... В досаде Григорий Иванович отбросил наган, выскочил из-за стола и начал отстегивать крышку деревянного футляра, чтобы достать маузер. Но первые драгоценные секунды уже были потеряны. Один из бандитских вожаков, который от испуга залез под стол, выстрелил из карабина и попал Григорию

Ивановичу в правое плечо. Страшная боль пронзила Котовского — пуля раздробила кость. Григорий Иванович перехватил маузер в левую руку и начал стрельбу. Шесть десятков бандитов, сидевших за столом, были убиты. В это же время кавалеристы Котовского скосили из пулеметов и винтовок оба матюхинских полка.

За эту небывалую в истории гражданской войны операцию Григорий Иванович Котовский был удостоен Почетного золотого оружия, а почти двести его бойцов награждены орденами Красного Знамени.

Но безответственность оружейника и револьверная осечка обошлись дорого. Рана Котовского оказалась опасной. Тамбовские врачи предложили ампутацию. Комбрига срочно перевезли в Москву — столичные хирурги спасли ему руку.

А вторым драматическим последствием осечки явилось то, что Иван Матюхин, оправясь от страха, выскочил из окна и бежал. Он собрал банду в сто головорезов. Она отличалась самой изощренной жестокостью. Понадобилась еще одна блестящая операция, чтобы полностью ликвидировать банду вместе с Матюхиным.

И лишь спустя год был выслежен и убит Александр Антонов.

ОБЕД С КОМАНДУЮЩИМ

Через неделю Тухачевский принимал в Моршанске парад. На широченной площади между двумя гостинными дворами командующий стоял на тачанке, не отрывая руки от козырька фуражки все тридцать пять минут, пока печатали шаг пехотинцы, сдерживая коней, готовых рвануть с места, проходила ровными рядами кавалерия и неторопливо катили полные сознанием своей значительности пулеметчики — все войска 5-го боевого участка.

Командовал парадом Голиков, который сначала, отсалютовав шашкой, отдал Тухачевскому рапорт, затем совершил перестроение для марша и, сойдя с коня, встал возле тачанки, как бы желая подчеркнуть, что не намерен ни во что вмешиваться. Пусть каждая рота покажет свою выучку.

И роты показали. Тухачевский это оценил. И поскольку, пройдя перед тачанкой, роты снова собрались на площади (о чем просил перед началом парада командующий), то Михаил

Николаевич объехал строй и поблагодарил бойцов за отличную подготовку.

«Глядя на вас,— сказал он в короткой речи,— я лишний раз убедился, что у нас существует отлично обученная регулярная Красная Армия, какой на земле еще не было».

Радостное и громкое «ура» пронеслось над площадью. Бойцы были довольны: их старание замечено.

А потом исполняющий обязанности командующего 5-м боевым участком Голиков дал обед в честь командующего войсками Тамбовской губернии Тухачевского. Щи им привезли в небольшом бачке из красноармейского котла пулеметной роты. Щи получились наваристые, в меру посоленные, мясо в щах не перепрело и не разваливалось на отдельные волокна. А на второе, по совету строгого адъютанта Тухачевского, было приготовлено любимое блюдо командующего — жареная картошка. Спасибо адъютанту — он объяснил, как надо ее готовить. Повар пулеметчиков по своей неграмотности просто начистил картошку, нарезал ее, полил маслом и собрался жарить, но адъютант его остановил. Он пояснил, что картошку сначала нужно сварить в мундире, а потом уже чистить и класть на сковородку.

Пока Михаил Николаевич после парада приводил себя в порядок, то есть, стоя во дворе в одних галифе, умывался до пояса холодной водой, которую ему лили прямо из ведра, Голиков поинтересовался, все ли готово к столу. Ему доложили о рекомендованном способе приготовления второго блюда. И Аркадий Петрович, встревоженный, тут же обратился к адъютанту командующего за разъяснением, подозревая даже некий возможный подвох.

Будучи человеком решительным, Голиков прямо заявил адъютанту, что он удивлен рекомендацией, поскольку знает — Михаил Николаевич из древнего дворянского рода. И хотя Тухачевский предан революции и доказал это на деле, но привычки и вкусы у него, надо полагать, будут потоньше, в соответствии с полученным воспитанием.

Но адъютант холодно заметил, что Михаил Николаевич действительно принадлежал к господствующему классу — по отцу. А мать Михаила Николаевича — простая крестьянка, она даже не умеет читать. При всем при этом Михаил Николаевич ее нежно любит и не считает зазорным есть то, что ели и едят в простых крестьянских семьях.

Михаил Николаевич в самом деле воздал должное шам. Был приятно удивлен, что такие же сегодня едят и пулеметчики. И был тронут, когда к столу подали его любимую картошку. Он съел целую тарелку, попросил еще немного и сказал:

— Я помнил, Аркадий Петрович, что ваши бойцы готовились к смотру. И считал невежливым, если бы их усилия пропали даром. И еще,— продолжал Тухачевский, накладывая белейшую капусту, заквашенную с яблоками и клюквой,— я хотел вас поблагодарить за абсолютную надежность. Вы сделали все, о чем я вас просил. Благодаря этому во время сложнейшей операции бригады Котовского не произошло никаких недоразумений, которые могли бы помешать Григорию Ивановичу.

Голикова редко хвалили. Он покраснел и хотел даже встать.

— Да сидите вы,— сказал Тухачевский.— Я ж у вас в гостях. Кстати,— улыбнулся он,— как там наши с вами «прощенные дни»? Я не видел последних сводок.

— Мы вчера, Михаил Николаевич, подсчитали: на территории 5-го боеучастка из леса вышло 6112 человек. Многие изъявили желание служить в Красной Армии.

— Шесть тысяч с лишним только на вашем участке? — переспросил Тухачевский.— Это очень большая цифра. Мне кажется, Аркадий Петрович, у вас хорошая рука. За что не возьметесь — все у вас получается. Учту на будущее.— Тухачевский рассмеялся и встал.— Чуть не забыл. Мне передали ваш рапорт с просьбой направить вас на учебу в Академию Генерального штаба. Я его подписал. Людей, подобных вам, которые проникнуты духом смелого ведения войны, отличаются личной храбростью и умением принимать самостоятельные решения, мы будем искать и давать им быстрое продвижение вперед. Надеюсь, нам с вами еще доведется вместе работать.

И Тухачевский протянул Голикову руку.

Вскоре Голиков и Тухачевский получили новые назначения. Пути их надолго разошлись, но Тухачевский оказался прав: они встретились...

Это случилось в середине тридцатых годов. Михаил Николаевич стал уже Маршалом Советского Союза и заместителем наркома обороны. Однажды в руках своей дочери Светланы он увидел книгу. Сидя на диване и поджав по-турецки ноги, Светлана так увлеченно ее читала, что не заметила, как в комнату вошел отец. Михаил Николаевич даже слегка обиделся: он любил дочь, мало бывал дома и привык, что Светлана при его появлении сразу откладывала в сторону свои дела.

Тухачевскому стало любопытно, что же дочь с таким упоением читает. И он мягко — на одну минуту — взял книгу из ее рук. Это была «Школа» Аркадия Гайдара, самое первое издание: по-

весть тогда еще называлась «Обыкновенная биография». На внутренней стороне обложки был помещен портрет автора: мальчишка в командирском френче и папахе, с револьвером и шашкой. Лицо округлое, толстогубое, выражение лица спокойное, уверенное, даже отчасти дерзкое. Рядом с портретом была помещена автобиография: «Четырнадцать лет я ушел в Красную Армию... пятнадцать лет командовал ротой, а в семнадцать — 58-м полком по борьбе с бандитизмом...»

— Нравится книжка? — спросил Михаил Николаевич.

— Очень! Это про мальчишку, который попал на войну. И что с ним там случилось.

— Похоже, написал ее мой сослуживец, — сказал Михаил Николаевич.

— Правда, ты знаешь Гайдара? Какой ты счастливый!

— Гайдара я не знаю, — усмехнулся Тухачевский, — но зато я знал командира 58-го полка по борьбе с бандитизмом Аркадия Петровича Голикова. Я сам его назначал. Став писателем, он, видимо, взял псевдоним. Теперь это модно. Дашь мне потом почитать?

Прав оказался Тухачевский и в другом: им довелось делать общую работу. Как заместитель наркома обороны, Тухачевский прилагал громадные усилия, чтобы в случае войны у наших бойцов было самое лучшее и самое надежное оружие. Тухачевский следил за созданием каждой модели самолета, орудия, танка. Один из первых в стране он поддержал энтузиастов во главе с инженером Сергеем Королевым, которые занимались созданием ракет. В середине тридцатых годов на советских самолетах-истребителях уже стояли ракеты, как мы бы теперь сказали, класса «воздух-воздух», которые явились прообразом будущих «катюш». Такого оружия тогда не было нигде в мире.

А Гайдар своими книгами растил мужественное, стойкое и самоотверженное поколение, способное владеть этой техникой.

И хотя Тухачевский не дожил до начала войны, а Гайдар погиб в октябре сорок первого, труд и помыслы давних сослуживцев не пропали даром — мы победили.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

А пока что с антоновщиной было покончено.

В начале 1922 года Аркадия Петровича вызвали в Москву. Его пригласил к себе Александр Константинович Александров, который стал теперь командующим войсками ЧОН Республики. Встретил он Голикова тепло. Под конец сказал:

— Мы имеем ваш рапорт и отзыв о вашей деятельности из штаба Тамбовской губернии. Мы согласны направить вас в Академию Генштаба. Но в этом году прием уже закончен. Следующий будет только осенью. И потому, Аркадий Петрович, у нас к вам большая просьба. В Енисейской губернии разбойничает некий Иван Соловьев. Он величает себя «императором тайги». И что-то не удается с ним пока справиться. Это, быть может, последний очаг гражданской войны в стране. Не согласились бы вы нам помочь? Опыт у вас солидный.

— А велико ли войско у этого «императора тайги»?

— Да сабель пятьсот. Не больше.

— Хорошо. Я поеду, — ответил Голиков. — Только бы мне снова не опоздать в академию.

— На этот счет не беспокойтесь. Отзовем вовремя — к началу занятий.

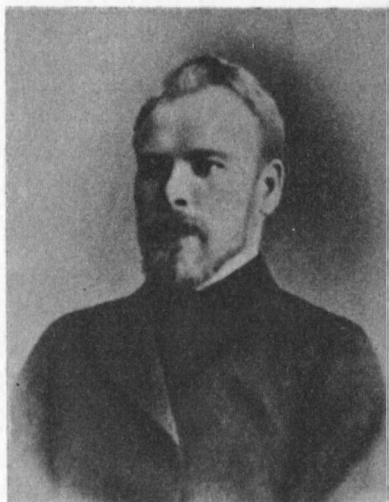
Голиков не представлял, какое испытание его ждет...

*Москва — Залевки — Голицыно
1982—1986 гг.*





Наталья
Аркадьевна
Голикова.

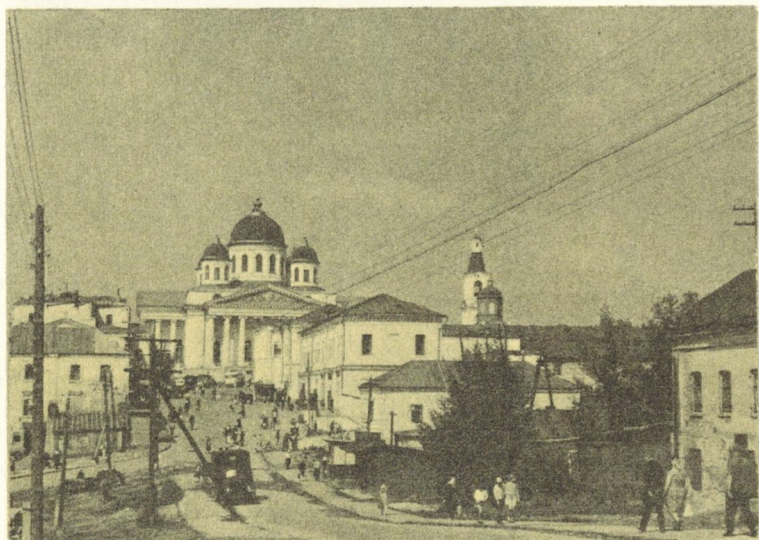


Петр
Исидорович
Голиков.



Двухлетний Аркадий с
сестрой Наташей —
Талкой.

Арзамас.
Старая часть города.
В центре—знаменитый
Воскресенский собор,
построенный в честь
победы России над
Наполеоном в
Отечественной войне
1812 года.



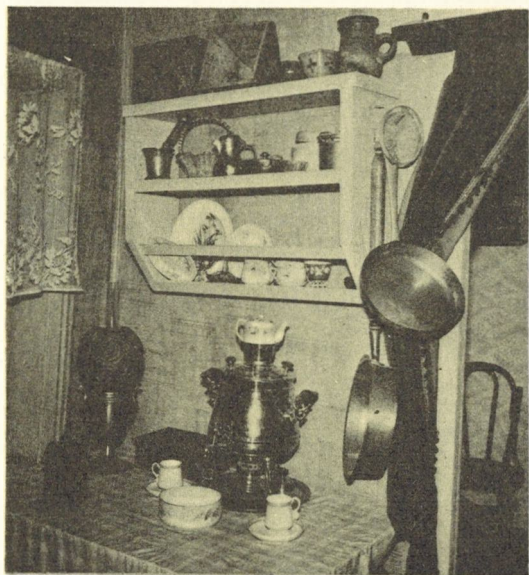


Дом в Арзамасе,
где с 1912 года жила
семья Голиковых.
Теперь здесь открыт
мемориальный музей.



Гостиная.
За этим столом
Аркадий делал уроки.
Тут он написал
школьное сочинение
«Старый друг —
лучше новых двух»,
которое многое
определило в его
дальнейшей судьбе...

Угол
детской
комнаты.



Кухня.



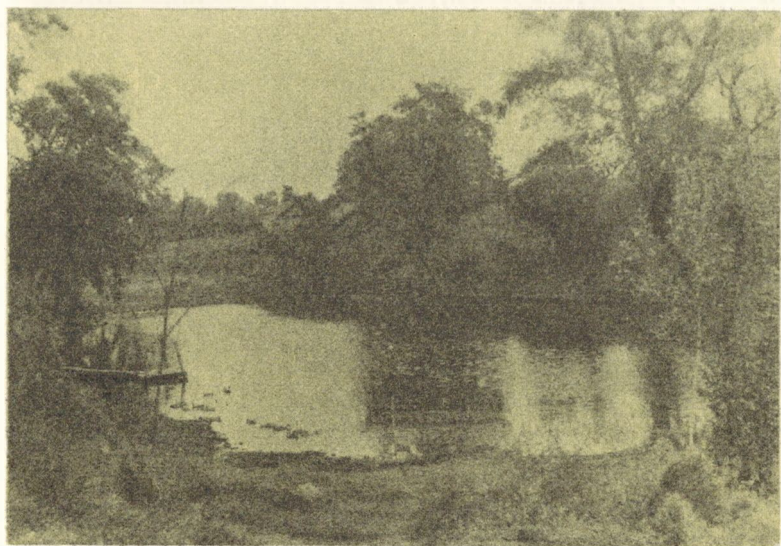
Аркадий Голиков, ученик первого класса
реального училища,
с тетей Дашей, матерью и сестрами
Катей, Олей и Наташей.
1914 год.



П. И. Голиков
(первый слева) —
солдат
пехотного полка.

На этом пруду
происходили
«морские» бои,
о которых А. П. Гайдар
потом рассказал
в повести «Школа».

Здание
реального
училища.





Он с детства любил сестер
и всегда заботился о них.



Бывшее здание кинотеатра Рейста
(фото 1966 года).



Аркадий Голиков в роли садовника
в любительском спектакле «Среди цветов».



Учитель словесности
Николай Николаевич
Соколов,
по прозвищу Галка.
Он первый обратил
серьезное внимание
на литературные
способности
своего ученика.

Николай Николаевич
Киселев.

Это его в детстве
спас Аркадий Голиков,
когда Киселев
провалился под лед.

(Снимки
Н. Н. Киселева
той поры
не сохранились.
Фото сделано
на фронте
в 1943 году.)



В этом доме после февральской революции 1917 года был открыт Арзамасский клуб большевиков. Сюда привел тринадцатилетнего Аркадия Голикова. его учитель Н. Н. Соколов. Здесь началась удивительная «обыкновенная биография» писателя Аркадия Петровича Гайдара.



Дом
Марии Валерьяновны Гоппиус,
где был создан первый в
Арзамасе подпольный
большевистский кружок.
(Фото 1966 года.
Здание не сохранилось.)

Мария Валерьяновна Гоппиус
со своими учениками —
членами подпольного
большевистского кружка.
Первый слева стоит ее сын —
Евгений Гоппиус;
справа от нее сидит
Алексей Зиновьев.





Группа арзамасских
большевиков
(слева направо): А. Ф. Зыбин,
С. А. Видульцев, М. В. Гоппиус и
горвоенком М. Е. Чувирин,
которому принадлежала мысль
назначить четырнадцатилетнего
Аркадия Голикова
адъютантом командира
арзамасского
коммунистического
батальона Е. О. Ефимова.

Участник первой мировой войны Турносов.
Вел занятия с бойцами коммунистического батальона.

Преподавал

Аркадию Голикову азы трудной солдатской науки.



Аркадий Голиков.
1918 год.

За поясом маузер,
купленный на базаре.

С этим пистолетом
Аркадий Голиков прошел всю
гражданскую войну.



Софья Федоровна Шер,
в феврале 1918 года —
комиссар почты и телеграфа
в Арзамасе.

Для встречи с ней 15 февраля
Аркадий Голиков отправился
в Стригулинские номера
(см. главу «Удар ножом»).



Здание, в котором
находилось кафе
«Черная кошка».
Тут была арестована
группа заговорщиков,
которая готовила
вооруженное
восстание
против
Советской власти.



Бывшие
торговые
ряды.



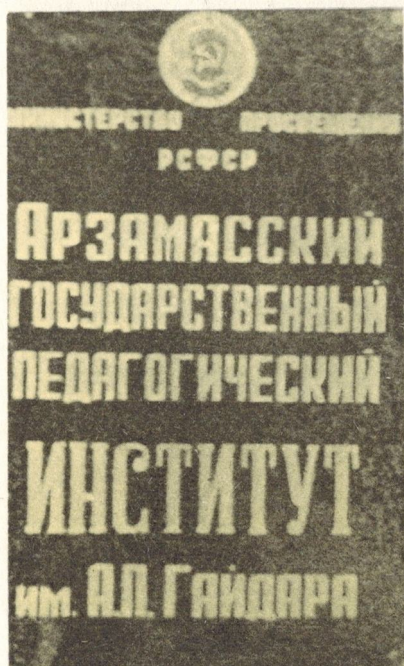
Стригулинские номера.
Где-то здесь
15 февраля 1918 года
на Аркадия Голикова
было совершено
покушение.



Бывшее здание духовного училища.

С августа 1918 года до конца февраля 1919-го его занимал штаб Восточного фронта.

Теперь это главное здание Арзамасского государственного педагогического института им. А. П. Гайдара.





Иоаким Иоакимович Вацетис;
в 1918 году —
командующий
Восточным фронтом;
затем — Главнокомандующий
всеми Вооруженными
Силами Республики.

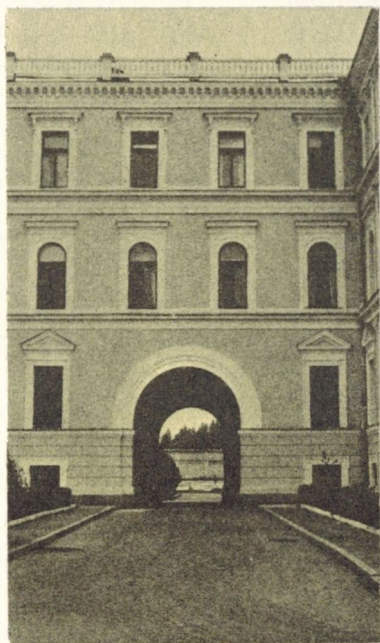
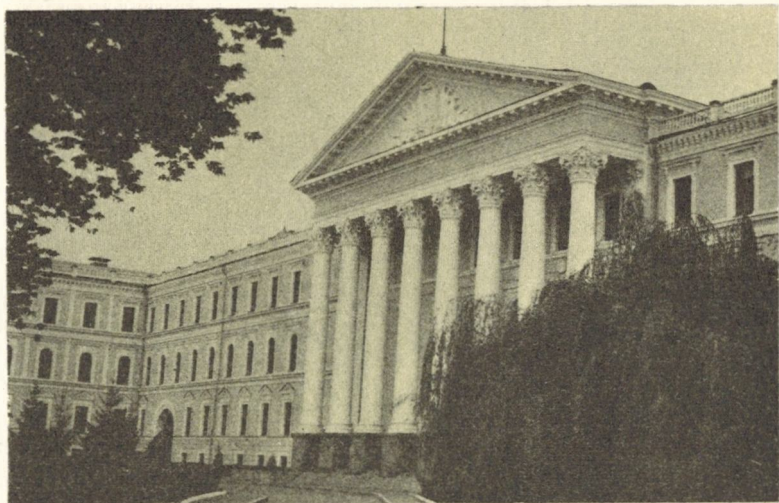
Фотокопия заявления
Аркадия Голикова с просьбой
принять его в члены партии
большевиков.

27 мая 1918
В Комитет партии
Коммунистов.
Прошу принять меня
в Арзамасскую органи-
зацию РКП.

Пунктом за меня
тов. Голиков
Аркадий Вавилов



Павел Михайлович
Никитин
(Пашка Цыганок).
1922 (?) год.
С Павлом
Никитиным
летом 1918 года
Аркадий Голиков
чуть-чуть не уехал
на Восточный фронт.
Позднее они
встретились в Сибири.



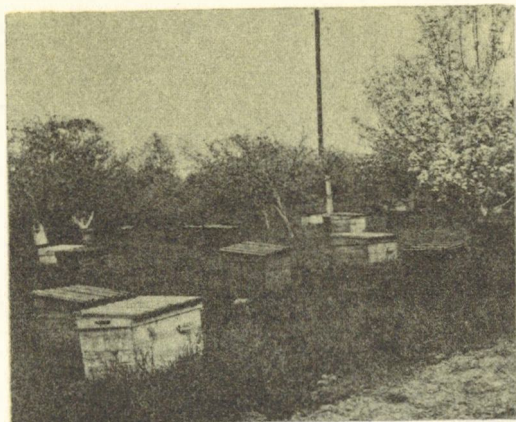
Киев.
Бывшее здание
кадетского корпуса, где весной
1919 года разместились
командные курсы Красной Армии.

Село Кожуховка под Киевом.
Собор, близ которого
27 августа 1919 года
разгорелся бой между
курсантами и белыми.



Местные ребята знали,
что в 1919 году писатель
Аркадий Петрович Гайдар
участвовал в бою за их село.
Вместе с ними автор книги искал
могилу Якова Оксюза и других
киевских курсантов.





Пасека
совхоза
«Кожуховский».
В 1919 году здесь было
картофельное поле.



Пасечник:
«И я о том бое
слышал...»

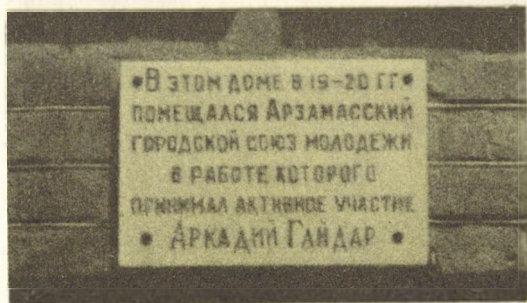
Оксю. Лис - убил при Лис 1
по записки, 47 лет, 1919 г.,
ст. Болрка,

Запись
в дневнике
А. П. Гайдара.
1940 год.



Памятник воинам,
погибшим
за освобождение
Кожуховки в дни
Великой Отечественной
войны.

Арзамас. В 1920 году,
когда Аркадий
Голиков после ранения
приехал в отпуск,
в этом доме
размещался
комсомольский клуб.

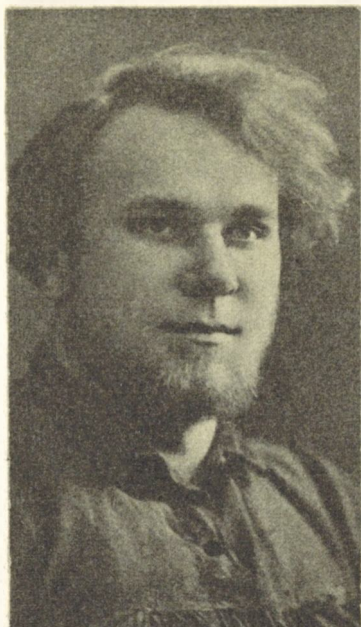


Здание уездного
комитета комсомола.
В нем находилась и
редакция газеты
«Авангард»,
где Аркадий Голиков
впервые опубликовал
свои стихи.



Памятник А. П. Гайдару в Арзамасе, в бывшем перелеске, который стал Парком культуры и отдыха им. А. П. Гайдара.

Ида Борисовна Сегаль —
одна из первых комсомолок
Арзамаса,
друг семьи Голиковых.



Александр Васильевич Плеско
(Шурка) —
друг юности Аркадия Голикова.



Николай Федорович
Кондратьев —
школьный товарищ
Аркадия Голикова;
в 1921 году —
боец 58-го отдельного
Нижегородского полка.

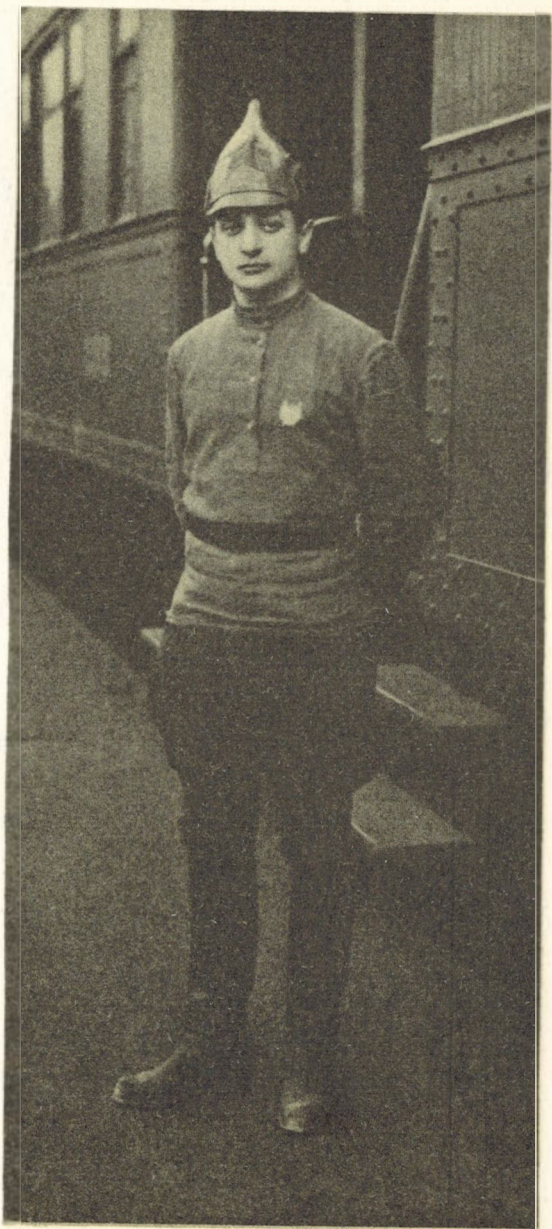


Аркадий Голиков — командир 4-й роты 303-го полка.
Кавказский фронт. 1920 год.



Тамбов.
Здание,
где в 1921 году
размещался штаб
войск Тамбовской
губернии.

Михаил Николаевич
Тухачевский —
командующий
войсками Тамбовской
губернии.

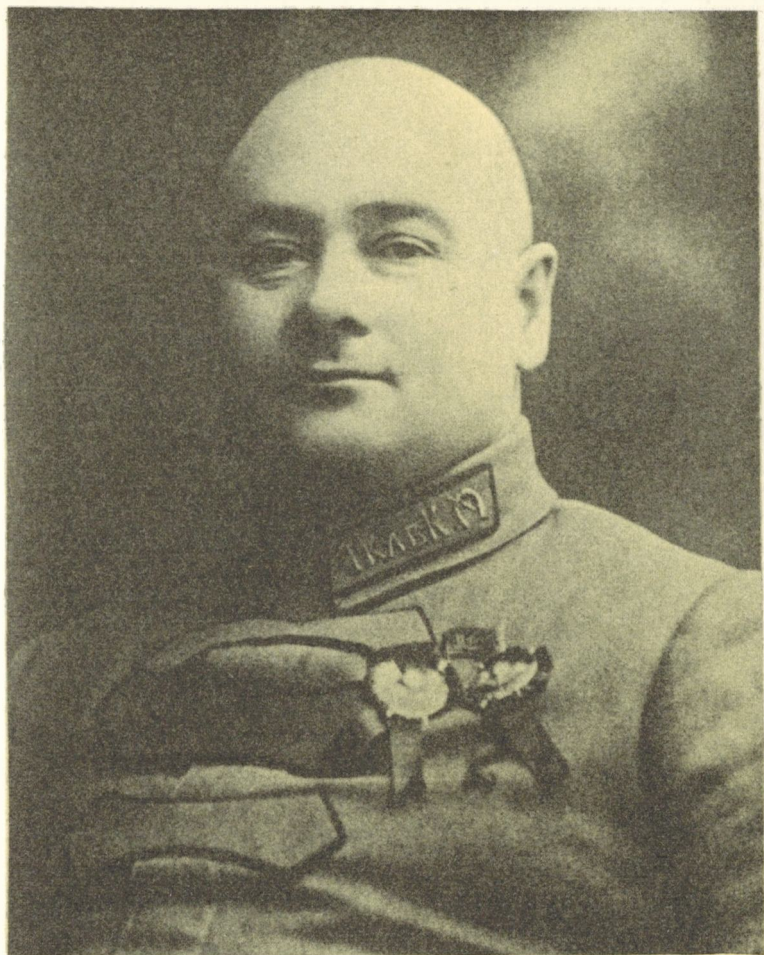




Комиссар
58-го отдельного
Нижегородского полка
Сергей Васильевич
Бычков (Лаут) —
в центре, с трубкой.



Моршанск.
Здание штаба
58-го полка.



Григорий Иванович
Котовский —
командир отдельной
бригады,
которая осуществила
операцию по разгрому
двух полков
Ивана Матюхина.



Аркадий Петрович
Голиков — командир
58-го отдельного
Нижегородского полка.
Моршанск. 1921 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Загадки «обыкновенной биографии»	6
Часть первая.	
ПОСЕЕШЬ ХАРАКТЕР...	
Первое потрясение	11
«...Собственность князей Голицыных»	16
Побег	19
Проклятая дочь	26
Проба сил	30
Мамина школа	34
Робин Гуд из реального	38
Дипломат	43
Решительность	48
Галкинская академия	51
1. Доброта	—
2. Совет на всю жизнь	60
Часть вторая.	
...ПОЖНЕШЬ СУДЬБУ	
Необыкновенное время	69
«Понемногу стали они доверять мне»	73

Жаркая осень	75
Удар ножом	82
«Сначала подрасти...»	96
Мамина хитрость	101

Часть третья.

ОБЫКНОВЕННАЯ БИОГРАФИЯ

Отъезд	109
Первый день в Москве	110
Тяжела ты, шапка адъютанта	112
Крушение	118
Два года — за шесть месяцев	121
«Приказы не обсуждают»	124
Мышеловка для Битюга	129
«Прощай, не плачь и будь тверда»	137
«Я заменил его...»	141
На последнем рубеже	149
Командир странного взвода	157
Мальчишество	163
Без наркоза	169
Отпуск	176
Первая любовь	179
Арест	189
Школа «Выстрел»	205
Семнадцатилетний комполка	207
Первый день командира полка	211
Диверсия	221

Часть четвертая.

РЯДОМ С ТУХАЧЕВСКИМ

Что такое антоновщина?	233
Знакомство с Тухачевским	240
Командир отдельного полка	243
Столкновение с бандой Коробова	248
Исчезновение Васьки Шилова	255
Помощник	269

Маруся	270
Два чугунных осколка	274
Горькая весть	282
Странное задание	283
Странное донесение	286
Западня для Матюхина	288
Обед с командующим	294
Новое назначение	298

В книге использованы все печатные материалы о детстве и боевой юности А. П. Гайдара, которые оказались доступны автору, а также документы Львовского государственного музея А. П. Гайдара, Арзамасского государственного исторического музея, Арзамасского государственного музея А. П. Гайдара, научно-исследовательского кабинета А. П. Гайдара Арзамасского государственного педагогического института им. А. П. Гайдара, Тамбовского краеведческого музея, Тамбовского государственного архива, партийного архива Тамбовской области, музея школы № 8 г. Тамбова, Библиотеки-музея А. П. Гайдара (Канев), Центрального государственного архива литературы и искусства СССР (Москва), Центрального государственного архива Советской Армии (Москва), народного музея А. П. Гайдара при Доме пионеров Ленинского района Москвы.

Помимо этих материалов, в книге использованы личные архивы и воспоминания близких, друзей и боевых товарищей А. П. Гайдара, записанные на пленку.

По арзамасскому периоду воспоминаниями поделились: В. Н. Анфимов, З. В. Гладкова, Е. П. Голикова-Стадухина, Н. П. Голикова-Полякова, Л. П. Голикова, М. П. Голикова, П. П. Голиков, А. Ф. Зиновьев, Н. Н. Киселев, П. П. Мелибеев, Н. И. Николаева, Е. И. Петрова, Н. Н. Похвалинская, И. Б. Сегаль, З. Ф. Субботина.

По периоду гражданской войны: П. М. Никитин (первая попытка отъезда на фронт), М. И. Штиллер (Киевские командные курсы Красной Армии), А. А. Оболдуев (23-й запасной полк), С. В. Бычков-Лаут, А. М. Рыжов (58-й отдельный полк особого назначения).

Автор приносит сердечную благодарность близким и друзьям А. П. Гайдара, сотрудникам архивов, музеев и библиотек, редакторам радио и телевидения, школьным учителям и тимуровцам-следопытам, которые помогли в работе над этой книгой.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Вы только что прочли книгу о детстве и боевой юности Аркадия Петровича Гайдара. Понравилась ли она вам? Если понравилась, то чем? Если у вас возникли вопросы, напишите нам тоже.

В повести рассказано, как Аркадий Голиков воспитывал свой характер и под руководством учителя словесности Николая Николаевича Соколова расширял свой кругозор и развивал свои способности. Как вы думаете: может ли это пригодиться и вам — для воспитания вашего характера и развития ваших способностей?

И последний вопрос: а какая черта характера Аркадия Голикова, на ваш взгляд, стала главной и неизменно проявлялась в самых сложных и опасных ситуациях?

Пишите нам по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Борис Николаевич Камов

Мальчишка-командир

Повесть

Ответственный редактор *С. П. Мосейчук*
Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*
Технический редактор *Л. С. Стёпина*
Корректоры *Л. А. Рогова, Е. А. Суксян*

ИБ № 9797

Сдано в набор 10.04.87. Подписано к печати 22.10.87. А05711.
Формат 60×90^{1/16}. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать
высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 24,5. Уч.-изд. л.
16,97+16 вкл.=18,23. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5907. Цена
1 р. 10 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
издательство «Детская литература» Государственного комитета
РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового
Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавполиграфпрома
Государственного комитета РСФСР по делам издательства, поли-
графии и книжной торговли. 127018, Москва, Суэцевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Камов Б. Н.

К18 Мальчишка-командир: Повесть / Оформл. Г. Мет-
ченко.— М.: Дет. лит., 1987.— 301 с., ил.

1 р. 10 к.

Повесть о детстве и боевой юности Аркадия Голикова — будущего писателя
Аркадия Петровича Гайдара, о том легендарном периоде его жизни, о котором
А. П. Гайдар сказал: «Это была обыкновенная биография в необыкновенное
время».

К 4803010102—535
М101(03)87 245—87

Р2